



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### **Правила использования**

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.  
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.  
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.  
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.  
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

### **О программе Поиск книг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

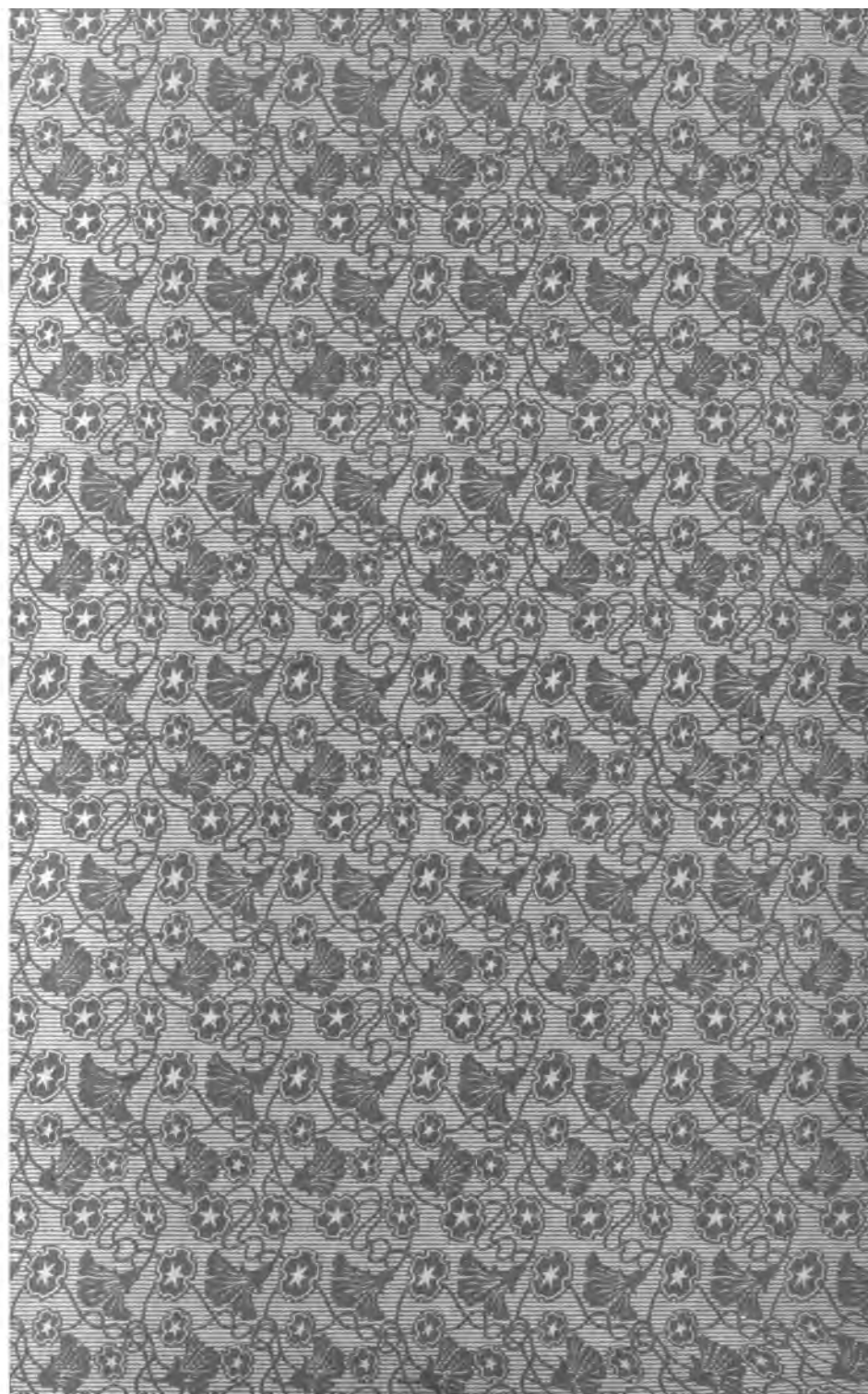
PK  
6037

ЕНИЧЕСКА -  
БИБЛИОТЕКА  
при  
Д. М. Гимназия  
— а  
изд. — а  
— а  
— а  
33.



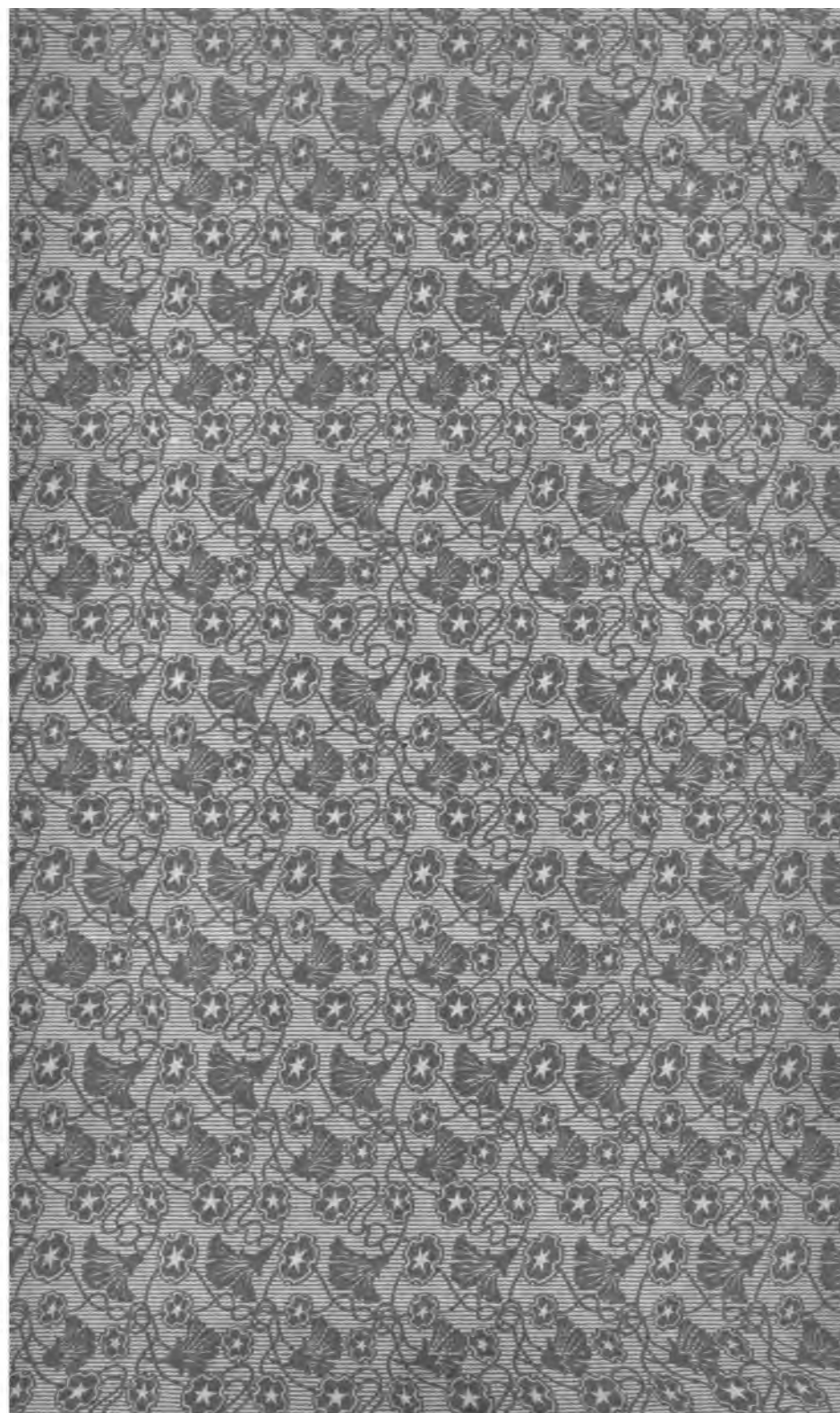
STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES







STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES







РУССКАЯ  
КРИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  
О ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  
М. Ю. ЛЕРМОНТОВА.

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ СБОРНИКЪ КРИТИКО-  
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХЪ СТАТЕЙ.

Часть вторая.

СВРАТЬ

В. Зелинский.

Изданіе второе.

Цена 1 р.



МОСКВА.

Типо-Литографія Д. В. Троицкаго, Большая Дмитровка, домъ Мухомова.

1904.

# КНИГИ, СОСТАВЛЕННЫЯ И ИЗДАННЫЯ

Василіемъ Аполлоновичемъ Зелинскимъ.

## 1. Пособія по изученію русскаго языка:

1. **Справочникъ по русскому правописанію**, съ приложеніемъ орфографическаго словаря и полнаго списка коренныхъ и изводныхъ словъ, въ которыхъ пишется буква **ѣ**. Состав. по «Руководству» Академіи Наукъ. Выпускъ I. Изд. 9-е 1901 г. Ц. 50 к.

**Примѣчаніе.** Эта книга, выдержавшая въ 1901 г. уже девять издѣній, объявляетъ всѣ этимологическіе случаи правописанія. Она состоитъ изъ орфографическихъ правилъ, орфографическаго словаря и списка **всѣхъ** словъ, въ которыхъ пишется буква **ѣ**. Такъ какъ изложеніе въ алфавитномъ порядкѣ весьма даже неумѣстно съ грамматикой. Справляться по ней очень удобно. А именно: при помощи приложеннаго въ началѣ книги «Указателя», открывающаго страницу на 6 которой служить предметомъ изслѣдованія въ какомъ-либо словѣ, и тутъ указаннымъ параграфъ читается отвѣтъ. Легкость и быстрота справки достигается еще тѣмъ, что справляться можно и подъ буквами, которыми слѣдуетъ писать въ данномъ случаѣ, и подъ буквами, которыми только предполагается въ томъ же случаѣ, а равно и подъ буквой, начинающей данное слово. Например., написать: изво**з**чикъ, изво**с**чикъ, изво**з**щикъ, изво**с**щикъ или **щ**икъ? Справляйтесь подъ любой изъ сомнительныхъ буквъ: **з. с. ч.**, также и въ орфографическомъ словарѣ подъ буквой **и**—быздѣ получится отъ По отзывамъ преподавателей русскаго языка, эта книга весьма полезна имѣя при исполненіи ими письменныхъ работъ не только дома, но и въ ктѣ такъ какъ при небольшомъ навыкѣ, приобретаемомъ мѣняе чѣмъ въ справкѣ по ней дѣлается весьма легко и быстро.

2. **Справочникъ по русскому правописанію**. Выпускъ II. **З**апятый (систематическій и алфавитный) при разстановкѣ знаковъ препинанія. Изд. 3-е М. 1903 г. Ц. 50 к.

3. **Справочникъ по русскому правописанію**. Выпускъ III. **И**сключенія русскаго языка. Изд. 2-е. (Печатается 3-мъ изд.)

4. **Справочникъ по русскому правописанію**. Выпускъ IV. **П**роисхожденіе, этимологическое происхожденіе и объясненіе ности словъ, наиболѣе употребляющихся въ русскомъ литературномъ языкѣ. М. 1898 г. Ц. 50 к. (Всѣ четыре выпуска въ одномъ красивомъ коленкоровомъ переплетѣ, стоятъ 50 к., съ пересылкой 3 р.).

5. **Грамматическій задачникъ для письменныхъ и устныхъ упражненій по русскому языку**. Приспособленъ къ элементарной грамматикѣ К. Говорова. Изд. 5-е. М. 1902 г. Ц. 25 к.

6. **Вступительный курсъ зрительнаго диктанта**. Книга для элементарныхъ орфографическихъ упражненій (печатается).

7. **Зрительный диктантъ**. Самодиктованіе и самонеправильное. Новая система для практическаго самоизученія русскаго правописанія. Часть первая. Изд. 13-е. М. 1904 г. Ц. 50 к.

Д. 249371.

Zelinskij, V. A.

XXIV 8/12

РУССКАЯ

КРИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

О ПРОИЗВЕДЕНИЯХЪ

М. Ю. ЛЕРМОНТОВА.

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ СБОРНИКЪ КРИТИКО-  
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХЪ СТАТЕЙ.

Часть вторая.

СОБРАЛЪ

В. Зелинскій.

Изданіе второе.



МОСКВА.

Типо-Литографія Д. В. Троицкаго, Большая Дмитровка, домъ Чуксиня.

1904.

125

10/1

PG3337

L46Z4

1904

v. 2

pp. 11

8

urb. 10. 2. 847





# Оглавленіе.

---

## Критика сороковых годовъ.

### Стихотворенія М. Лермонтова.

#### Критическія статьи:

В. Бѣлинскаго . . . . .	1
Барона Розена . . . . .	76
Изъ „Библіотеки для чтенія“ 1843 г. . . . .	92
„ „Литературной Газеты“ 1843 г. . . . .	99
„ „Отечественныхъ Записокъ“ 1843 г. . . . .	105
В. Бѣлинскаго . . . . .	107
Изъ „Литературной Газеты“ 1844 г. . . . .	112

### „Герой нашего времени“.

#### Критическія статьи:

Изъ „Библіотеки для Чтенія“ 1844 г. . . . .	113
В. Бѣлинскаго . . . . .	115
Изъ „Литературной Газеты“ 1844 г. . . . .	117
„ „Москвитянина“ 1844 г. . . . .	119

### О сочиненіяхъ Лермонтова.

#### Критическія статьи:

Изъ „Финскаго Вѣстника“ 1845 г. . . . .	120
„ „Сѣвернаго Обзорѣнія“ 1848 г. Статья Платина . . . . .	121

## Критика конца пятидесятихъ годовъ.

### Значеніе Лермонтова въ русской словесности.

#### Критическія статьи:

А. Гадахова . . . . .	144
Ап. Григорьева . . . . .	153

## Критика шестидесятихъ годовъ.

Библиографическая статья изъ „Московскихъ Вѣдомостей“ 1860 г. . . . .	158
Статья М. Л. изъ „Русскаго Слова“ 1860 г. о сочиненіяхъ Лермонтова. . . . .	161
Статья Л. изъ „Современника“ за 1861 г., подъ заглавіемъ: „Замѣтка о Лермонтовѣ“. . . . .	166
Библиографическія замѣтки П. Ефремова объ изданіи сочиненій Лермонтова С. Дудышкинымъ. Статья первая.	190
Статья вторая („Поправки и дополненія къ сочиненіямъ Лермонтова“) . . . . .	201
Статья третья („Еще по поводу изданія сочиненій Лермонтова“). . . . .	210
Критическая статья (В. Зайцева?) изъ „Русскаго Слова“ о сочиненіяхъ Лермонтова . . . . .	218
Алфавитный указатель именъ и предметовъ, относящихся къ литературѣ . . . . .	235

---

## КРИТИКА СОРОКОВЫХЪ ГОДОВЪ.

\*) Стихотворенія М. Лермонтова. Санктпетербургъ, 1840.

Теперь гонись за жизнью дивной,  
И каждый мигъ въ ней воскрешай,  
На каждый звукъ ея призывный  
Отзывной пѣснью отвѣчай!

*Веневитиновъ.*

Всѣ говорятъ о поэзіи, всѣ требуютъ поэзіи. Повидимому, это слово для всѣхъ имѣетъ такое ясное и определенное значеніе, какъ, на примѣръ, слово „хлѣбъ“ или еще болѣе — слово „деньги“. Но когда только двое начнутъ объяснять одинъ другому, что каждый изъ нихъ разумѣетъ подъ словомъ „поэзія“, то и выходитъ на повѣрку, что одинъ называетъ поэзію воду, другой огонь. Что жъ, если бы всѣ, такъ называемые, любители поэзіи заговорили о предметѣ своей любви! Это была-бы настоящая картина вавилонскаго смѣшенія языковъ! И очень естественно: если трудно опредѣлить поэзію ученымъ образомъ, то еще труднѣе намекнуть на ея значеніе повседневнымъ языкомъ общества, всѣмъ и каждому равно понятнымъ. Если бы вамъ и удалось это, вы все-таки удовлетворите только людей, которые съ вами симпатизируютъ, которые одинаково съ вами настроены. Въ самомъ дѣлѣ, если я подъ словомъ „поэзія“ разумѣю размысленныя и зариѣменные строчки, заключающія въ себѣ правила добродѣтели и добронравія, то какъ вы убѣдите меня, что поэзія есть воспроизведеніе, живопись явленій жизни?—Если я подъ словомъ „идеализированіе“ разумѣю представленіе дѣйствительности совсѣмъ

\*) В. Бѣлинскій. „Отечественныя Записки“ 1841 г., № 2, т. 14.

В. Зеліжскій. Критика о Лермонтовѣ.

не такъ, какъ она есть,—ходули мысли, дыбы что какъ увѣрите вы меня, что „идеализированіе“ дѣтельности есть только подчиненіе взятыхъ изъ ней рѣаловъ извѣстной цѣли, извлеченіе изъ нея, такъ съ ея сущности, и сочиненіе живое и органически цѣлорознесенныхъ, повидимому, частей?—Если я подъ с „вдохновеніе“ разумѣю нравственное опьянѣніе, к отъ пріема опіума, или дѣйствія виннаго хмѣля, из нѣ чувствъ, горячку страсти, которыя заставляютъ знаннаго поэта изображать предметы въ какомъ-то номъ круженіи, выражаться дикими, натянутыми ф неестественными оборотами рѣчи, придавать обы нымъ словамъ насильственное значеніе: то какъ вра вы меня, что „вдохновеніе“ есть состояніе духовнаг видѣнія, краткаго, но глубокаго созерцанія въ та жизни, что оно какъ бы магическимъ жезломъ выз изъ недоступной чувствамъ области мысли свѣтлые о полные жизни и глубокаго значенія, и окружающу дѣйствительность, нерѣдко мрачную и нестройную, я просвѣтленною и гармоническою?.. Поэзія и нау ждественны, если подъ наукою должно разумѣть н схемы знанія, но сознанія кроющейся въ нихъ Поэзія и наука тождественны, какъ постижимыя ною какою-нибудь изъ способностей нашей души, в полнотой нашего духовнаго существа, выражаема вомъ „разумъ“. Въ этомъ отношеніи онѣ рѣзкою отдѣляются отъ такъ называемыхъ „точныхъ“ нау требующихъ ничего, кромѣ разсудка и развѣ еще і ненія. Можно быть очень умнымъ человѣкомъ, и н мять поэзіи, считать ее за вздоръ, за побрякушку которою забавляются праздные и слабоумные лс нельзя быть умнымъ человѣкомъ и не сознать і возможности постичь значеніе, напр., математики, лать въ ней, при усиленномъ трудѣ, большіе или м успѣхи. Можно быть умнымъ, даже очень умнымъ вѣкомъ, и не понимать, что хорошаго въ „Иліадѣ“ бетъ“ или лирическомъ стихотвореніи Пушкина; но



гтъ умнымъ человѣкомъ, и не понимать, что два, умно-  
женные на два, составляютъ четыре, или, что двѣ парал-  
лельныя линіи никогда не сойдутся, хотя бы продолжены  
или въ безконечность. Ясно, что подъ словомъ „точныхъ“  
нѣтъ разумѣются тѣ истины, которыхъ очевидности и  
преложности не можетъ не признать ни одинъ человѣкъ  
и міръ, не лишенный здраваго смысла, прежде всего от-  
личающаго человѣка отъ животныхъ. Въ этомъ отношеніи,  
наука, въ высшемъ ея значеніи, т. е. философія и поэзія—  
двоятъ, тождественны: та и другая равно далеки отъ  
того, что имѣетъ хоть видъ „точности“. Но въ хаотиче-  
ской борьбѣ и противоположности понятій, убѣжденій и  
кусковъ насчетъ произведеній искусства, внимательный взоръ  
открываетъ, какъ и во всѣхъ великихъ явленіяхъ жизни,  
цѣлѣ и единства, которое тѣмъ выше и поразительнѣе  
цѣлѣ „точности“, чѣмъ, повидимому, неопредѣленнѣе  
неуловимѣе для разсудка сущность искусства. Океанъ  
вѣмени, смывшій съ лица земли греческія республики, вы-  
несъ имена Гомера, Гезіода, Эсхила, Софокла, Пиндара,  
Закреона,—и теперь всѣ, считающіе себя участниками  
этой вдохновенія, охотно или поневолѣ, все-таки дивятся  
имъ именамъ. Удачно сдѣланная копія съ Аполлона  
ельведерскаго возбуждаетъ всеобщій восторгъ, а оригиналъ,  
состоящимъ изъ двухъ кусковъ мрамора, нѣтъ  
ценны. Невѣжды, вѣвающіе отъ драмъ Шекспира и втайнѣ  
предпочитающіе имъ мыльные пузыри водевилей, вслухъ  
хвалятъ Шекспира, и оскорбляются, если съ нимъ сравни-  
ваютъ кого-нибудь. Но это работа времени: въ пестротѣ  
современности торжество единства мнѣнія еще поразитель-  
нѣе, ибо оно есть вмѣстѣ съ тѣмъ и торжество разум-  
ности надъ близорукою ограниченностью, надъ борьбою  
великихъ страстей. Пушкинъ явился у насъ во времена  
классической неподвижности, и потому какъ благосклонно  
привѣтливо приняло его молодое поколѣніе, такъ не-  
пріязненно и сурово встрѣтило его старое поколѣніе, и въ  
любленности записные поэты, литераторы и словесники того  
времени. Но истина взяла свое,—и, несмотря на смѣшан-

не такъ, какъ она есть,—ходули мысли, дыбы чувства то какъ увѣрите вы меня, что „идеализированіе“ дѣйствительности есть только подчиненіе взятыхъ изъ нея матеріаловъ извѣстной цѣли, извлеченіе изъ нея, такъ сказать ея сущности, и сочиненіе живое и органически цѣлое разрозненныхъ, повидимому, частей?—Если я подъ словомъ „вдохновеніе“ разумѣю нравственное опьянѣніе, какъ бы отъ приѣма опиума, или дѣйствія виннаго хмѣля, иступленіе чувствъ, горячку страсти, которыя заставляютъ непризнаннаго поэта изображать предметы въ какомъ-то безумномъ круженіи, выражаться дикими, натянутыми фразами неестественными оборотами рѣчи, придавать обыкновеннымъ словамъ насильственное значеніе: то какъ вразумитъ вы меня, что „вдохновеніе“ есть состояніе духовнаго ясно видѣнія, краткаго, но глубокаго созерцанія въ таинствахъ жизни, что оно какъ бы магическимъ жезломъ вызываетъ изъ недоступной чувствамъ области мысли свѣтлые образы полные жизни и глубокаго значенія, и окружающую насъ дѣйствительность, нерѣдко мрачную и нестройную, являетъ просвѣтленною и гармоническою?.. Поэзія и наука тождественны, если подъ наукою должно разумѣть не одну схему знанія, но сознанія кроющейся въ нихъ мысли. Поэзія и наука тождественны, какъ постижимыя не одною какою-нибудь изъ способностей нашей души, но всею полнотою нашего духовнаго существа, выражаемаго словомъ „разумъ“. Въ этомъ отношеніи онѣ рѣзкою чертою отдѣляются отъ такъ называемыхъ „точныхъ“ наукъ, требующихъ ничего, кромѣ разсудка и развѣ еще воображенія. Можно быть очень умнымъ человѣкомъ, и не понимать поэзіи, считать ее за вздоръ, за побрякушку приема, которою забавляются правдные и слабоумные люди: и нельзя быть умнымъ человѣкомъ и не сознавать въ себѣ возможности постичь значеніе, напр., математики, и сдѣлать въ ней, при усиленномъ трудѣ, большіе или меньшіе успѣхи. Можно быть умнымъ, даже очень умнымъ человѣкомъ, и не понимать, что хорошаго въ „Иліадѣ“, „Магбетѣ“ или лирическомъ стихотвореніи Пушкина; но нельзя

быть умнымъ человѣкомъ, и не понимать, что два, умноженные на два, составляютъ четыре, или, что двѣ параллельныя линіи никогда не сойдутся, хотя бы продолжены были въ безконечность. Ясно, что подъ словомъ „точныхъ“ истинъ разумѣются тѣ истины, которыхъ очевидности и непреложности не можетъ не признать ни одинъ человѣкъ въ мірѣ, не лишенный здраваго смысла, прежде всего отличающаго человѣка отъ животныхъ. Въ этомъ отношеніи, наука, въ высшемъ ея значеніи, т. е. философія и поэзія—повторяемъ, тождественны: та и другая равно далеки отъ того, что имѣетъ хоть видъ „точности“. Но въ хаотической борьбѣ и противоположности понятій, убѣжденій и вкусовъ насчетъ произведеній искусства, внимательный взоръ открываетъ, какъ и во всѣхъ великихъ явленіяхъ жизни, торжество единства, которое тѣмъ выше и поразительнѣе торжества „точности“, чѣмъ, повидимому, неопредѣленнѣе и неуловимѣе для разсудка сущность искусства. Океанъ времени, смышій съ лица земли греческія республики, вынесъ имена Гомера, Гезіода, Эсхила, Софокла, Пиндара, Анакреона,—и теперь всѣ, считающіе себя причастниками даровъ вдохновенія, охотно или поневолѣ, все-таки дивятся этимъ именамъ. Удачно сдѣланная копія съ Аполлона Бельведерскаго возбуждаетъ всеобщій восторгъ, а оригиналамъ, состоящимъ изъ двухъ кусковъ мрамора, нѣтъ цѣны. Невѣжды, вѣвающіе отъ драмъ Шекспира и втайнѣ предпочитающіе имъ мыльные пузыри водевилей, вслухъ хвалятъ Шекспира, и оскорбляются, если съ нимъ сравниваютъ кого-нибудь. Но это работа времени: въ пестротѣ современности торжество единства мнѣнія еще поразительнѣе, ибо оно есть вмѣстѣ съ тѣмъ и торжество разумности надъ близорукою ограниченностью, надъ борьбою мелкихъ страстей. Пушкинъ явился у насъ во времена классической неподвижности, и потому какъ благосклонно и привѣтливо приняло его молодое поколѣніе, такъ непріязненно и сурово встрѣтило его старое поколѣніе, и въ особенности записные поэты, литераторы и словесники того времени. Но истина взяла свое,—и, несмотря на смѣшан-

ные крики и ожесточенные споры, *общее мнѣніе* тотчасъ же превознесло имя молодого поэта превыше всѣхъ поэтическихъ лауреатовъ, прежде его и при немъ бывшихъ.

Но это торжество единства надъ разнообразіемъ и противорѣчіемъ во мнѣніяхъ о такомъ неопредѣленномъ и не-точномъ предметѣ, каково искусство, выходитъ не изъ множества, не изъ толпы, но отъ немногихъ и избранныхъ переходить въ толпу. Не всѣ могутъ и не всѣ должны понимать изящное; его понимаютъ только немногіе, избранные. Кто, по натурѣ своей, есть духъ стѣ духа,—тотъ по праву рожденія причастенъ всѣхъ даровъ духа, недоступныхъ плоти и ея душѣ—разсудку. Разсудокъ ставитъ человѣка выше всѣхъ животныхъ; но только разумъ дѣлаетъ его человѣкомъ по превосходству. Разсудокъ не шагаетъ далѣе „точныхъ“ наукъ, и не понимаетъ ничего, выходящаго изъ тѣснаго круга „полезнаго“ и „насущнаго“; разумъ же объемлетъ безконечную сферу сверхъ-опытнаго и сверхъ-чувственного, дѣлаетъ яснымъ непостижимое, очевиднымъ—неопредѣленное, опредѣленнымъ—„неточное“. Искусство принадлежитъ къ этой сферѣ бытія, доступной только разуму—и потому понимать поэзію нельзя выучиться, такъ же, какъ нельзя выучиться писать стихи. Восприимлемость впечатлѣній изящнаго есть своего рода талантъ: она не пріобрѣтается ни наукою, ни образованіемъ, ни упражненіемъ, но дается природою. Постигненіе поэзіи есть откровеніе духа, а таинство откровенія сокрывается въ натурѣ человѣка; между тѣмъ извѣстно, что натуры людей разнообразны до безконечности, и представляютъ собою безконечную лѣстницу съ безконечными ступенями—снизу вверхъ и сверху внизъ, смотря по тому, съ котораго конца будете смотрѣть на нее. Поэзія первоначально воспринимается сердцемъ, и уже имъ передается головѣ. Потому, чье сердце жестоко и черство отъ природы для воспринятія впечатлѣній изящнаго,—окружите его съ малолѣтства произведеніями искусства, толкуйте ему цѣлую жизнь о поэзіи,—онъ пріобрѣтетъ только навыкъ къ ея формамъ и пріучится судить о ихъ внѣшней отлѣлкѣ; но сущность



творчества навсегда останется для него тайною, которой онъ и подозрѣвать не будетъ. И такихъ людей, чуждыхъ поэзіи по натурѣ своей, несравненно больше, чѣмъ людей, одаренныхъ инстинктомъ изящнаго. Почему же это?—По тому же, почему число художниковъ относится къ толпѣ, какъ единица къ миллиону.—А почему же существуетъ это отношеніе? На такой вопросъ даетъ превосходный отвѣтъ Моцартъ Пушкина, говоря Сальери:

Когда бы всѣ такъ чувствовали силу  
Гармоніи! Но нѣтъ: тогда бъ не могъ  
И міръ существовать; никто бъ не сталъ  
Заботиться о нуждахъ низкой жизни;  
Всѣ предались бы вольному искусству.  
Насъ мало избранныхъ—счастливецъ праздныхъ,  
Пренебрегающихъ презрѣнной пользой,  
Единого прекраснаго жрецовъ.

Обыкновенно толпа такъ же холодна и равнодушна къ искусству, какъ привержена и предана пользѣ;—и поэтъ имѣетъ полное право, въ порывѣ благороднаго негодованія, отвѣчать на ея бессмысленные крики:

Молчи бессмысленный народъ,  
Поденьшигъ, рабъ нужды, заботъ!  
Несносенъ мнѣ твой ропотъ дерзкій.  
Ты червь земли, не сынъ небесъ;  
Тебѣ бы пользы все—на вѣсѣ  
Кумиръ ты цѣнишь Бельведерскій.  
Ты пользы, пользы въ немъ не зришь.  
Но мраморъ сей вѣдь богъ!.. Такъ что же!  
Печной горшокъ тебѣ дороже:  
Ты пищу въ немъ себѣ варишь...

Но чѣмъ равнодушнѣе и холоднѣе толпа къ дѣлу искусства, тѣмъ выше и поразительнѣе торжество искусства надъ толпою: невольно подчиняясь вліянію избранниковъ природы, она признаетъ его автономію\*), несмотря на его „неточность“, и тѣмъ самымъ дѣлаетъ явнымъ единодержавіе разума. И поэтъ, существо, называющее пользу—этотъ

\*) Автономія есть право предмета, основанное не на вѣншихъ уваженіяхъ, какъ-то пользѣ, преданіи (traditio), или постороннемъ авторитетѣ, но на сущности самаго предмета.

## Критика шестидесятихъ годовъ.

Библиографическая статья изъ „Московскихъ Вѣдомостей“ 1860 г. . . . .	158
Статья М. Л. изъ „Русскаго Слова“ 1860 г. о сочиненіяхъ Лермонтова. . . . .	161
Статья Л. изъ „Современника“ за 1861 г., подъ заглавіемъ: „Замѣтка о Лермонтовѣ“. . . . .	166
Библиографическія замѣтки П. Ефремова объ изданіи сочиненій Лермонтова С. Дудышкинымъ. Статья первая.	190
Статья вторая (Поправки и дополненія къ сочиненіямъ Лермонтова“). . . . .	201
Статья третья („Еще по поводу изданія сочиненій Лермонтова“). . . . .	210
Критическая статья (В. Зайцева?) изъ „Русскаго Слова“ о сочиненіяхъ Лермонтова. . . . .	218
Алфавитный указатель именъ и предметовъ, относящихся къ литературѣ . . . . .	235

---

## КРИТИКА СОРОКОВЫХЪ ГОДОВЪ.

\*) Стихотворенія М. Лермонтова. Санктпетербургъ, 1840.

Теперь гонись за жизнью дивной,  
И каждый мигъ въ ней воскрешай,  
На каждый звукъ ея призывный  
Отзывной пѣснью отвѣчай!

*Веневитиновъ.*

Всѣ говорятъ о поэзіи, всѣ требуютъ поэзіи. Повидимому, это слово для всѣхъ имѣетъ такое ясное и определенное значеніе, какъ, на примѣръ, слово „хлѣбъ“ или еще болѣе — слово „деньги“. Но когда только двое начнутъ объяснять одинъ другому, что каждый изъ нихъ разумѣетъ подь словомъ „поэзія“, то и выходитъ на повѣрку, что одинъ называетъ поэзію воду, другой огонь. Что жъ, если бы всѣ, такъ называемые, любители поэзіи заговорили о предметѣ своей любви! Это была-бы настоящая картина вавилонскаго смѣшенія языковъ! И очень естественно: если трудно опредѣлить поэзію ученымъ образомъ, то еще труднѣе намекнуть на ея значеніе повседневнымъ языкомъ общества, всѣмъ и каждому равно понятнымъ. Если бы вамъ и удалось это, вы все-таки удовлетворите только людей, которые съ вами симпатизируютъ, которые одинаково съ вами настроены. Въ самомъ дѣлѣ, если я подь словомъ „поэзія“ разумѣю разсѣянные и зариѣменные строчки, заключающія въ себѣ правила добродѣтели и добронравія, то какъ вы убѣдите меня, что поэзія есть воспроизведеніе, живопись явленій жизни?—Если я подь словомъ „идеализированіе“ разумѣю представленіе дѣйствительности совсѣмъ

\*) В. Бѣлинскій. „Отечественныя Записки“ 1841 г., № 2, т. 14.

не такъ, какъ она есть,—ходули мысли, дыбы чувства то какъ увѣрите вы меня, что „идеализированіе“ дѣйствительности есть только подчиненіе взятыхъ изъ нея матеріаловъ извѣстной цѣли, извлеченіе изъ нея, такъ сказать ея сущности, и сочиненіе живое и органически цѣлое разрозненныхъ, повидимому, частей?—Если я подъ словомъ „вдохновеніе“ разумѣю нравственное опьянѣніе, какъ бы отъ приѣма опиума, или дѣйствія виннаго хмѣля, изступленіе чувствъ, горячку страсти, которыя заставляютъ непризнаннаго поэта изображать предметы въ какомъ-то безумномъ круженіи, выражаться дикими, натянутыми фразами неестественными оборотами рѣчи, придавать обыкновеннымъ словамъ насильственное значеніе: то какъ вразумитъ вы меня, что „вдохновеніе“ есть состояніе духовнаго ясна видѣнія, краткаго, но глубокаго созерцанія въ таинства жизни, что оно какъ бы магическимъ жезломъ вызываетъ изъ недоступной чувствамъ области мысли свѣтлые образы полные жизни и глубокаго значенія, и окружающую насъ дѣйствительность, нерѣдко мрачную и нестройную, являетъ просвѣтленною и гармоническою?.. Поэзія и наука тождественны, если подъ наукою должно разумѣть не одну схему знанія, но сознанія кроющейся въ нихъ мысли. Поэзія и наука тождественны, какъ постижимыя не одною какою-нибудь изъ способностей нашей души, но всею полнотою нашего духовнаго существа, выражаемаго словомъ „разумъ“. Въ этомъ отношеніи онѣ рѣзкою чертою отдѣляются отъ такъ называемыхъ „точныхъ“ наукъ, въ требующихъ ничего, кромѣ разсудка и развѣ еще воображенія. Можно быть очень умнымъ человѣкомъ, и не понимать поэзіи, считать ее за вздоръ, за побрякушку приема, которою забавляются праздные и слабоумные люди: но нельзя быть умнымъ человѣкомъ и не сознавать въ себѣ возможности постичь значеніе, напр., математики, и сдѣлать въ ней, при усиленномъ трудѣ, большіе или меньшіе успѣхи. Можно быть умнымъ, даже очень умнымъ человѣкомъ, и не понимать, что хорошаго въ „Иліадѣ“, „Малбегъ“ или лирическомъ стихотвореніи Пушкина; но нельзя

быть умнымъ человѣкомъ, и не понимать, что два, умноженные на два, составляютъ четыре, или, что двѣ параллельныя линіи никогда не сойдутся, хотя бы продолжены были въ безконечность. Ясно, что подъ словомъ „точныхъ“ истинъ разумѣются тѣ истины, которыхъ очевидности и неопровержимости не можетъ не признать ни одинъ человѣкъ въ мірѣ, не лишенный здраваго смысла, прежде всего отличающаго человѣка отъ животныхъ. Въ этомъ отношеніи, наука, въ высшемъ ея значеніи, т. е. философія и поэзія—повторяемъ, тождественны: та и другая равно далеки отъ того, что имѣетъ хоть видъ „точности“. Но въ хаотической борьбѣ и противоположности понятій, убѣжденій и вкусовъ насчетъ произведеній искусства, внимательный взоръ открываетъ, какъ и во всѣхъ великихъ явленіяхъ жизни, торжество единства, которое тѣмъ выше и поразительнѣе торжества „точности“, чѣмъ, повидимому, неопредѣленнѣе и неуловимѣе для разсудка сущность искусства. Океанъ времени, смывшій съ лица земли греческія республики, вынесъ имена Гомера, Гезіода, Эсхила, Софокла, Пиндара, Анакреона,—и теперь всѣ, считающіе себя причастниками даровъ вдохновенія, охотно или поневолѣ, все-таки дивятся этимъ именамъ. Удачно сдѣланная копія съ Аполлона Бельведерскаго возбуждаетъ всеобщій восторгъ, а оригиналамъ, состоящимъ изъ двухъ кусковъ мрамора, нѣтъ цѣны. Невѣжды, зѣвующіе отъ драмъ Шекспира и втайнѣ предпочитающіе имъ мыльные пузыри водевилей, вслухъ хвалятъ Шекспира, и оскорбляются, если съ нимъ сравниваютъ кого-нибудь. Но это работа времени: въ пестротѣ современности торжество единства мнѣнія еще поразительнѣе, ибо оно есть вмѣстѣ съ тѣмъ и торжество разумности надъ близорукою ограниченностью, надъ борьбою мелкихъ страстей. Пушкинъ явился у насъ во времена классической неподвижности, и потому какъ благосклонно и привѣтливо приняло его молодое поколѣніе, такъ непріязненно и сурово встрѣтило его старое поколѣніе, и въ особенности записные поэты, литераторы и словесники того времени. Но истина взяла свое,—и, несмотря на смѣшан-

ные крики и ожесточенные споры, *общее мнѣніе* тотчасъ же превознесло имя молодого поэта превыше всѣхъ поэтическихъ лауреатовъ, прежде его и при немъ бывшихъ.

Но это торжество единства надъ разнообразіемъ и противорѣчіемъ во мнѣніяхъ о такомъ неопредѣленномъ и не-точномъ предметѣ, каково искусство, выходитъ не изъ множества, не изъ толпы, но отъ немногихъ и избранныхъ переходитъ въ толпу. Не всѣ могутъ и не всѣ должны понимать изящное; его понимаютъ только немногіе, избранные. Кто, по натурѣ своей, есть духъ стѣ духа,—тотъ по праву рожденія причастенъ всѣхъ даровъ духа, недоступныхъ плоти и ея душѣ—разсудку. Разсудокъ становить человѣка выше всѣхъ животныхъ; но только разумъ дѣлаетъ его человѣкомъ по превосходству. Разсудокъ не шагаетъ далѣе „точныхъ“ наукъ, и не понимаетъ ничего, выходящаго изъ тѣснаго круга „полезнаго“ и „насущнаго“; разумъ же объемлетъ безконечную сферу сверхъ-опытнаго и сверхъ-чувственного, дѣлаетъ яснымъ непостижимое, очевиднымъ—неопредѣленное, опредѣленнымъ—„неточное“. Искусство принадлежитъ къ этой сферѣ бытія, доступной только разуму—и потому понимать поэзію нельзя выучиться, такъ же, какъ нельзя выучиться писать стихи. Восприимлемость впечатлѣній изящнаго есть своего рода талантъ: она не пріобрѣтается ни наукою, ни образованіемъ, ни упражненіемъ, но дается природою. Постигненіе поэзіи есть откровеніе духа, а таинство откровенія сокрывается въ натурѣ человѣка; между тѣмъ извѣстно, что натуры людей разнообразны до безконечности, и представляютъ собою безконечную лѣстницу съ безконечными ступенями—снизу вверхъ и сверху внизъ, смотря по тому, съ котораго конца будете смотрѣть на нее. Поэзія первоначально воспринимается сердцемъ, и уже имъ передается головѣ. Потому, чье сердце жестоко и черство отъ природы для воспринятія впечатлѣній изящнаго,—окажите его съ малолѣтства произведеніями искусства, толкуйте ему цѣлую жизнь о поэзіи,—онъ пріобрѣтетъ только навыкъ къ ея формамъ и пріучится судить о ихъ внѣшней отлѣлкѣ; но сущность

творчества навсегда останется для него тайною, которой онъ и подозрѣвать не будетъ. И такихъ людей, чуждыхъ поэзіи по натурѣ своей, несравненно больше, чѣмъ людей, одаренныхъ инстинктомъ изящнаго. Почему же это?—По тому же, почему число художниковъ относится къ толпѣ, какъ единица къ миллиону.—А почему же существуетъ это отношеніе? На такой вопросъ даетъ превосходный отвѣтъ Моцартъ Пушкина, говоря Сальери:

Когда бы всѣ такъ чувствовали силу  
Гармоніи! Но нѣтъ: тогда бъ не могъ  
И міръ существовать; никто бъ не сталъ  
Заботиться о нуждахъ низкой жизни;  
Всѣ предались бы вольному искусству.  
Насъ мало избранныхъ—счастливецъ праздныхъ,  
Пренебрегающихъ презрѣнной пользой,  
Единаго прекраснаго жрецовъ.

Обыкновенно толпа такъ же холодна и равнодушна къ искусству, какъ привержена и предана пользѣ;—и поэтъ имѣетъ полное право, въ порывѣ благороднаго негодованія, отвѣчать на ея бессмысленные крики:

Молчи бессмысленный народъ,  
Поденьщикъ, рабъ нужды, заботъ!  
Несносенъ мнѣ твой ропотъ дерзкій.  
Ты червь земли, не сынъ небесъ;  
Тебѣ бы пользы все—на вѣсь  
Бумиръ ты цѣнишь Бельведерскій.  
Ты пользы, пользы въ немъ не зришь.  
Но мраморъ сей вѣдь богъ!.. Такъ что же!  
Печной горшокъ тебѣ дороже:  
Ты пищу въ немъ себѣ варишь...

Но чѣмъ равнодушнѣе и холоднѣе толпа къ дѣлу искусства, тѣмъ выше и поразительнѣе торжество искусства надъ толпою: невольно подчиняясь вліянію избранниковъ природы, она признаетъ его автономію\*), несмотря на его „неточность“, и тѣмъ самымъ дѣлаетъ явнымъ единодержавіе разума. И поэтъ, существо, называющее пользу—этотъ

\*) Автономія есть право предмета, основанное не на вѣншихъ уваженіяхъ, какъ-то пользѣ, преданіи (traditio), или постороннемъ авторитетѣ, но на сущности самаго предмета.

идолъ толпы—презрѣнною, поэтъ возбуждаетъ къ себѣ суетврное удивленіе толпы, собираетъ дань ея рукоплесканій, возбуждаетъ въ ней восторгъ своимъ появленіемъ. Это такое явленіе, передъ которымъ поневолѣ задумается самый жаркій поклонникъ „полезнаго“, постигшій всю глубину точной премудрости.

И такъ, оставимъ въ сторонѣ всѣхъ враговъ изящнаго; забудемъ о равнодушіи толпы къ дѣлу искусства, и не будемъ бояться, что одни насъ не поймутъ, другіе съ нами не согласятся, а третьи будутъ надъ нами смѣяться — и возвратимся къ вопросу, которымъ мы начали статью: что такое поэзія? Только во дни кипучей и неискушенной опытами жизни юности человѣку сродно питать благородное, но несбыточное желаніе — увѣрить весь свѣтъ въ истинѣ своихъ убѣжденій, одинаковымъ языкомъ и съ одинаковымъ жаромъ говорить со всѣми о томъ, что доступно только нѣкоторымъ, и огорчаться, что нѣкоторые не понимаютъ того, чего и не дано и не нужно имъ понимать... Будемъ говорить для всѣхъ и всѣмъ, но будемъ надѣяться только на отзывъ немногихъ... И что жъ — развѣ не великое счастье — пробудить полетъ къ высокому въ иной дремлющей душѣ? развѣ не великое счастье — родить къ себѣ сочувствіе въ сердцѣ, котораго мы никогда не знали и не узнаемъ, которое живетъ, можетъ-быть, въ далекомъ отъ насъ уголку этого міра, но которое отъ нашихъ строкъ забьется въ ладъ съ нашимъ сердцемъ и, въ общемъ человѣческомъ интересѣ, сознаетъ свое родство съ нами по духу, въ ознаменованіе торжества духа надъ условіями пространства и времени!..

Что же такое поэзія? — спрашиваете вы, желая услышать рѣшеніе интереснаго для васъ вопроса, или, можетъ быть, лукаво желая привести насъ въ смущеніе отъ сознанія нашего безсилія рѣшить столь важный и трудный вопросъ... То или другое — все равно; но прежде, чѣмъ мы вамъ отвѣтимъ, сдѣлаемъ вопросъ и вамъ, въ свою очередь. Скажите: какъ назвать то, чѣмъ отличается лицо человѣка отъ восковой фигуры, которая чѣмъ съ большимъ искусствомъ



сдѣлана, чѣмъ похожѣе на лицо живого человѣка,—тѣмъ большее возбуждаетъ въ насъ отвращеніе? Скажите: чѣмъ отличается лицо живого человѣка отъ лица покойника?—Вѣдь, форма одинаково правильна въ томъ и другомъ, тѣ же части и та же соотвѣтственность и стройность въ частяхъ? Отчего эти глаза такъ свѣтлы, такъ полны смысла и разумности, что вы читаете въ нихъ какую-то мысль, что они какъ будто хотятъ сказать вамъ что-то задушевное и любовное; а тѣ — такъ тусклы, стеклянны!.. Дѣло ясное: въ первыхъ есть жизнь, а во вторыхъ ея нѣтъ. Но что же такое эта „жизнь“? Мы знаемъ процессы человѣческаго тѣла, знаемъ, что жизнь человѣка въ его организмѣ, что она продолжается вмѣстѣ съ обращеніемъ крови въ его жилахъ, и прекращается вмѣстѣ съ прекращеніемъ кровообращенія; но мы знаемъ также, что нашъ организмъ не машина, которая заводится или останавливается, подобно часамъ, чрезъ извѣстное колесо или извѣстный органъ. И чѣмъ дальше углубимся мы въ таинство организма, чѣмъ, повидимому, ближе будемъ къ тайнѣ жизни,—тѣмъ на самомъ дѣлѣ будемъ дальше отъ нея, тѣмъ неуловимѣе будетъ она для насъ. Но мертвые бываютъ и между живыми, такъ же, какъ и живые между мертвыми, ибо что жизнь для животнаго, то смерть для человѣка; что жизнь для ирокеза, то смерть для европейца; что жизнь для раба житейскихъ нуждъ и пользы, который ничего не видитъ дальше удовлетворенія потребностямъ голода и кармана или мелкаго тщеславія,—то смерть для человѣка мыслящаго и чувствующаго. И что существуетъ въ идеѣ, то выражается въ формахъ: посмотрите, какое животное лицо у этого человѣка, съ сонными и мутными глазами, съ апатическимъ выраженіемъ, — толстаго, одержимаго одышкой, сейчасъ только плотно покушавшаго,—и посмотрите, какимъ огнемъ сверкаютъ черные глаза этого худощаваго, блѣднолицаго человѣка, какая подвижность въ его фязіономіи, сколько страсти въ его голосѣ! Не правда ли, первый—мертвецъ; другой—полонъ жизни? Но жизнь безконечно разнообразна въ своихъ проявленіяхъ. Тигръ полонъ жизни въ сравне-

ніи съ черепахою, но жизнь его все-таки чисто органическая, животная; ея источникъ—горячая кровь, обильные электричествомъ нервы. Такъ и въ иномъ человѣкѣ много жизни, но эта жизнь не покоряетъ васъ себѣ неотразимымъ обаяніемъ, и вы готовы сказать ей:

Въ ней признака небесъ напрасно не ищи:  
То кровь кипитъ, то силъ избытокъ!  
Скорѣ жизнь свою въ заботахъ истощи,  
Разлей отравленный напитокъ!

Безконечное разстояніе раздѣляетъ человѣка страсти отъ человѣка чувства; но еще большее разстояніе раздѣляетъ человѣка, оставшагося при одномъ непосредственномъ чувствѣ, отъ человѣка, въ которомъ рабскій инстинктъ, хотя бы даже и благородныхъ наклонностей, перешелъ въ свободное сознаніе, котораго чувство просвѣтлено мыслью. Нигдѣ жизнь не является столько жизнью, какъ въ сферѣ духовныхъ интересовъ и разумнаго сознанія, которые движутъ волею человѣка и поддерживаютъ ея неистощимую дѣятельность: это самый пышный цвѣтъ жизни, ея высшее развитіе, ея высшая ступень, это жизнь по превосходству; въ сравненіи съ нею всякая другая, низшая степень жизни есть настоящая смерть. Но жизнь всегда жизнь, въ чемъ бы ни проявлялась она, на какой бы степени развитія ни стояла. Неизмѣримо разстояніе, раздѣляющее духовную жизнь генія отъ безсознательныхъ явленій природы, но и въ природѣ, даже на самыхъ низшихъ ступеняхъ ея развитія, жизнь является святымъ и великимъ таинствомъ. Духъ человѣческій съ безграничнымъ упоеніемъ прислушивается къ прозябанію дольной лозы, къ подводному ходу морского гада, къ шелесту листьевъ, колеблемыхъ въ знойный полдень лѣтнимъ вѣтеркомъ: онъ сознаетъ съ ними свое родство; онъ чувствуетъ въ нихъ незримое присутствіе, слышитъ въ нихъ вѣяніе того же безсмертнаго духа жизни, который, подобно огню Прометееву, живетъ и его собственное существованіе. Для живого человѣка природа всюду является одушевленной: онъ слышитъ ея голосъ и въ безмолвномъ образованіи металловъ, въ таинственной лабо-

раторіи нѣдръ земныхъ, и въ завываніи вѣтра,—тамъ, у полюсовъ. въ царствѣ вѣчной зимы и смерти, на звонкихъ льдахъ воздымающаго пушистыя вьюги; въ приливѣ и отливѣ водъ онъ видитъ какъ-бы тяжелое, напряженное дыханіе исполинской груди сѣдого старца океана... Полонъ таинственной думы для души нашей чернѣющійся вдали лѣсъ, и когда подходимъ мы къ нему, нами невольно овладѣваетъ какая-то дѣтская робость, какой-то мистическій, но полный обаянія ужасъ,—и мы повторяемъ съ поэтомъ:

О чемъ шумитъ сосновый лѣсъ?  
 Какія въ немъ сокрыты думы?  
 Ужель въ его холодномъ царствѣ  
 Затаена живая мысль?

Порой, во тѣмъ пустынной ночи,  
 Былыхъ вѣковъ живыя тѣни  
 Изъ глубины его выходятъ,  
 И на людей наводятъ страхъ.  
 Съ приходомъ дня уходятъ тѣни.  
 Слѣдовъ ихъ нѣтъ; лишь на вершинахъ  
 Одиный туманъ, да въ темной грусти,  
 Ночь безразсвѣтная лежитъ...  
 Какая жъ тайна въ дикомъ лѣсѣ  
 Такъ безотчетно насъ влечетъ,  
 Въ забвеніе погружаетъ чувство,  
 И тайны новыя рождаетъ въ немъ?..  
 Ужели въ насъ духъ вѣчной жизни  
 Такъ безсознательно живетъ,  
 Что въ царствѣ безотрадной смерти  
 Свое величье сознаетъ...

Нѣтъ, не безсознательность, но чувство своего сродства, своей общности, своего тождества со всѣмъ великимъ царствомъ жизни заставляеть нашъ духъ видѣть свое отраженіе въ таинственныхъ явленіяхъ природы!.. Повидимому, отторгнутый отъ общаго своею индивидуальностью, ставши въ человѣкѣ личностью—духъ нашъ тѣмъ живѣе и глубже чувствуетъ свое таинственное единство съ безсознательною природою, которая не чувствуетъ своего единства съ нимъ... Въ природѣ нѣтъ нашего духа, но въ насъ есть духъ природы, ибо законъ бытія таковъ, что высшее необходимо

заключаетъ въ себѣ низшее. Да, у духа нашего есть общее съ природою,—и это общее есть жизнь, и потому-то она говоритъ ему такимъ понятнымъ и родственнымъ языкомъ, и все въ ней влечетъ его къ себѣ, все —

И блескъ, и жизнь, и шумъ листовъ,  
Стозвучный говоръ голосовъ,  
Дыханье тысячи растений,  
И полдня сладострастный зной,  
И ароматною росой  
Всегда увлажненные ночи,  
И звѣзды яркія, какъ очи  
Грузинки жарко-молодой...

Неисчислимы и разнообразны предметы міра, но въ нихъ есть единство, и всѣ они—частныя явленія общаго. Вотъ почему философія говоритъ, что существуетъ одно общее. Вздохи дышащей груди жизни—ея частныя явленія—рождаются и умираютъ, приходятъ и переходятъ, а жизнь никогда не умираетъ, никогда не преходитъ: такъ въ океанѣ рождаются волны, и волна гонитъ волну, волна смѣняетъ волну—а океанъ все такъ же великъ и глубокъ, такъ же живетъ и движется на своемъ бездонномъ, необъятномъ ложѣ; а въ его кристаллѣ все такъ же торжественно отражается лучезарное солнце, и все такъ же колышется и трепещетъ ночное небо, усыпанное мириадами звѣздъ. Каждый человѣкъ есть отдѣльный и особенный міръ страстей, чувства, желаній, сознанія; но эти страсти, это чувство, это желаніе, это сознаніе принадлежать не одному какому-нибудь человѣку, но составляютъ достояніе человѣческой природы, общее всѣхъ людей. И потому, въ комъ больше общаго, тотъ больше и живетъ; въ комъ нѣтъ общаго—тотъ живой мертвецъ. Чѣмъ же выражается причастность человѣка общему?—Въ доступности всему, что сродно человѣческой натурѣ, что составляетъ ея сущность и характеръ; въ правѣ сказать о себѣ: „я человѣкъ—и ничто человѣческое не чуждо мнѣ“. Кто причастенъ общему, для того личныя выгоды и потребности житейскія—интересы второстепенныя, а природа и человѣчество—главнѣйшія интересы. Чья личность есть выраженіе общаго, тотъ жаждетъ

сочувствія ближнихъ, трепетнаго упоенія любви, кроткаго счастья дружбы, жаждетъ волненій чувства, бурь и непогодъ жизни, борьбы съ препятствіями; тотъ все понимаетъ, на все откликается: и въ раззолоченныхъ палатахъ, среди богатства и роскоши, онъ слышитъ стоны нищеты и бѣдствія, и сердце его содрогается, но не отвращается отъ ихъ пронзительныхъ диссонансовъ; окруженный всѣмъ, что горячо любить онъ, что зоветъ роднымъ и милымъ,—онъ откликается на вопль и слезы вѣчной разлуки и невозвратимой утраты, и плачетъ о чужомъ горѣ, котораго самъ не испыталъ; пылкій юноша—онъ умѣряетъ рѣзкость своихъ движеній, смягчаетъ силу своихъ порывовъ и благоговѣнно, стыдливо, дѣвственно опускаетъ пламенные взоры въ присутствіи старца, на лицѣ котораго сіяетъ кроткій свѣтъ чувства, дрожащій голосъ котораго льется свѣтлою волною любви; согбенный лѣтами старецъ—онъ съ умиленіемъ смотритъ на рѣзвое дитя, которое по зеленому лугу гонится за пестрою бабочкою; онъ радуется его дѣтской радости, принимаетъ участіе въ его младенческой печали; онъ прощаетъ заблужденіе пламенной юности, снисходителенъ къ кипѣнію ея порывистыхъ страстей, онъ понимаетъ мгновенный пламень и внезапную блѣдность на ланитахъ молодой дѣвушки, ея тоскующій взоръ и нѣмую горестъ, волненіе ея молодой груди, и печаль безъ горя, и страхъ безъ бѣды, и радость безъ причины... Съ благословеніемъ на устахъ, съ умиленіемъ во взорѣ смотритъ онъ на пылкую юность, которая кружится въ вихрѣ жизни и, полная надеждъ и отваги, гордая сознаниемъ своей силы, спѣшитъ безъ оглядки навстрѣчу будущему, обольщаемая его заманчивою далью, не зная и не желая знать его предательскихъ обмановъ,—и передъ нимъ воскресаетъ прошедшее его собственной жизни, встаютъ милые призраки и знакомые образы невозвратно протекшихъ лѣтъ, и, вмѣсто резонерскихъ поученій и докучнаго ворчанія, онъ повторяетъ про себя съ грустно-радостною улыбкой:

. . . . . Такъ было прежде  
Во время оно и со мной!

Да, жить не значить столько-то лѣтъ ѣсть и пить, биться изъ чиновъ и денегъ, а въ свободное время бить хлопнушкою мухъ, звѣвать и играть въ карты: такая жизнь хуже всякой смерти, и такой человѣкъ ниже всякаго животнаго, ибо животное, повинаясь своему инстинкту, вполне пользуется всѣми средствами, данными ему отъ природы для жизни, и неуклонно выполняетъ свое назначеніе. Жить значить—чувствовать и мыслить, страдать и блаженствовать; всякая другая жизнь—смерть. И чѣмъ больше содержанія объемлетъ собою наше чувство и мысль, чѣмъ сильнѣе и глубже наша способность страдать и блаженствовать, тѣмъ мы больше живемъ: мгновеніе *такой* жизни существеннѣе ста лѣтъ, проведенныхъ въ апатической дремотѣ, въ мелкихъ дѣйствіяхъ и ничтожныхъ цѣляхъ. Способность страданія условливаетъ въ насъ способность блаженства, и незнающіе страданія не знаютъ и блаженства, не плакавшіе не возрадуются. Когда Мефистофель предлагаетъ Фаусту всѣ блага, всѣ наслажденія, столь высоконѣнными толпою, Фаустъ отвѣчаетъ ему:

Не думалъ я о наслажденьяхъ.  
Я кинусь въ бурный чадъ страстей,  
Упьюсь восторгами мученій;  
Я ненавижу любви, отраду огорченій  
Сыщу въ печальной жизни сей.  
Святая истина отъ глазъ моихъ сокрыта.  
Высокой мудрости ему не суждено.  
Всѣмъ горестямъ отнынѣ грудь открыта,  
И всѣмъ, что человѣчеству дано,  
Въ самомъ себѣ хочу я насладиться,  
И въ адъ и въ небо погрузиться,  
И грусть людей и радость ихъ испить,  
Съ ихъ бытіемъ свое совокупить  
И съ ними, наконецъ, въ уничтоженіи слиться.

Да, все постичь духомъ, все обнять чувствомъ, всѣмъ вобладать и ничему исключительно не покориться—вотъ жизнь! Но эта жизнь есть достояніе тѣхъ немногихъ, которые стоятъ во главѣ человѣчества, играютъ роль его представителей. Вотъ одинъ изъ нихъ:

Все духъ въ немъ питало: труды мудрецовъ,  
Искусствъ вдохновенныхъ созданья,

Преданья, завѣты минувшихъ вѣковъ,  
Цвѣтущихъ временъ упованья.  
Мечтою по волѣ проникнуть онъ могъ  
И въ нищую хату и въ царскій чертогъ.  
Съ природой одною онъ жизнью дышалъ,  
Ручья разумѣлъ лепетанье,  
И говоръ древесныхъ листовъ понималъ,  
И чувствовалъ травъ прозябанье;  
Была ему звѣздная книга ясна,  
И съ нимъ говорила морская волна.

Въ этихъ двѣнадцати стихахъ Баратынскаго о Гёте заключается высшій идеалъ человѣческой жизни, и все, что можно сказать о жизни внутренняго человѣка.

Но, кромѣ природы и личнаго человѣка, есть еще общество и человѣчество. Какъ бы ни была богата и роскошна внутренняя жизнь человѣка, какимъ бы горячимъ ключомъ ни била она во внѣ и какими бы волнами ни лилась черезъ край, — она неполна, если не усвоить въ свое содержаніе интересовъ внѣшняго ей міра, общества и человѣчества. Въ полной и здоровой натурѣ тяжело лежать на сердцѣ судьбы родины; всякая благородная личность глубоко сознаетъ свое кровное родство, свои кровныя связи съ отечествомъ. Общество, какъ всякая индивидуальность, есть нѣчто живое и органическое, которое имѣетъ свои эпохи возрастанія, свои эпохи здоровья и болѣзней, свои эпохи страданія и радости, свои роковые кризисы и переломы къ выздоровленію и смерти. Живой человѣкъ носитъ въ своемъ духѣ, въ своемъ сердцѣ, въ своей крови жизнь общества: онъ болѣетъ его недугами, мучится его страданіями, цвѣтетъ его здоровьемъ, блаженствуетъ его счастьемъ, внѣ своихъ собственныхъ, своихъ личныхъ обстоятельствъ. Разумѣется, въ этомъ случаѣ общество только беретъ съ него свою дань, отторгая его отъ него самого въ извѣстные моменты его жизни, но не покоряя его себѣ совершенно и исключительно. Гражданинъ не долженъ уничтожать человѣка, ни человѣкъ гражданина: въ томъ и другомъ случаѣ выходитъ крайность, а всякая крайность есть родная сестра ограниченности. Любовь къ отечеству долж-

на выходить изъ любви къ человѣчеству, какъ частное изъ общаго. Любить свою родину значить—пламенно желать видѣть въ ней осуществленіе идеала человѣчества и помѣръ силъ своихъ споспѣшествовать этому. Въ противномъ случаѣ, патріотизмъ будетъ китаизмомъ, который любить свое только за то, что оно свое, и ненавидитъ все чужое за то только, что оно чужое, и не нарадуется собственнымъ безобразіемъ и уродствомъ. Романъ англичанина Морьера „Хаджи-Баба“ есть превосходная и вѣрная картина подобнаго квасного (по счастливому выраженію князя Вяземскаго) патріотизма. Человѣческой натурѣ сродно любить все близкое къ ней, свое родное и кровное; но эта любовь есть и въ животныхъ, слѣдовательно, любовь человѣка должна быть выше. Это превосходство любви человѣческой передъ животною состоитъ въ разумности, которая тѣлесное и чувственное просвѣтляетъ духомъ, а этотъ духъ есть общее. Примѣръ Петра Великаго, говорившаго о родномъ сынѣ, что лучше чужой, да хорошій, чѣмъ свой, да негодный,—лучше всего поясняетъ и оправдываетъ нашу мысль. Конечно, изъ частнаго нельзя дѣлать правило для общаго, но можно черезъ сравненіе объяснить частнымъ общее. Можно не любить и родного брата, если онъ дурной человѣкъ, но нельзя не любить отечества, какое бы оно ни было: только надобно, чтобы эта любовь была не мертвымъ довольствомъ тѣмъ, что есть, но живымъ желаніемъ усовершенствованія; словомъ—любовь къ отечеству должна быть вмѣстѣ и любовью къ человѣчеству.

И вотъ мы сказали о жизни все, что хотѣли сказать о ней, и хотя, повидимому, отделились черезъ это отъ нашего вопроса, но въ сущности только приблизились къ его рѣшенію.

Поэзія есть выраженіе жизни или, лучше сказать, сама жизнь. Мало этого: въ поэзіи жизнь болѣе является жизнью, нежели въ самой дѣйствительности. Отсюда вытекаетъ новый вопросъ, рѣшеніе котораго и будетъ рѣшеніемъ вопроса о поэзіи,—вопросъ: если сама жизнь заключаетъ въ себѣ столько поэзіи, такъ, что въ сущности своей жизнь и по-



эзія тождественны,—то зачѣмъ же еще другая поэзія, и какую необходимость можетъ носить въ себѣ искусство, и какое самостоятельное значеніе можетъ имѣть оно?

Много прекраснаго въ живой дѣйствительности, или лучше сказать, все прекрасное заключается только въ живой дѣйствительности; но чтобъ насладиться этою дѣйствительностью, мы сперва должны овладѣть ею въ нашемъ разумѣніи, а это возможно только при двухъ условіяхъ: мы должны обнимать ее въ цѣлости и притомъ предметно, такъ, чтобъ наша личность, наши отношенія не заслоняли ее отъ насъ. И мы этимъ пользуемся, но только въ рѣдкія минуты восторга; въ неожиданныя мгновенія какого-то внезапнаго внутренняго откровенія; по большей части мы теряемся во множествѣ частныхъ и, не видя за ними цѣлаго, ничего въ нихъ не понимаемъ. Даже собственныя наши чувства только тогда бываютъ предметомъ нашего наслажденія, когда мы освобождаемся отъ ихъ томящей тяжести или отъ ихъ трепетнаго волненія, въ которомъ задерживается дыханіе, теряется сознаніе, и когда мы возобновляемъ ихъ въ воспоминаніи. Настоящее никогда не наше, ибо оно поглощаетъ насъ собою, и самая радость въ настоящемъ тяжела для насъ, какъ и горе, ибо не мы ею, но она нами преобладаетъ. Чтобъ насладиться ею, мы должны отойти отъ нея на извѣстное разстояніе, какъ отъ картины, по требованіямъ освѣщенія,—должны взглянуть на нее, свободные отъ нея, какъ на нѣчто внѣ насъ находящееся, *предметное*. Вотъ отчего мы облегчаемся отъ томительной тяжести горя, какъ скоро сообщимъ его другому или изольемъ его на бумагѣ для самихъ же себя: мы видимъ его отдѣленнымъ отъ нашей личности, наша личность не заслоняетъ его отъ насъ, — и тогда намъ мило наше горе: мы любимъ вспоминать о немъ, любимъ говорить о немъ, какъ воинъ о своихъ походахъ и опасностяхъ, которымъ онъ подвергался. Все прошедшее получаетъ для насъ новый колоритъ, является какъ-бы преобразеннымъ: счастье кажется лучшимъ, нежели тогда, какъ мы имъ наслаждались; въ самомъ несчастіи видимъ мы одну

поэтическую сторону. Причина этому та, что отдаленность скрадываетъ отъ нашихъ глазъ всѣ неровности, случайности, нечистыя пятна, которыя вблизи первыя бросаются въ глаза. Въ дѣйствительности все покорно законамъ пространства и времени, естественнымъ требованіямъ: и герои ѣдятъ, пьютъ, чувствуютъ холодъ и голодъ, какъ и обыкновенные люди. Вы видите въ природѣ прекрасный ландшафтъ, но какъ?—непремѣнно вдаль, и притомъ съ извѣстной точки зрѣнія: отдаленность придаетъ ему живописную прелесть, точка зрѣнія придаетъ ему цѣлостъ. Сдѣлайте шагъ, перемѣните точку зрѣнія—и ландшафтъ исчезъ: передъ вами что-то нестройное, разбросанное, безъ начала, безъ конца и середины, безъ всякой общности, безъ всякой фizioноміи. Подойдите вблизи къ очаровавшему васъ ландшафту—и вы очутитесь у какой-нибудь негодной избушки, дрянной мельницы, ничтожнаго ручья, обыкновенной рощи, гдѣ на каждомъ шагу спотыкаетесь отъ неровностей или попадаете въ лужу. А издалека все было такъ чисто, опрятно, красиво, цѣлостно, обрамлено,—настоящая картина! И такъ, картина лучше дѣйствительности? Да, ландшафтъ, созданный на полотнѣ талантливымъ живописцемъ, лучше всякихъ живописныхъ видовъ въ природѣ. Отчего-же?—Оттого, что въ немъ нѣтъ ничего случайнаго и лишняго, всѣ части подчинены цѣлому, все направлено къ одной цѣли, все образуетъ собою одно прекрасное, цѣлостное и индивидуальное. Дѣйствительность прекрасна сама по себѣ, но прекрасна по своей сущности, по своимъ элементамъ, по своему содержанію, а не по формѣ. Въ этомъ отношеніи дѣйствительность есть чистое золото, но неочищенное, въ кучѣ руды и земли: наука и искусство очищаютъ золото дѣйствительности, перетопляютъ его въ изящныя формы. Слѣдовательно, наука и искусство не выдумываютъ новой и небывалой дѣйствительности, но у той, которая была, есть и будетъ, берутъ готовые матеріалы, готовые элементы, словомъ—готовое содержаніе; даютъ имъ приличную форму, съ соразмѣрными частями и доступнымъ для нашего взора объемомъ со всѣхъ сторонъ. Что Петръ

Великій создалъ въ Россіи армію и флотъ — это фактъ исторической дѣйствительности; но исторія, излагая это дѣло, беретъ изъ него только главные характеристическія черты, выпуская подробности: не ея дѣло описывать, какъ набирали солдатъ и матросовъ, какъ учили каждаго изъ нихъ, и прочее. Шекспиръ въ ограниченномъ объемѣ драмы сосредоточиваетъ всю жизнь историческаго лица, на примѣръ, какого-нибудь Ричарда II, или важнѣйшее событіе изъ жизни героя, которое въ дѣйствительности могло совершиться только въ нѣсколько лѣтъ. Онъ включаетъ въ свою драму только тѣ черты изъ жизни ея героя, только тѣ факты изъ событія, избраннаго для драматической картины, которые имѣютъ прямое отношеніе къ идеѣ его созданія, а все прочее, хотя бы само по себѣ и интересное, но не относящееся къ основной идеѣ его произведенія, онъ исключаетъ, какъ ненужное. Хотя рамы романа и несравненно обширнѣе стѣсненныхъ рамы драмы, хотя романистъ пользуется и несравненно большею противъ драматурга свободою, но любой романъ Вальтеръ-Скотта или Купера не отнимаетъ у насъ больше дня непрерывнаго чтенія, а подробное описаніе, въ родѣ мемуаровъ, года жизни каждаго человѣка наполнило бы собою вдесятеро большее число томовъ, нежели цѣлая жизнь героя или важнѣйшее событіе изъ нея въ романѣ, состоящемъ изъ четырехъ небольшихъ книжекъ. Поэтъ не обязанъ описывать, какъ герой его романа обѣдалъ каждый разъ; но поэтъ можетъ изобразить одинъ изъ его обѣдовъ, если этотъ обѣдъ имѣлъ вліяніе на его жизнь, или если въ этомъ обѣдѣ можно представить характеристическія черты обѣдовъ извѣстнаго народа въ извѣстную эпоху. Если герой романа рыцарь, то поэту не для чего описывать всѣ его поединки и сраженія, которыя у каждаго рыцаря были такъ часты и обыкновенны, какъ у русскаго купца питье чая; но поэтъ можетъ описать важнѣйшіе поединки и сраженія своего героя, или даже и одинъ поединокъ, если только въ немъ духъ рыцарства выразился столь характеристически, что новое описаніе въ этомъ родѣ ничего не дополнить, или если

это его отвага и дерзость, его жажда желаній, неудержимые порывы его стремленія—сжать въ пламенныхъ объятіяхъ и небо и землю, разомъ осушить до дна неистощимую чашу жизни... Поэзія—это сосредоточенная, овладѣвшая собою сила мужа, вполне созрѣвшаго для жизни, искушеннаго ея опытами, съ уравновѣшенными силами духа, съ просвѣтленнымъ взоромъ, готоваго на битву и на подвигъ... Поэзія—это тихій блескъ безцвѣтныхъ глазъ старца, кроткое, какъ ласка, глубокое, какъ дума, выраженіе сіяющаго блескомъ нездѣшной жизни морщиноватаго лица его, спокойный и полный души звукъ его дрожащаго и прерывающагося голоса, его тихая и важная рѣчь, любящая и величающая улыбка его мудрыхъ устъ... Поэзія—это свѣтлое торжество бытія, это блаженство жизни, неожиданно посѣщающія насъ въ рѣдкія минуты; это упоеніе, трепеть, млѣніе, нѣга страсти, волненіе и буря чувствъ, полнота любви, восторгъ наслажденія, сладость грусти, блаженство страданія, ненасытимая жажда слезъ; это страстное, томительное, тоскливое порываніе куда-то, въ какую-то всегда обольстительную и никогда недостигаемую сторону,—это вѣчная и никогда неудовлетворимая жажда все объять и со всѣмъ слиться; это тотъ божественный паѳосъ, въ которомъ сердце наше бьется въ одинъ ладъ со вселенною, передъ упоеннымъ взоромъ летаютъ безъ покрова безплотныя видѣнія высшаго бытія, а очарованному слуху слышится гармонія сферъ и міровъ,—тотъ божественный паѳосъ, въ которомъ земное сіяетъ небеснымъ, а небесное сочетается съ земнымъ, и вся природа является въ брачномъ блескѣ, разгаданнымъ іероглифомъ помириившагося съ нею духа... Весь міръ, всѣ цвѣты, краски и звуки, всѣ формы природы и жизни могутъ быть явленіемъ поэзіи; но сущность ея—то, чтѣ скрывается въ этихъ явленіяхъ, живить ихъ бытіе, очаровываетъ въ нихъ игрою жизни. Поэзія—это біеніе пульса міровой жизни, это ея кровь, ея огонь, ея свѣтъ и солнце.

Поэтъ—благороднѣйшій сосудъ духа, избранный любимецъ небесъ, тайникъ природы, эолова арфа чувствъ и ощущеній, органъ міровой жизни. Еще дитя, онъ уже силь-

нѣе другихъ сознаеть свое родство со вселенной, свою кровную связь съ нею; юноша—онъ уже переводить на понятный языкъ ея нѣмую рѣчь, ея таинственный лепетъ... Но послушаемъ лучше самого поэта: свидѣтельство, которому нельзя не повѣрить. Онъ говоритъ:

Все волновало нѣжный умъ:  
Цвѣтущій лугъ, луны блистанье,  
Въ часовнѣ ветхой бури шумъ,  
Старушки чудное преданье.  
Какой-то демонъ обладалъ  
Моими играми, досугомъ:  
За мной повсюду онъ леталъ,  
Мнѣ звуки дивные шепталъ,  
И тяжкимъ, пламеннымъ недугомъ  
Была полна моя глава;  
Въ ней грезы чудныя рождались,  
Въ размѣры стройныя стекались  
Мои послушныя слова,  
И звонкой римой замыкались.  
Въ гармоніи соперникъ мой  
Былъ шумъ лѣсовъ иль вихорь буйный,  
Иль иволги напѣвъ живой,  
Иль ночью моря гулъ глухой,  
Иль шопотъ рѣчки тихоструйной.

Еще есть другіе стихи Пушкина, болѣе чудные, болѣе глубокіе, и потому самому незнаемые толпою, и извѣстные только немногимъ истиннымъ поклонникамъ и жрецамъ изыскаго; въ этихъ стихахъ заключается полнѣйшая характеристика поэта и высочайшая апофеоза художника. Поэтъ обращается къ эху:

Реветь ли звѣрь въ лѣсу глухомъ,  
Трубитъ ли рогъ, гремитъ ли громъ,  
Поетъ ли дѣва за холмомъ—  
На всякій звукъ  
Свой откликъ въ воздухъ пустомъ  
Родишь ты вдругъ.  
Ты внимлешь грохоту громовъ,  
И гласу бури и валовъ,  
И крику сельскихъ пастуховъ—  
И шлешь отвѣтъ;  
Тебѣ жъ нѣтъ отзыва... Таковъ  
И ты, поэтъ!

Да, все, чѣмъ живетъ міръ и что живетъ въ мірѣ,—на-  
ходить отзвѣвъ во всеобъемлющей груди поэта; и ни одно  
существо на землѣ не имѣетъ большаго права примѣнить  
къ себѣ слова Фауста:

Всевышній духъ! Ты все, ты все мнѣ далъ,  
О чемъ тебя я умолялъ;  
Не даромъ зрѣлся мнѣ  
Твой ликъ сіяющій въ огнѣ.  
Ты далъ природу мнѣ, какъ царство, во владѣнье,  
Ты далъ душѣ моей  
Даръ чувствовать ее, далъ силу наслаждаться.  
Иной едва скользнуть по ней  
Холоднымъ взглядомъ удивленья;  
Но я могу въ ея таинственную грудь,  
Какъ въ сердце друга, заглянуть.

Но кто же онъ, самъ поэтъ, въ отношеніи къ прочимъ  
людямъ?—Это организація воспріимчивая, раздражительная,  
всегда дѣятельная, которая при малѣйшемъ прикосновеніи  
даетъ отъ себя искры электричества, которая болѣзненнѣе  
другихъ страдаетъ, живѣе наслаждается, пламеннѣе любитъ,  
сильнѣе ненавидитъ: словомъ,—глубже чувствуетъ; натура,  
въ которой развиты въ высшей степени обѣ стороны духа—  
и пассивная и дѣятельная. Уже по самому устройству  
своего организма, поэтъ больше, чѣмъ кто-нибудь, спосо-  
бенъ вдаваться въ крайности, и, возносясь превыше всѣхъ  
къ небу, можетъ-быть, ниже всѣхъ падаетъ въ грязь жизни.  
Но и самое паденіе его не то, что у другихъ людей: оно  
слѣдствіе ненасытимой жажды жизни, а не животной алчбы  
денегъ, власти и отличій. Эта жажда жизни въ немъ такъ  
велика, что за одну минуту упоенія страсти, за одинъ  
мигъ полноты чувства онъ готовъ жертвовать всѣмъ своимъ  
будущимъ, всѣми надеждами, всей остальной жизнью. У  
него — по выраженію Гезіода—„тѣснь всегда на умѣ, а  
въ груди сердце беззаботное“. Когда онъ чувствуетъ при-  
ближеніе бога и обдумываетъ зарождающееся въ немъ но-  
вое созданіе, тогда—

Пройдя безъ шума близъ него,  
Не нарушай холоднымъ словомъ

Его священныхъ, тихихъ словъ!  
 Вглянѣи съ слезой благоговѣнья,  
 И молви: это сынъ боговъ,  
 Питомецъ музъ и вдохновенья.

Когда онъ творить—онъ царь, онъ властелинъ вселенной, повѣренный тайнъ природы, прозирающій въ таинства неба и земли, природы и духа человѣческаго, только ему одному открытыя; но когда онъ находится въ обыкновенномъ земномъ расположеніи—онъ *человѣкъ*, но *человѣкъ*, который можетъ быть ничтожнымъ, и никогда не можетъ быть низкимъ, который чаще другихъ можетъ падать, но который такъ же быстро возстаетъ, какъ падаетъ,—который всегда готовъ отозваться на голосъ, несущійся къ нему отъ его родины—неба. Но послушаемъ его собственной исповѣди:

Пока не требуетъ поэта  
 Къ священной жертвѣ Аполлонъ,  
 Въ заботахъ суетнаго свѣта  
 Онъ малодушно погруженъ;  
 Молчитъ его святая лира;  
 Душа вкушаетъ хладный сонъ,  
 И межъ дѣтей ничтожныхъ міра,  
 Быть можетъ, всѣхъ ничтожнѣй онъ.  
 Но лишь божественный глаголъ  
 До слуха чуткаго коснется,  
 Душа поэта встрепетъ  
 Какъ пробудившійся орелъ.  
 Тоскуетъ онъ въ забавахъ міра,  
 Людской чуждается молвы,  
 Въ ногамъ народнаго кумира  
 Не клонитъ гордой головы,  
 Бѣжитъ онъ, дикій и суровый,  
 И звуковъ и смятенья полнъ,  
 На берега пустынныхъ волнъ,  
 Въ широкошумныя дубравы...

Какая цѣль поэзіи?—вопросъ, который для людей, обдѣленныхъ отъ природы эстетическимъ чувствомъ, кажется такъ важенъ и неудоборѣшимъ. Поэзія не имѣетъ никакой цѣли внѣ себя, но сама себѣ есть цѣль, такъ же, какъ истина въ знаніи, какъ благо въ дѣйствіи. Не все

ли намъ равно—знать или не знать, что не относится къ нашей жизни или нашимъ выгодамъ, что и высоко и далеко отъ насъ, какъ это небо, котораго и безконечно малой частицы никогда не придвинемъ мы къ себѣ всѣми телескопами? Однакожъ астрономъ посвящаетъ всю жизнь свою этому небу,—и открытіе новой звѣзды, которая не прибавитъ ни полтины къ его годовому доходу, дѣлаетъ его счастливымъ и блаженнымъ. Развѣ потому должны мы любить добро, что насъ за него хвалятъ или награждаютъ? Развѣ мы должны отречься отъ него и сворачивать на широкую дорогу зла, какъ скоро увидимъ, что добро не только не приноситъ намъ никакихъ процентовъ, но еще подвергаетъ насъ гоненіямъ и несчастіямъ? Подобно истинѣ и благу, красота есть сама себѣ цѣль, и по праву царствуетъ надъ вселенной только властью своего имени, неотразимымъ обаяніемъ своего дѣйствія на душу людей. Вотъ въ ярко освѣщенную, великолѣпную залу входитъ красавица,—и трепещетъ пылкая юность, разглаживаются морщины на челѣ старости, улыбка радости проясняетъ сонныя отъ пустоты и скуки лица; кажется, царства мало за одинъ взглядъ ея; лавровый вѣнокъ героя, лучезарный ореолъ поэта готовы пасть къ ногамъ ея, лишь бы только захотѣла она замѣтить ихъ... А между тѣмъ вы въ лицѣ ея тщетно отыскиваете выраженія какой-нибудь опредѣленной идеи, оттѣнка какого-нибудь опредѣленного чувства: ничего, ничего, кромѣ безбрежнаго моря красоты и граціи, въ которомъ тонутъ ваши очарованные взоры, исчезаетъ все существо ваше... Объясните мнѣ: для чего такая красота, какая цѣль ея,—и я объясню вамъ со всевозможною ясностью и даже „точностью“, для чего существуетъ поэзія, какая цѣль ея... И если бы нашлись люди, надъ которыми красота не имѣетъ никакой власти, не будемъ спорить съ ними! Хладные скопцы (по выраженію Пушкина), лишенные огня Прометеева,—стоятъ ли они словъ, и имъ ли можно растолковать, почему диллетантъ такъ благоговѣнно и цѣломудренно любитъ обнаженную красоту Венеры Медичейской, и за обломокъ древней капители, ба-



рельефа или cameo готовъ жертвовать всѣмъ достоинствомъ своимъ, съ безумной горячностью любовника, которому и жизни не жаль за одну улыбку возлюбленной?..

Вотъ какъ понималъ красоту „божественный Платонъ“, и какъ во всѣ вѣка будутъ понимать ее умы благородные и возвышенные!

„Наслаждение красотой въ этомъ земномъ мірѣ возможно въ чуждѣ только по воспоминанію той единой, истинной и совершенной красоты, которую душа припоминаетъ себѣ въ первоначальной ея родинѣ. Вотъ почему зрѣлище прекраснаго на землѣ, какъ воспоминаніе о красотѣ горней, способствуетъ тому, чтобъ окрылять душу къ небесному и возвращать ее къ божественному источнику всякой красоты.“

Красота была свѣтлаго вида въ то время, когда мы, счастливымъ хоромъ, слѣдовали за Діемъ, въ блаженномъ видѣніи и созерцаніи, другіе же за другими богами; мы зрѣли и совершали блаженнѣйшее изъ всѣхъ таинствъ, приобщались ему всецѣлые, не причастные бѣдствіямъ, которыя въ позднее время насъ постигли; погружались въ видѣнія совершенныя, простыя, нестрашныя, но радостныя, и созерцали ихъ въ свѣтѣ чистомъ, сами будучи чисты и не запятнаны тѣмъ, что мы нынѣ, влача съ собою, называемъ тѣломъ, мы, заключенные въ него, какъ въ раковину.

Красота одна получила здѣсь этотъ жребій: быть пресвѣтлою и достойною любви. Не вполне посвященный, развратный стремится къ самой красотѣ, не взирая на то, что носить ея имя; онъ не благоговѣетъ передъ нею, а, подобно четвероногому, ищетъ одного чувственного наслажденія, хочетъ слить прекрасное съ своимъ тѣломъ... Напротивъ того, вновь посвященный, увидѣвъ богамъ подобное лицо, изображающее красоту, сначала трепещетъ; его объемлетъ страхъ; потомъ, созерцая прекрасное, какъ бога, онъ обожаетъ, и если бы не боялся, что назовутъ его безумнымъ, онъ принесть бы жертву предмету любимому...»

Какъ красота, такъ и поэзія—выразительница и жрица красоты—сама себѣ цѣль, и внѣ себя не имѣетъ никакой цѣли. Если она возвышаетъ душу человѣка къ небесному, настраиваетъ ее къ благимъ дѣйствіямъ и чистымъ помысламъ—это уже не цѣль ея, а прямое дѣйствіе, свойство ея сущности; это дѣлается само собою, безъ всякаго предначертанія со стороны поэта. Поэтъ есть живописецъ, а не философъ. Всегдашній предметъ его картинъ и изображеній есть „полное славы творенье“—міръ со всей без-

конечностью и разнообразіемъ его явленій. Поэзія говоритъ душѣ образами,—и ея образы суть выраженіе той вѣчной красоты, первообразъ которой блещетъ въ мірозданіи и во всѣхъ частныхъ явленіяхъ и формахъ природы. Поэзія не терпитъ отвлеченныхъ идей въ ихъ безтѣлесной наготѣ, но самыя отвлеченныя понятія воплощаетъ въ живые и прекрасные образы, въ которыхъ мысль сквозитъ, какъ свѣтъ въ граненомъ хрусталѣ. Поэтъ видитъ во всемъ формы, краски, и всему даетъ форму и цвѣтъ, овеществляетъ вещественное, дѣлаетъ земнымъ небесное—да свѣтитъ земное небеснымъ свѣтомъ! Для поэта всѣ явленія въ мірѣ существуютъ сами по себѣ; онъ переселяется въ нихъ, живетъ ихъ жизнью, и съ любовью летѣтъ ихъ на своей груди, такъ какъ они есть, не измѣняя по своему произволу ихъ сущности. Это не значитъ, чтобъ поэтъ не могъ отрываться отъ созерцанія міра, взятаго въ самомъ себѣ, и вносить въ него свой идеалъ, чтобъ лиру пѣснопѣнія, кинжалъ трагедіи и трубу эпопеи не могъ онъ мѣнять на громаы благороднаго негодованія и даже на свистокъ сатиры; молитву оставлять для проповѣди и прошедшее, міровое и вѣчное забывать на минуту для современности и общества; но смѣшно требовать, чтобъ въ этомъ онъ увидѣлъ цѣль своей жизни, и за долгъ себѣ поставилъ подчинить свое свободное вдохновеніе разнымъ „текущимъ потребностямъ“. Свободный, какъ вѣтеръ, онъ повинуется только внутреннему своему призванію, таинственному голосу движущаго имъ бога, а на крики тупой черни, которая бы стала присгавать къ нему, въ своей дикой слѣпотѣ:

Нѣтъ, если ты небесъ избранникъ,  
Свой даръ, божественный посланникъ,  
Во благо намъ употребляй:  
Сердца собратьевъ исправляй.  
Мы малодушны, мы коварны,  
Безстыдны, злы, неблагодарны;  
Мы сердцемъ хладные скопцы,  
Клеветники, рабы, глупцы;  
Гнѣзятся клубомъ въ насъ пороки:  
Ты можешь, ближняго любя,  
Давать намъ смѣлые уроки,  
А мы послушаемъ тебя, —

онъ можетъ и долженъ отвѣчать, если только стоитъ она отвѣта:

Подите прочь — какое дѣло  
Поэту мирному до васъ!  
Въ развратѣ каменѣйте смѣло:  
Не оживить васъ лиры гласъ!  
Душѣ противны вы какъ гробы,  
Для вашей глупости и злобы  
Имѣли вы до сей поры  
Бичи, темницы, топоры;  
Довольно съ васъ, рабовъ безумныхъ!  
Во градахъ вашихъ съ улицъ шумныхъ  
Считаютъ соръ — полезный трудъ!  
Но, позабывъ свое служенье,  
Алтарь и жертвоприношенье,  
Жрецы ль у васъ метлу берутъ?  
Не для житейскаго волненья,  
Не для корысти, не для битвъ:  
Мы рождены для вдохновенья,  
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ!

Поэтъ не подражаетъ природѣ, но соперничествуетъ съ нею, — и его созданія исходятъ изъ того же источника и тѣмъ же самымъ процессомъ, какъ и всѣ явленія природы, съ той только разницей, что на сторонѣ процесса его творчества есть еще и сознаніе, котораго лишена природа и ея дѣятельность. Вся природа со всѣми ея явленіями есть плодъ вдохновеннаго порыва духа — изъ идеальной области возможнаго перейти въ реальную область дѣйствительнаго, стать фактомъ, чтобъ потомъ въ разумнѣйшемъ своемъ явленіи — человѣкѣ — взглянуть на себя, какъ на нѣчто особое, сознать себя. И всякое произведеніе искусства есть плодъ вдохновеннаго усилія художника — вывести наружу, осуществить во внѣ внутренней міръ своихъ безплотныхъ идеаловъ. Итакъ, вдохновеніе есть источникъ всякаго творчества; но искусство выше природы настолько, насколько всякое сознательное и свободное дѣйствіе выше безсознательнаго и невольнаго. Но сознаніе при актѣ творчества есть не дѣятель, а только какъ-бы свидѣтель, дабы творчество было художнику въ наслажденіе и награду. Ко-

нечно, всякое дѣйствіе есть уже необходимо и сознаніе; но подъ сознаніемъ въ творчествѣ не должно разумѣть дѣятельность разсудка, трудъ соображенія, разсчета и механическую работу: вдохновеніе, которое Платонъ называетъ *маніей*,—вотъ единственный дѣятель творчества, а разсудокъ враждебенъ творчеству, и мертвитъ его. „Кто—говорить Платонъ—безъ маніи, внушаемой музами, приходитъ къ вратамъ поэзіи, убѣжденный въ томъ, что искусствомъ (*ἐχτέχνησι*) сдѣлается изъ него хорошій поэтъ, тотъ никогда не будетъ совершеннымъ, и поэзія его, какъ поэзія *благоразумнаго*, будетъ отличаться отъ поэзіи *безумствующихъ*“.

Вообще понятіе Платона о вдохновеніи такъ глубоко вѣрно и такъ поэтически, вдохновенно выражено, что, сообщивъ его, мы скажемъ о вдохновеніи все, что только можно сказать:

«...Не искусствомъ (*техникой*), но энтузіазмомъ и вдохновеніемъ, великіе эпическіе поэты сочиняютъ свои прекрасныя произведенія. Славные лирики также, подобно людямъ, волнуемымъ безуміемъ корибантовъ, пляшущихъ внѣ себя, не остаются въ умѣ своемъ, когда творятъ изящныя пѣснопѣнія: какъ скоро вошли они въ ладъ гармоніи и рима, то преисполняются безуміемъ, объемлются восторгомъ, подобнымъ восторгу вакханокъ, которыя въ минуту упоенія черпаютъ въ рѣкахъ млеко и медъ, чего не бываетъ съ ними во время покоя. Въ душѣ поэтовъ лирическихъ на самомъ дѣлѣ совершается то, чѣмъ они хвалятся. Они говорятъ намъ, что черпаютъ въ медовыхъ источникахъ, что, подобно пчеламъ, летаютъ они по садамъ и долинамъ музъ и въ нихъ собираютъ пѣсни, которыя поютъ намъ. Они говорятъ правду. Поэтъ въ самомъ дѣлѣ есть существо легкое, крылатое и святое; онъ можетъ творить тогда только, когда восторгъ его объемлетъ, когда онъ выйдетъ изъ себя, и разсудокъ покинетъ его. Но покаместъ онъ съ нимъ, человѣкъ неспособенъ творить все и произносить пророчества.

Итакъ, если не искусствомъ, а божественнымъ вдохновеніемъ творятъ поэты,—то каждый изъ нихъ, по жребію Божію, успѣваетъ только въ томъ родѣ, къ которому муза его призываетъ. Одинъ превосходитъ въ диоирамбѣ, другой въ похвальной одѣ,—третій въ плясовой пѣснѣ, четвертый—въ эпосѣ, пятый—въ ямбахъ, и всѣ будутъ слабы во всякомъ другомъ родѣ потому что не искусство, а сила божественная внушаетъ ихъ. Если бы искусствомъ они умѣли творить, то могли бы успѣть въ разныхъ родахъ. А конецъ, на какой богъ, отъемля у нихъ смыслъ, употребляетъ ихъ какъ слугителей

своихъ наравнѣ съ пророками и гадателями, есть тотъ, чтобъ мы, внимая имъ, познавали, что не сами собою они говорятъ намъ вещи дивныя, ибо они внѣ своего разума, но что самъ Богъ чрезъ нихъ къ намъ глаголетъ».

Этотъ взглядъ на вдохновеніе, такъ простодушно, въ духѣ младенческой древности выраженный, удивителенъ по своей глубокости. Ясно, что Платонъ „благоразуміемъ“ называетъ разсудочное, обыкновенное, будничное, такъ сказать, состояніе нашего духа; а подъ „безуміемъ“ разумѣетъ тотъ божественный паѳосъ, то состояніе вдохновеннаго ясновидѣнія, когда разумъ человѣка созерцаетъ таинство высшаго міра, а воля его движетъ горами. Въ самомъ дѣлѣ восторгъ наслажденія, изступленіе радости, упоеніе страданія, тоска разлуки, трепетъ свиданія, обаяніе любви, отвага самаго жертвованія, готовность пострадать за правое дѣло и истину, сладострастіе вдохновенія—что все это, если не безуміе?... Но это безуміе разумное, безуміе божественное, которое возноситъ человѣка превыше премудрыхъ міра сего, и равняетъ его съ богами... А мертвое равнодушіе, затянутае въ формы приличія, расчеты мелкаго самолюбія и эгоизма, размѣренные шаги къ ничтожной цѣли, отреченіе отъ истиннаго назначенія человѣческаго для достиженія ея—что все это, если не благоразуміе?... Но не будемъ говорить о благоразуміи: оно врагъ поэзіи, а предметъ нашей статьи—поэзія...

Все, сказанное нами о поэзіи вообще, легко приложить къ поэзіи Лермонтова. Гдѣ вдохновеніе неподдѣльно, тамъ есть и поэзія, и чьей натурѣ сродно вдохновеніе, тотъ поэтъ; но и вдохновеніе имѣетъ свои степени, и въ каждомъ поэтѣ отличается особеннымъ характеромъ: въ одномъ оно искрится и шипитъ пѣною какъ шампанское, и подобно шампанскому тотчасъ же оживляетъ легкимъ, но и скоропреходящимъ похмѣльемъ; въ другомъ оно льется свѣтлой, прозрачною рѣчкой, съ смѣющимися зелеными берегами; въ третьемъ оно бьетъ и стремится бурными волнами, съ громомъ, пѣною и брызгами, подобно Ніагарскому водопаду;

въ четвертомъ оно подобно океану безъ береговъ и дна, отражающему въ себѣ и небесный куполь съ его солнцемъ, луною и мириадами звѣздъ, и страшныя тучи, съ ихъ мракомъ и молніями,—океану, который равно величественъ и торжественъ и въ тишину и въ бурю, который носитъ на своихъ могучихъ волнахъ и утлый челнокъ рыбака и огромныя флоты, и который въ необъятныхъ таинственныхъ нѣдрахъ своихъ заключаетъ цѣлыя міры живыхъ существъ, и великихъ, и малыхъ, и горы раковинъ, и лѣса каралловъ... Жизнь одна и та же во всѣхъ своихъ явленіяхъ, но одно изъ нихъ объемлетъ собою только извѣстную часть ея, другое же заключаетъ въ себѣ безконечно великое содержаніе жизни. Таково же и отношеніе между поэтами: въ отношеніи къ акту творчества, къ процессу вдохновенія пѣсня Беранже совершенно равна любой драмѣ Шекспира, но въ отношеніи къ содержанію жизни, которое объемлетъ собою то и другое изъ упомянутыхъ произведеній, между ними безконечная разница въ важности, цѣнности и достоинствѣ. И эта разница существуетъ не только въ пьесахъ разнаго рода, какъ, на примѣръ, застольная пѣсенка и высокая драма: она можетъ существовать и между двумя застольными пѣснями, написанными на одинъ и тотъ же предметъ, но только разными поэтами. И вотъ здѣсь-то можно видѣть превосходство одного поэта передъ другимъ: пѣсня одного читается съ наслажденіемъ, но рѣдко вспоминается и скоро забывается; другого—тѣмъ больше читается, тѣмъ больше наслажденія доставляетъ, и даже прочитанная разъ, навсегда остается въ памяти—если не словами своими, то своимъ колоритомъ, тѣмъ „нѣчто“, для выраженія котораго нѣтъ словъ на языкѣ человѣческомъ. Сравните „Поэта“ Языкова съ „Поэтомъ“ Пушкина, котораго мы выписали выше, въ нашей статьѣ, и съ его же стихотвореніемъ „Поэту“: сначала вамъ можетъ показаться, что пьеса Языкова выше обѣихъ Пушкинскихъ; но вы скоро, если въ васъ есть эстетическое чувство, замѣтите въ первой, при всемъ ея блескѣ, нѣкоторую напряженность, съ какой она составлена,—и благородную простоту, естественность, неиз-

мѣримую глубину двухъ послѣднихъ и ихъ безконечное превосходство надъ первой... Причина этой разности есть равенство сколько въ талантѣ, столько и въ натурахъ обоихъ поэтовъ: одинъ смотритъ на природу вещей извнѣ, видитъ только ея наружность; другой проникъ въ ея сущность, и обратилъ ее въ свое достояніе, по праву законнаго властелина...

Немного поэтовъ, къ разбору произведеній которыхъ было бы не странно приступать съ такимъ длиннымъ предисловіемъ, съ предварительнымъ взглядомъ на сущность поэзіи: Лермонтовъ принадлежитъ къ числу этихъ немногихъ... Подробное разсмотрѣніе небольшой книжки его стихотвореній покажетъ, что въ ней кроются всѣ стихіи поэзіи, что она заключаетъ въ себѣ возможность въ будущемъ нѣсколькихъ и притомъ большихъ книгъ... Мы увидимъ, что свѣжесть благоуханія, художественная роскошь формъ, поэтическая прелесть и благородная простота образовъ, энергія, могучесть языка, алмазная крѣпость и металлическая звучность стиха, полнота чувства, глубокость и разнообразіе идей, необъятность содержанія—суть родовыя характеристическія примѣты поэзіи Лермонтова и залогъ ея будущаго великаго развитія.

Чѣмъ выше поэтъ, тѣмъ больше принадлежитъ онъ обществу, среди котораго родился, тѣмъ тѣснѣе связано развитіе, направленіе и даже характеръ его таланта съ историческимъ развитіемъ общества. Пушкинъ началъ свое поэтическое поприще „Русланомъ и Людмилою“—сочиненіемъ, котораго идея отзывается слишкомъ ранней молодостью, но которое кипитъ чувствомъ, блещетъ всѣми красками, благоухаетъ всѣми цвѣтами природы, сознаніемъ неистощимо веселымъ, игривымъ... Это была шалость генія послѣ первой опорожненной имъ чаши на свѣтломъ пиру жизни... Лермонтовъ началъ исторической поэмой, мрачной по содержанію, суровой и важной по формѣ... Въ первыхъ своихъ лирическихъ произведеніяхъ, Пушкинъ явился провозвѣстникомъ человѣчности, пророкомъ высокихъ идей общественныхъ; но эти лирическія стихотворенія были столько

же полны свѣтлыхъ надеждъ, предчувствія торжества, сколько силы и энергіи. Въ первыхъ лирическихъ произведеніяхъ Лермонтова, разумѣется, тѣхъ, въ которыхъ онъ особенно является русскимъ и современнымъ поэтомъ, также виденъ избытокъ несокрушимой силы духа и богатырской силы въ выраженіи; но въ нихъ уже нѣтъ надежды, они поражаютъ душу читателя безотрадностью, безвѣріемъ въ жизнь и чувства человѣческія, при жадѣ жизни и избыткѣ чувства... Нигдѣ нѣтъ Пушкинскаго разгула на пиру жизни; но вездѣ вопросы, которые мрачатъ душу, леденятъ сердце... Да, очевидно, что Лермонтовъ поэтъ совсѣмъ другой эпохи, и что его поэзія—совсѣмъ новое звено въ цѣпи историческаго развитія нашего общества \*).

Первая пьеса Лермонтова напечатана была въ „Современникѣ“ 1837 года, уже послѣ смерти Пушкина. Она называется „Бородино“. Поэтъ представляетъ молодого солдата, который спрашиваетъ стараго служаку:

Скажи-ка, дядя, вѣдь, не даромъ  
Москва, спаленная пожаромъ,  
Французу отдана?  
Вѣдь, были жъ схватки боевыя?  
Да, говорятъ, еще какія!  
Не даромъ помнить вся Россія  
Про день Бородина.

Вся основная идея стихотворенія выражена во второмъ куплетѣ, которымъ начинается отвѣтъ стараго солдата, состоящій изъ тринадцати куплетовъ:

— Да, были люди въ наше время,  
Не то, что нынѣшнее племя:  
• Богатыри—не вы!  
Плохая имъ досталась доля:  
Немногіе вернулись съ поля...  
Не будь на то Господня воля,  
Не отдали бъ Москвы!

Эта мысль—жалоба на настоящее поколѣніе, дремлющее въ бездѣйствіи, зависть къ великому прошедшему, столь

\*) Замѣтимъ, для большей ясности и „точности“, что, говоря объ обществѣ, мы разумѣемъ только чувствующихъ и мыслящихъ людей новаго поколѣнія.



полному славы и великихъ дѣлъ. Дальше мы увидимъ, что эта „тоска по жизни“ внушила нашему поэту не одно стихотвореніе, полное энергіи и благороднаго негодованія. Что же до „Бородина“,—это стихотвореніе отличается простою, безыскусственностью; въ каждомъ словѣ слышите солдата, языкъ котораго, не переставая быть грубо-просто-душнымъ, въ то же время благороденъ, силенъ и полонъ поэзіи. Ровность и выдержанность тона дѣлають осязаемо-ощутительной основную мысль поэта. Впрочемъ, какъ ни прекрасно это стихотвореніе, оно не могло еще показать, чего отъ его автора должна была ожидать наша поэзія. Въ 1838 г. въ „Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Русскому Инвалиду“ была напечатана его поэма „Пѣсня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова“; это произведеніе сдѣлало извѣстнымъ имя автора, хотя оно явилось и безъ подписи этого имени. Спрашивали: кто такой безыменный поэтъ? кто такой Лермонтовъ? писалъ ли онъ что-нибудь, кромѣ этой поэмы? Но, несмотря на то, эта поэма все-таки еще не оцѣнена, толпа и не подозрѣваетъ ея высокаго достоинства. Здѣсь поэтъ отъ настоящаго міра неудовлетворяющей его русской жизни перенесся въ ея историческое прошедшее, подслушалъ бѣеніе его пульса, проникъ въ сокровеннѣйшіе и глубочайшіе тайники его духа, сроднился и слился съ нимъ всѣмъ существомъ своимъ, обвѣялся его звуками, усвоилъ себѣ складъ его старинной рѣчи, простодушную суровость его нравовъ, богатырскую силу и широкій размахъ его чувства, и, какъ будто современникъ этой эпохи, принялъ условія ея грубой и дикой общественности, со всѣми ихъ оттѣнками, какъ будто бы никогда и не знавалъ о другихъ,—и вынесъ изъ нея вымышленную быль, которая достовѣрнѣ всякой дѣйствительности, несомнѣннѣ всякой исторіи. И подлинно, этой пѣсни можно заслушаться, и все нельзя ея довольно послушаться: какъ маніемъ волшебнаго скипетра воскрешаетъ она прошедшее—и мы не можемъ насмотрѣться на него, забываемъ для него свое настоящее, ни на минуту не сводимъ съ него взоровъ, боясь, чтобъ оно не исчезло

отъ насъ. На первомъ планѣ видимъ мы Іоанна Грознаго, котораго память такъ кровава и страшна, котораго колоссальный обликъ живъ еще въ преданіи и въ фантазіи народа... Что за явленіе въ нашей исторіи былъ этотъ „мужъ кровей“, какъ называетъ его Курбскій? Былъ ли онъ Людовикомъ XI нашей исторіи, какъ говоритъ Карамзинъ?.. Не время и не мѣсто распространяться здѣсь о его историческомъ значеніи; замѣтимъ только, что это была сильная натура, которая требовала себѣ великаго развитія для великаго подвига; но какъ условія тогдашняго полуазиатскаго быта и внѣшнія обстоятельства отказали ей даже въ какомъ-нибудь развитіи, оставивъ ее при естественной силѣ и грубой мощи, и лишили ее всякой возможности пересоздать дѣйствительность,—то эта сильная натура, этотъ великій духъ поневолѣ исказились, и нашли свой выходъ, свою отраду только въ безумномъ мщеніи этой ненавистной и враждебной имъ дѣйствительности... Тиранія Іоанна Грознаго имѣетъ глубокое значеніе, и потому она возбуждаетъ къ нему скорѣе сожалѣніе, какъ къ падшему духу неба, чѣмъ ненависть и отвращеніе, какъ къ мучителю... Можетъ быть, это былъ своего рода великій человѣкъ, но только не во время, слишкомъ рано явившійся Россіи,—пришедшій въ міръ съ призваніемъ на великое дѣло, и увидѣвшій, что ему нѣтъ дѣла въ мірѣ: можетъ быть, въ немъ бессознательно кипѣли всѣ силы для измѣненія ужасной дѣйствительности, среди которой онъ такъ безвременно явился, которая не побѣдила, но разбила его, и которой онъ такъ страшно мстилъ всю жизнь свою, разрушая и ее и себя самого въ болѣзненной и бессознательной ярости... Вотъ почему изъ всѣхъ жертвъ его свирѣпства онъ самый наиболѣе заслуживаетъ соболѣзнованія; вотъ почему его колоссальная фигура, съ блѣднымъ лицомъ и впалыми, сверкающими очами, съ головы до ногъ облита такимъ страшнымъ величіемъ, нестерпимымъ блескомъ такой ужасающей поэзіи... И такимъ точно является онъ въ поэмѣ Лермонтова: взглядъ очей его—молнія, звукъ рѣчей его—громъ небесный, порывъ гнѣва его—смерть и пытка; но сквозь

все это, какъ молнія сквозь тучи, проблескиваетъ величіе падшаго, униженнаго, искаженнаго, но сильнаго и благороднаго по своей природѣ духа...

Поэма начинается картиной царскаго пира: въ золотомъ вѣнцѣ своемъ сидитъ грозный царь, окруженный стольниками, боярами, князьями и опричниками.

И пируетъ царь во славу Божию,  
Въ удовольствіе свое и веселіе.

Онъ велитъ наполнить золотой ковшъ заморскимъ виномъ, обнести пирующихъ. — „И всѣ пили, царя славили“. Лишь только одинъ изъ опричниковъ „въ золотомъ ковшѣ не мочилъ усовъ“, и сидѣлъ съ крѣпкою думою на сердцѣ. Гнѣвно взглянулъ на него царь, словно ястребъ съ высоты небесъ на молодого голубя сизокрылаго, — „да не поднялъ глазъ молодой боецъ“.

Царь стукнулъ объ полъ своею палкою, съ желѣзнымъ наконечникомъ; палка на четверть вонзилась въ дубовый полъ, но и тутъ не дрогнулъ добрый молодецъ.

Вотъ промолвилъ царь слово грозное,  
И очнулся тогда добрый молодецъ.  
«Гей ты, вѣрный нашъ слуга Кирибѣевичъ,  
Аль ты думу затаилъ нечестивую?  
Али слава нашей завидуешь?  
Али служба тебѣ честная прискучила?  
Когда всходитъ мѣсяцъ—звѣзды радуются,  
Что свѣтлѣй имъ гулять по поднебесью;  
А которая въ тучку прячется,  
Та стремглавъ на землю падаетъ...  
Неприлично же тебѣ, Кирибѣевичъ,  
Царской радостью гнушаться;  
А изъ роду ты, вѣдь, Скуратовыхъ  
И семьею ты вскормленъ Малютиной!..

Низко кланяясь, опричникъ проситъ у царя извиненія, говоря:

«Сердца жаркаго не залить виномъ,  
Душу черную — не заподчивать!  
А прогнѣвалъ я тебя—воля царская:  
Прикажи казнить, рубить голову;  
Тяготить она плечи богатырскія,  
И сама къ сырой землѣ она клонится.»

Царь разспрашиваетъ о причинѣ печали, и его вопросы — перлы народной нашей поэзіи, полнѣйшее выраженіе духа и формъ русской жизни того времени. Таковъ же и отвѣтъ или, лучше сказать, отвѣты опричника, потому что, по духу русской національной поэзіи, онъ отвѣчаетъ почти стихомъ на стихъ. Боясь длинноты, не выпишемъ этого мѣста; но вторая половина рѣчи Кирибѣевича дышитъ такой полнотой чувства, блещетъ такими самоцвѣтными камнями народной поэзіи, что мы не можемъ удержаться, чтобы не перечестъ его вмѣстѣ съ нашими читателями. Вина печали удалого бойца — молодушка, которая закрывается фатою, когда на нее любуются красныя дѣвушки:

«На святой Руси, нашей матушкѣ,  
Не найти, не сыскать такой красавицы:  
Ходить плавно — будто лебедушка,  
Смотрить сладко — какъ голубушка,  
Молвить слово — соловей поетъ;  
Горять щеки ея румяныя,  
Какъ заря на небѣ Божіемъ;  
Косы русыя, золотистыя,  
Въ ленты яркія заплетенныя,  
По плечамъ бѣгутъ, извиваются,  
Съ грудью бѣлою цѣлуются.  
Во семьѣ родилась она купеческой,  
Прозывается Аленой Дмитревной.  
Какъ увижу ее, я и самъ не свой:  
Опускаются руки смѣлыя,  
Помрачаются очи бойкія;  
Скучно, грустно мнѣ, православный царь,  
Одному по свѣту маяться.  
Опостыли мнѣ кони легкіе,  
Опостыли наряды парчевые,  
И не надо мнѣ золотой казны:  
Съ кѣмъ казною своею подѣлюсь теперь?  
Передъ кѣмъ покажу удалство свое?  
Передъ кѣмъ я нарядомъ похвастаюсь?  
Отпусти меня въ степи приволжскія,  
На житье на вольное, на казацкое.  
Ужъ сложу я тамъ буйную головушку  
И сложу на копье бусурманское;  
И раздѣлять по себѣ злы татаровья

Боя доброго, саблю острую  
И сѣдѣльце бранное черкасское.  
Мои очи слезныя коршунъ выклюетъ,  
Мои кости сырыя дождигъ вымоетъ,  
И безъ похоронъ горемычный прахъ  
На четыре стороны развѣется.»

Какая сильная, могучая натура! Ея страсть—лава, ея горсть тяжела и трудна; это удалое, разгульное отчаяніе, которое въ молодечествѣ, въ подвигѣ крови и смерти ищетъ своего утolenія! Сколько поэзіи въ словахъ этого опричника, какая глубокая грусть дышитъ въ нихъ,—эта грусть, которая разрываетъ сильную душу, но не убиваетъ ея, эта грусть, которая составляетъ основной элементъ, родную стихію, главный мотивъ нашей національной поэзіи!

Со смѣхомъ отвѣчаетъ царь своему любимому слугѣ, что его горю-бѣдѣ не мудрено помочь, предлагаетъ ему яхонтовый перстень и жемчужное ожерелье; велитъ сперва поклониться „смышленной“ свахѣ, а потомъ послать къ своей Алень Дмитріевнѣ дары драгоценныя:

«Какъ полюбишься—празднуй свадьбу,  
Не полюбишься—не прогнѣвайся».  
—Охъ ты гой еси, царь Иванъ Васильевичъ!  
Обманулъ тебя твой лукавый рабъ,  
Не сказалъ тебѣ правды истинной,  
Не повѣдалъ тебѣ, что красавица  
Въ церкви Божіей перевѣнчана,  
Перевѣнчана съ молодымъ купцомъ  
По закону нашему христіанскому...

Какъ ударъ грома, какъ приговоръ смерти, поражаетъ душу читателя этотъ отвѣтъ опричника,—и тщетно испуганный слухъ ждетъ, что скажетъ на это грозный царь: поэтъ опускаетъ занавѣсъ на эту его трагически не доконченную картину, такъ страшно прерванную сцену; передъ вами нѣтъ героевъ поэмы, и вы съ трудомъ вѣрите, что видѣли все это наяву, что все это—только разсказъ пѣсенниковъ...

Ай, ребята, пойте—только гусли стройте!  
Ай, ребята, пейте—дѣло разумѣйте!  
Ужъ потѣшите вы добраго боярина  
И боярыню его бѣлолицую!

Но этотъ удалый припѣвъ, эти затѣйливые прибаутки народнаго остроумія не веселятъ васъ; сердце ваше сжимается болѣзненной тоской: оно чувствуетъ горе, предвидитъ бѣду; повѣсть превращается для васъ въ мрачную драму, съ трагической катастрофой, и завязка уже готова, дѣйствіе уже зародилось. Вы видите, что любовь Кирибѣевича — не шуточное дѣло, не простое волокитство, но страсть натуры сильной, души могучей. Вы понимаете, что для этого человѣка нѣтъ середины: или получить или погибнуть! онъ вышелъ изъ-подъ опеки естественной нравственности своего общества, а другой, болѣе высшей, болѣе человѣческой, не приобрѣлъ: такой развратъ, такая безнравственность въ человѣкѣ съ сильной натурой и дикими страстями опасны и страшны. И при всемъ этомъ онъ имѣетъ опору въ грозномъ царѣ, который никого не пожалѣетъ и не пощадитъ, даже за обиду, не только за гибель своего любимца, хотя бы этотъ былъ рѣшительно виноватъ.

Занавѣсъ поднять — и передъ нами новая картина: молодой купецъ, статный молодецъ, Степанъ Парамоновичъ, по прозванію Калашниковъ, за прилавкою,

Шелковые товары раскладываетъ,  
Рѣчью ласковой гостей онъ заманиваетъ,  
Злато-серебро пересчитываетъ.

Это другая сторона русскаго быта того времени; на сценѣ является представитель другого класса общества. Первое его появленіе на сцену располагаетъ васъ въ его пользу: почему-то вы чувствуете, что это одинъ изъ тѣхъ упругихъ и тяжелыхъ характеровъ, которые тихи и кротки только до тѣхъ поръ, пока обстоятельства не расколыхаютъ ихъ, — одна изъ тѣхъ желѣзныхъ натуръ, которыя и обиды не стерпятъ и сдачи дадутъ. Сильнѣе и сильнѣе щемитъ ваше сердце — чувствуетъ оно недоброе, тѣмъ больше, что „молодому кушцу, статному молодцу“ задался не добрый день.

Ходятъ мимо бояре богатые,  
Въ его лавочку не заглядываютъ...  
Отзвонили вечерни во святыхъ церквахъ;  
За Кремлемъ горитъ заря туманная,

Набѣгаютъ тучки на небо, —  
Гонить ихъ метелица распѣваячи;  
Опустѣль широкій гостинный дворъ.

пниковъ запираетъ свою лавочку дубовою дверью, „да  
жимъ замкомъ со пружиною“, привязываетъ на же-  
ю цѣпь зубастаго пса,

И пошелъ онъ домой, *призадумавшись*,  
Къ молодой хозяйкѣ за Москву-рѣку.

о же онъ призадумался?—Или душа человѣка чувствуетъ шаговъ незримостѣдующей по пятамъ его судьбы, ая обрекла его въ свои жертвы?...

ишедъ въ свой „высокій“ домъ, Степанъ Парамон-  
дивится, что его не встрѣчаютъ ни молодая жена ни  
дѣтушки, что дубовый столъ не покрытъ бѣлою ска-  
ю, и свѣчка передъ образомъ еле-теплится. Кличетъ  
таруху Еремѣвну, и спрашиваетъ, куда въ такой  
ій часъ „дѣвалась, затаилася“ Алена Дмитріевна, и  
игрались ли его любезныя дѣти, что такъ рано уло-  
ь спать? И слышитъ въ отвѣтъ:

«... Къ вечернѣ пошла Алена Дмитревна;  
Вотъ ужъ попъ прошелъ съ молодой попадьей.  
Засвѣтили свѣчу, сѣли ужинать,—  
А по-сю пору твоя хозяйюшка  
Изъ приходской церкви не вернулася,  
А что дѣтки твои малыя  
Почивать не легли, не играть пошли—  
Плачемъ плачутъ все, не унимаются.»

ихъ стихахъ полная картина домашняго быта и про-  
, малосложныхъ, простодушныхъ семейственныхъ от-  
нѣй у нашихъ предковъ.

утился Степанъ Парамоновичъ крѣпкою думою.

И онъ сталъ къ окну, глядитъ на улицу—  
А на улицѣ ночь темнехонька;  
Валитъ бѣлый снѣгъ, разстилается,  
Заметаетъ слѣдъ человѣческій.  
Вотъ онъ слышитъ въ сѣняхъ дверь хлопнула,  
Потомъ слышитъ шаги торопливые;  
Обернулся, глядитъ—сила крестная!

Передъ нимъ стоитъ молода жена,  
Сама блѣдная, простоволосая,  
Косы русыя расплетеныя  
Снѣгомъ-инеемъ пересыпаны;  
Смотрятъ очи мутныя, какъ безумныя,  
Уста шепчуть рѣчи непонятныя.

Онъ спрашиваетъ ее, гдѣ она шаталася: ужъ не гуляла ли,  
не пиrowала ли съ дѣтьми боярскими, что волосы ея такъ  
растрепаны, и одежда изорвана.

«Не на то передъ святыми иконами  
Мы съ тобой, жена, обручались,  
Золотыми кольцами мѣнялись!»

Онъ грозитъ запереть ее за дубовую дверь окованную, за  
жельзный замокъ, чтобъ она и свѣту Божьяго не видѣла,  
его имени честнаго не порочила.

Какъ осиновый листъ затряслася Алена Дмитріевна, упала  
мужу въ ноги, прося его выслушать ее и говоря, что  
она „не боится смерти лютыя, а боится его немилости“:  
въ двѣнадцати стихахъ полная картина супружескихъ от-  
ношеній варварскаго времени! Жена рассказываетъ мужу,  
что, шедши отъ вечерни домой, услышала за собою чьи-то  
шаги, „оглянулася — человекъ бѣжитъ“; этотъ человекъ  
схватилъ ее за руки, говоря ей, что онъ слуга царя гроз-  
наго, прозывается Кирибѣвичемъ, а изъ славныхъ семьи  
изъ Малютиной...

«Испугалась я пуще прежняго;  
Закружилась моя блѣдная головушка.  
И онъ сталъ меня цѣловать-ласкать,  
А цѣлуя, все приговаривалъ:  
— «Отвѣчай мнѣ, чего тебѣ надобно,  
Моя милая, драгоценная!  
Хочешь золота, али жемчугу?  
Хочешь яркихъ камней, аль цвѣтной парчи?  
Какъ царицу я наряжу тебя,  
Станутъ всѣ тебѣ завидовать,  
Лишь не дай мнѣ умереть смертью грѣшною;  
Полюби меня, обними меня  
Хоть единый разъ на прощаніе!»  
И ласкалъ онъ меня, цѣловалъ меня:



На щекахъ моихъ и теперь горятъ,  
Живымъ пламенемъ разливаются  
Поцѣлуй его окайнные...  
А смотрѣли въ калитку сосѣдушки,  
Смѣючись, на насъ пальцемъ показывали..."

Рванувшись изъ рукъ его, она оставила у него свою фату бухарскую и узорный платокъ,—подарочекъ мужа. Заключение ея разсказа состоитъ въ жалобахъ на свой позоръ и въ просьбахъ мужу—не дать ее, свою вѣрную жену, въ поруганіе злымъ охульникамъ. Тогда Степанъ Парамоновичъ посылаетъ за своими двумя меньшими братьями и разсказываетъ объ обидѣ, нанесенной ему злымъ опричникомъ царскимъ,

„А такой обиды не стерпѣть душѣ.  
Да не вынести сердцу молодецкому!“

говоритъ имъ о своемъ намѣреніи—биться на смерть съ опричникомъ на кулачномъ бою, который будетъ завтра на Москвѣ-рѣкѣ, при самомъ царѣ, и проситъ ихъ постоять за правду, если самъ будетъ побитъ.

И въ отвѣтъ ему братья молвили:  
„Куда вѣтеръ дуетъ въ поднебесы,  
Туда мчатся и тучки послушныя;  
Когда сизый орелъ зоветъ голосомъ  
На кровавую долину побоища,  
Зоветъ пиръ пировать, мертвецовъ убирать,  
Къ нему малые орлята слетаются:  
Ты нашъ старшій братъ, намъ второй отецъ;  
Дѣлай самъ, какъ знаешь, какъ вѣдаешь,  
А ужъ мы тебя, родимаго, не выдадимъ.“

Изъ этого отвѣта видно, что семья Калашниковыхъ хотѣ и не славилась столько, какъ Малютиныхъ, но состояла изъ сизаго орла съ орлятами... Превосходно очеркнулъ поэтъ въ этомъ отвѣтѣ, будто мимоходомъ, и простоту родственныхъ отношеній нашихъ предковъ, гдѣ право первородства было и правомъ власти, гдѣ старшій братъ заступалъ мѣсто отца для младшихъ. И это сдѣлано имъ не въ описаніи, а въ живой картинѣ, самомъ разгарѣ въ высшей степени драматическаго дѣйствія. Этой сценой семейнаго со-

вѣщанія оканчивается вторая часть драматической поэмы: дѣйствующія лица и завязка дѣйствія уже рѣзко обозначились,—и сердце наше замираетъ отъ предчувствія горестной развязки...

Надъ Москвой великой, златоглавою,  
Надъ стѣной кремлевской бѣлокаменной,  
Изъ-за дальнихъ лѣсовъ, изъ-за синихъ горъ,  
По тесовымъ кровелькамъ играючи,  
Тучки сѣрыя разгоняючи,  
Заря алая подымается;  
Разметала кудри золотистыя,  
Умывается снѣгами разсыпчатыми,  
Въ небо чистое смотреть, улыбается.  
Ужъ зачѣмъ ты, алая заря, просыпалася?  
На какой ты радости разыгралася!

На Москву-рѣку сходились удалые молодцы „разгуляться для праздника, потѣшиться“. Самъ царь пріѣхалъ со дружиною, боярами и опричниками, и велѣлъ оцѣнить серебряною цѣпью мѣсто въ 25 сажень „для охотничкаго бою одиночнаго“. Потомъ царь велѣлъ вызвать охотниковъ:

Кто побьетъ кого, того царь наградить,  
А кто будетъ побить, тому Богъ простить!

Выходить Кирибѣевичъ и съ похвальбою вызываетъ супротивниковъ, общаясь „лишь потѣшить царя-батюшку, но для праздника отпустить живого“. Вдругъ раздалась толпа—и выходитъ Степанъ Парамоновичъ.

Поклонился прежде царю грозному,  
Послѣ бѣлому Кремлю да святымъ церквамъ,  
А потомъ всему народу русскому.  
Горять его очи соколиныя,  
На опричника смотреть пристально.  
Супротивъ него онъ становится,  
Боевыя рукавицы натягиваетъ,  
Могутныя плечи распрямливаетъ  
Да кудряву бороду поглаживаетъ.

Кирибѣевичъ, не выходя изъ тона своей удалой, молодецкой похвальбы, спрашиваетъ Калашникова о родѣ-племени и имени, „чтобъ знать, по комъ папихиду служить, чтобъ было чѣмъ и похвастаться“.

Отвѣчаетъ Степанъ Парамоновичъ:

„А зовутъ меня Степаномъ Калашниковымъ.

А родился я отъ честнаго отца,

И жилъ я по закону Господнему:

Не позорилъ я чужой жены,

Не разбойничалъ ночью темною,

Не таился отъ свѣта небеснаго...

И промолвилъ ты правду истинную:

По одному изъ насъ будутъ панихиду пѣть,

И не позже, какъ завтра въ часъ полуденный;

И одинъ изъ насъ будетъ хвастаться,

Съ удалыми друзьями пируючи...

Не шутку шутить, не людей смѣшить

Еъ тебѣ вышелъ я теперь, бусурманскій сынъ,

Вышелъ я на страшный бой, на послѣдній бой!“

И услышавъ то, Кирибѣвичъ

Поблѣднѣлъ въ лицѣ, какъ осенній снѣгъ:

Бойки очи его затуманились,

Между сильныхъ плечъ пробѣжалъ морозъ,

На раскрытыхъ устахъ слово замерло...

Вотъ оно—ужасное торжество совѣсти въ глубокой натурѣ, которая никогда не отрѣшится отъ совѣсти, какъ бы ни была искажена развратомъ, какъ бы не страшно погрязла въ пороки!.. Всегда надъ нею грозная длань нравственнаго закона, грозный голосъ суда Божія, потому что она сама—свой нравственный законъ и свой неумолимый судъ!..

Начинается бой (мы пропускаемъ его подробности); правая сторона побѣдила.

И опричникъ молодой застоналъ слегка,

Закачался, упалъ за-мертво,

Повалился онъ на холодный снѣгъ,

На холодный снѣгъ, будто сосенка,

Будто сосенка, во сыромъ бору

Подъ смолистый подъ корень подрубленная.

Не правда ли: вамъ жаль удалого, хотя и преступнаго бойца? съ невыразимой тоской повторите вы за поэтомъ жалобную мелодію, которой выразилъ онъ его паденіе?.. А между тѣмъ вы же сами желали побѣды благородному купцу и гибели его преступному оскорбителю?.. Таково обаяніе великихъ натуръ; какъ бы ни было велико ихъ пре-

ступленіе, но, наказанныя, онѣ привлекаютъ все удивленіе и всю любовь нашу:—мы видимъ въ нихъ жертвы неотразимой судьбы, и братскимъ поцѣлуемъ прощанія и прощанія въ холодныя, посинѣлыя уста ихъ запечатлѣваемъ торжество возстановленной смертью гармоніи общаго, которую нарушили было онѣ своей виной...

Грозный царь воспалился гнѣвомъ и спрашиваетъ Калашникова: вольною волею или нехотя убилъ онъ его вѣрнаго слугу и лучшаго бойца? Вѣроятно, Калашниковъ могъ бы еще спасти себя ложью, но для этой благородной души, дважды такъ страшно потрясенной—и позоромъ жены, разрушившимъ его семейное блаженство, и кровавой мстью врагу, не возвратившей ему прежняго блаженства—для этой благородной души жизнь уже не представляла ничего обольстительнаго, а смерть казалась необходимой для уврачеванія ея неисцѣлимыхъ ранъ... Есть души, которыя довольствуются кое-чѣмъ—даже остатками бывшаго счастья; но есть души, лозунгъ которыхъ—все или ничего, которыя не хотятъ запятнаннаго блаженства разъ потемненной славы: такова была и душа удалого купца, статнаго молодца, Степана Парамоновича Калашникова! Онъ сказалъ царю всю правду, скрывъ однако причину своего мщенія:

„А за что, про что—не скажу тебѣ!

Скажу только Богу единому!“

Какая дивная черта глубокаго знанія сердца человѣческаго и древнихъ нравовъ! Какая высокая трагическая черта! Онъ охотно идетъ на казнь и лишь просить царя „не оставить своей милостью милыхъ дѣтушекъ, молодой жены да двухъ братьевъ его“. Въ отвѣтъ царя рѣзко, во всемъ страшномъ величій выказывается колоссальный образъ Грознаго:

„Хорошо тебѣ, дѣтинушка,  
Удалой боецъ, сынъ купеческій,  
Что отвѣтъ держалъ ты по совѣсти.  
Молодую жену и сиротъ твоихъ  
Изъ казны моей я пожалуйю,  
Твоимъ братьямъ велю отъ сего же дня  
По всему царству русскому широкому  
Торговать безданно, безпошлинно.

А ты самъ ступай, дѣтинушка,  
 На высокое мѣсто лобное,  
 Сложи свою буйную головушку.  
 Я топоръ велю наточить-наострить,  
 Палача велю одѣть-парядить,  
 Чтобъ знали всѣ люди московскіе,  
 Что и ты не оставленъ моей милостью..."

Какая жестокая иронія, какой ужасный сарказмъ! и мерт-  
 вый содрогнулся бы отъ него во гробъ! А между тѣмъ въ  
 согласіи на милость женѣ, покровительствѣ дѣтямъ и брать-  
 ямъ осужденнаго проблескиваетъ лучъ благородства и вели-  
 чія царственной натуры и какъ-бы невольное признаніе  
 достоинства человѣка, который обреченъ судьбою безвре-  
 менной и насильственной смерти!.. Какая страшная траге-  
 дія! сама судьба, въ лицѣ Грознаго, присутствуетъ предъ  
 нами и управляетъ ея ходомъ!.. И едва ли во всей исто-  
 ріи человѣчества можно найти другой характеръ, который  
 могъ бы съ большимъ правомъ представлять лицо судьбы,  
 какъ Іоаннъ Грозный!..

На площади собирается народъ; гудить-воетъ заунывный  
 колоколь; по высокому лобному мѣсту весело похаживаетъ  
 палачъ, руки голыя потираючи:

Удалова бойца дожидается;  
 А лихой боецъ, молодой купецъ, --  
 Съ родными братьями прощается.

Онъ велитъ имъ поклониться отъ него Алень Дмитревнѣ  
 да заказать ей меньше печалиться, а дѣтушкамъ про него  
 не велитъ сказывать...

И казнили Степана Калашникова  
 Смертью лютою, позорною;  
 И головушка безталанная  
 Во крови на плаху покатила.  
 Схоронили его за Москвой-рѣкой,  
 На чистомъ полѣ, промежъ трехъ дорогъ:  
 Промежъ Тульской, Рязанской, Владимирской,  
 И бугоръ земли сырой тутъ насыпали,  
 И кленовый крестъ тутъ поставили.  
 И гуляютъ-шумятъ вѣтры буйные  
 Надъ его безыменной могилою.

И вотъ, занавѣсъ опустился, трагедія кончилась, колоссаль-  
ные образы ея героевъ исчезли изъ глазъ нашихъ, прошед-  
шее стало опять прошедшимъ—

И что жъ осталось  
Отъ сильныхъ, гордыхъ сихъ мужей,  
Столь полныхъ волею страстей?

Что?—могила, жилище тлѣнія и смерти; но надъ этой мо-  
гилой вѣетъ жизнь, царитъ воспоминаніе, нѣмой рѣчью  
говорить преданіе:

И проходятъ мимо люди добрые:  
Пройдетъ старъ человѣкъ—перекрестится,  
Пройдетъ молодецъ—пріосанится,  
Пройдетъ дѣвица—пригорюнится,  
А пройдутъ гусляры—споютъ пѣсенку.

Какія роскошныя дани, какія богатыя жертвы приносятся  
этой могилѣ живыми! И она стоитъ ихъ, ибо не живые  
въ ней, мертвой, — но она, мертвая, рождаетъ жизнь въ  
живыхъ, заставляетъ ихъ и креститься и пріосаниваться, и  
пригорюниваться, и пѣть пѣсни!.. Васъ огорчаетъ, заставля-  
етъ страдать горестная и страшная участь благороднаго  
Калашникова; вы жалѣете даже и о преступномъ опрични-  
кѣ:—понятное человѣческое чувство! Но безъ этой траги-  
ческой развязки, которая такъ печалитъ ваше сердце, не  
было бы и этой могилы, столь краснорѣчивой, столь живой,  
столь полной глубокаго значенія, и не было бы великаго  
подвига, который такъ возвысилъ вашу душу, и не было  
бы чудной пѣсни поэта, которая такъ очаровала васъ... И  
потому да перемѣнится печаль ваша на радость, и да бу-  
детъ эта радость свѣтлымъ торжествомъ побѣды безсмерт-  
наго надъ смертнымъ, общаго надъ частнымъ! Благосло-  
вимъ непреложные законы бытія и міродержавныхъ судебъ,  
и повторимъ за поэтомъ музыкальный финалъ, которымъ,  
по старинному и достохвальному русскому обычаю, заста-  
вляеть онъ гусляровъ заключить свою поэтическую пѣсню:

Гей вы, ребята удалые,  
Гусляры молодые,  
Голоса заливные!

Красно начинали—красно и кончайте,  
Каждому правдою и честію воздайте.  
Тороватому боярину слава!  
И красавицѣ боярынь слава!  
И всему народу христіанскому слава!

Излагая содержаніе этой поэмы, уже извѣстной публикѣ, мы имѣли въ виду намекнуть на богатство ея содержанія, на полноту жизни и глубину идеи, которыми она запечатлена; что же до поэзіи образовъ, роскоши красокъ, прелести стиха, избытка чувства, охватывающаго душу огненными волнами, свѣжести колорита, силы выраженія, трепетнаго, полнаго страсти одушевленія, — эти вещи не толкуются и не объясняются... Мы выписали цѣлую часть поэмы—пусть читаютъ и судятъ сами: кто не увидитъ въ этихъ стихахъ того, что мы видимъ, для тѣхъ нѣтъ у насъ очковъ, и едва ли какой оптикъ въ мірѣ поможетъ имъ...

Содержаніе поэмы, въ смыслѣ разсказа происшествія, само по себѣ полно поэзіи; если бы оно было историческимъ фактомъ, въ немъ жизнь являлась бы поэзіей, а поэзія жизнью. Но тѣмъ не менѣе онъ не существовалъ бы для насъ, нашли бы мы его въ простодушной хроникѣ старыхъ временъ, или, по какому-нибудь чуду, сами были его свидѣтелями—оно было бы для насъ мертвымъ матеріаломъ, въ который только поэтъ могъ бы вдохнуть душу живу, отдѣливъ отъ него все случайное, произвольное, и представивъ его въ гармоническомъ цѣломъ, поставленномъ и освѣщенномъ сообразно съ требованіями точки зрѣнія и свѣта. И въ этомъ отношеніи нельзя довольно надивиться поэту: онъ является здѣсь опытнымъ, гениальнымъ архитекторомъ, который умѣетъ такъ согласить между собою части зданія, что ни одна подробность въ украшеніяхъ не кажется лишней, но представляется необходимой и равною важной съ самыми существенными частями зданія, хотя вы и понимаете, что архитекторъ могъ бы легко, вмѣсто ея, сдѣлать и другую. Какъ ни пристально будете вы вглядываться въ поэму Лермонтова, не найдете ни одного лиш-

няго или недостающаго слова, черты, стиха, образа, ни одного слабаго мѣста: все въ ней необходимо, полно, сильно! Въ этомъ отношеніи ея никакъ нельзя сравнить съ народными легендами, носящими на себѣ имя ихъ собирателя—Кирши Данилова: то дѣтскій лепетъ, часто поэтическій, но часто и прозаическій, нерѣдко образный, но чаще символическій, уродливый въ цѣломъ, полный ненужныхъ повтореній одного и того же; поэма Лермонтова—созданіе мужественное, зрѣлое и столько же художественное, сколько и народное. Безыменные творцы этихъ безыскусственныхъ и простодушныхъ произведеній составляли одно съ вѣющимъ въ нихъ духомъ народности: они не могли отъ нея отдѣлиться, она заслоняла въ нихъ саму же себя; но нашъ поэтъ вышелъ въ царство народности, какъ ея полный властелинъ, и, проникнувшись ея духомъ, слившись съ нею, онъ показалъ только свое родство съ нею, а не тождество: даже въ минуту творчества онъ видѣлъ ее предъ собою, какъ предметъ, и такъ же по волѣ своей вышелъ изъ нея въ другія сферы, какъ и вошелъ въ нее. Онъ показалъ этимъ только богатство элементовъ своей поэзіи, кровное родство своего духа съ духомъ народности своего отечества; показалъ, что и прошедшее его родины такъ же присуще его натурѣ, какъ и ея настоящее; и потому онъ въ этой поэмѣ является не безыскусственнымъ пѣвцомъ народности, но истиннымъ художникомъ,—и если его поэма не можетъ быть переведена ни на какой языкъ, ибо колоритъ ея весь въ русско-народномъ языкѣ, то тѣмъ не менѣе она—художественное произведеніе, во всей полнотѣ, во всемъ блескѣ жизни, воскресившее одинъ изъ моментовъ русскаго быта, одного изъ представителей древней Руси. Въ этомъ отношеніи послѣ Бориса Годунова больше всѣхъ посчастливилось Іоанну Грозному: въ поэмѣ Лермонтова колоссальный образъ его является изваяннымъ изъ мѣди или мрамора...

По внутреннему плану нашей статьи мы должны были сперва говорить о тѣхъ стихотвореніяхъ Лермонтова, въ которыхъ онъ является не безусловнымъ художникомъ, но



внутреннимъ челоѡкомъ, и по которымъ однимъ можно увидѣть богатство элементовъ его духа и отношенія его къ обществу. Мы такъ и начали, такъ и продолжаемъ: взгляды на чисто-художественныя стихотворенія его заключить нашу статью. И если мы остановились на „Пѣсни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова“, которую сами признаемъ художественной, то потому, что, во-первыхъ, самая ея художественность болѣе или менѣе условна, ибо въ этой „Пѣсни“ онъ поддѣлывается подъ ладъ старинный, и заставляетъ гуслировъ пѣть ее; во-вторыхъ, эта „Пѣсня“ представляетъ собою фактъ о кровномъ родствѣ духа поэта съ народнымъ духомъ, и свидѣтельствуетъ объ одномъ изъ богатѣйшихъ элементовъ его поэзій, намекающемъ на великость его таланта. Самый выборъ этого предмета свидѣтельствуетъ о состояннн духа поэта, недовольнаго современной дѣйствительностью и перенесшагося отъ нея въ далекое прошедшее, чтобъ тамъ искать жизни, которой онъ не видитъ въ настоящемъ. Но это прошедшее не могло долго занимать такого поэта: онъ скоро долженъ былъ почувствовать всю бѣдность и все однообразіе его содержанія, и возвратиться къ настоящему, которое жило въ каждой каплѣ его крови, трепетало съ каждымъ бнѣніемъ его пульса, съ каждымъ вздохомъ его груди. Не отдѣлится ему отъ него! Оно внѣдрилось въ него, обвилося вокругъ него, оно сосетъ кровь изъ его сердца, оно требуетъ всей жизни его, всей дѣятельности! Оно ждетъ отъ него своего просвѣтлѣнн, излеченн своихъ язвъ и недуговъ. Онъ, только онъ, можетъ совершить это, какъ полный представитель настоящаго, другой властитель нашихъ думъ! Въ созданнхъ поэта, выражающихъ скорби и недуги общества, общество находить облегченн отъ своихъ скорбей и недуговъ: тайна этого цѣлительнаго дѣйствн — сознанн причины болѣзни чрезъ представленн болѣзни, какъ мы говорили объ этомъ выше въ нашей статьѣ. Великую истину заключаютъ въ себѣ эти простодушныя слова изъ „Гимна Музамъ“ древняго старца Гезіода: „Если кто чувствуетъ скорбь, свѣжую

рану сердца, и сидить съ своей горькой думой, а пѣвецъ, служитель музъ, запоетъ о славѣ первыхъ человѣковъ и блаженныхъ боговъ, на Олимпѣ живущихъ,—въ тотъ же мигъ забываетъ несчастный горе и не помнитъ ни одной заботы: такъ скоро даръ боговъ измѣнилъ его“. Но это сила поэзіи вообще, сила всякой поэзіи; дѣйствіе же поэзіи, воспроизводящей наши собственные страданія, еще чуднѣе оказывается на нашихъ же собственныхъ страданіяхъ: увидѣвъ ихъ внѣ насъ самихъ, очищенными и просвѣтленными общимъ значеніемъ скрывающагося въ нихъ таинственного смысла, мы тотчасъ же чувствуемъ себя облегченными отъ нихъ...

Нашъ вѣкъ—вѣкъ по преимуществу историческій. Всѣ думы, всѣ вопросы наши и отвѣты на нихъ,—вся наша дѣятельность вырастаетъ изъ исторической почвы и на исторической почвѣ. Человѣчество давно уже пережило вѣкъ полноты своихъ вѣрованій; можетъ-быть, для него наступить эпоха еще высшей полноты, нежели какой когда-либо прежде наслаждалось оно; но нашъ вѣкъ есть вѣкъ сознанія, философствующаго духа, размышлений, „рефлексіи“. Вопросъ—вотъ альфа и омега нашего времени. Ощутимъ ли мы въ себѣ чувство любви къ женщинѣ,—вмѣсто того, чтобъ роскошно упиваться его полнотой, мы прежде всего спрашиваемъ себя, чтó такое любовь, въ самомъ ли дѣлѣ мы любимъ? и пр. Стремясь къ предмету съ ненасытной жаждой желанія, съ тяжелой тоской, со всѣмъ безумствомъ страсти, мы часто удивляемся холодности, съ какой видимъ исполненіе самыхъ пламенныхъ желаній нашего сердца,—и многіе изъ людей нашего времени могутъ примѣнить къ себѣ сцену между Мефистофелемъ и Фаустомъ, у Пушкина:

Когда красавица твоя  
Была въ восторгѣ, въ упоеньѣ,  
Ты безпокойною душой  
Ужъ погружался въ размышленье  
(А доказали мы съ тобой,  
Что размышленье—скуки сѣмя).  
И знаешь ли, философъ мой,

Что думалъ ты въ такое время,  
Когда не думаетъ никто?  
Сказать ли?

Фаустъ.

Говори. Ну, что?

Мефистофель.

Ты думалъ: агнецъ мой послушный!  
Какъ жадно я тебя желалъ!  
Какъ хитро въ дѣвѣ простодушной  
Я грезы сердца возмущалъ!  
Любви невольной, безкорыстной  
Невинно предалась она...  
Что жъ грудь теперь моя полна  
Тоской и скукой ненавистной?...  
На жертву прихоти моей  
Гляжу, упившись наслажденьемъ,  
Съ неодолимымъ отвращеньемъ.  
Такъ безрасчетный дуралей,  
Вотще рѣшась на злое дѣло,  
Зарѣзавъ нищаго въ лѣсу,  
Бранить ободранное тѣло;  
Такъ на продажную красу,  
Насытись ею торопливо,  
Развратъ косится боязливо...

Ужасно!... Но это не смерть и даже не старость міра, какъ думаетъ старое поколѣніе, которое въ своей молодости такъ беззаботно пило и ѣло, такъ весело плясало, такъ бессознательно наслаждалось жизнью. Нѣтъ, это не смерть и не старость: люди нашего времени также или еще больше полны жаждой желаній, сокрушительной тоской порываній и стремленій. Это только болѣзненный кризисъ, за которымъ должно послѣдовать здоровое состояніе, лучше и выше прежняго. Та же рефлексія, то же размышленіе, которое теперь отравляетъ полногу всякой нашей радости, должно быть въ послѣдствіи источникомъ высшаго чѣмъ когда-либо блаженства, высшей полноты жизни. Но горе тѣмъ, кто является въ эпоху общественнаго недуга! Общество живетъ не годами—вѣками, а человѣку данъ мигъ жизни: общество выздоровѣетъ, а тѣ люди, въ которыхъ

выразился кризисъ его болѣзни—благороднѣйшіе сосуды духа, навсегда могутъ остаться въ разрушающемъ элементѣ жизни!...

Какъ бы то ни было, но нашъ вѣкъ есть вѣкъ размышленія. Поэтому рефлексія (размышленіе) есть законный элементъ поэзіи нашего времени, и почти всѣ великіе поэты нашего времени заплатили ему полную дань: Байронъ въ „Манфредѣ“, „Каинѣ“ и другихъ произведеніяхъ; Гёте особенно въ „Фаустѣ“; вся поэзія Шиллера по преимуществу рефлектирующая, размышляющая. Въ наше время едва ли возможна поэзія въ смыслѣ древнихъ поэтовъ, созерцающая явленіе жизни безъ всякаго отношенія къ личности поэта (поэзія объективная), и въ наше время тотъ не поэтъ и особенно не художникъ, у котораго въ основаніи таланта не лежитъ созерцательность древнихъ и способность воспроизводить явленіе жизни безъ отношеній къ своей личности; но въ наше время отсутствіе въ поэтѣ внутренняго (субъективнаго) элемента есть недостатокъ.

Въ самомъ Гёте не безъ основанія порицаютъ отсутствіе историческихъ и общественныхъ элементовъ, спокойное довольство дѣйствительностью, какъ она есть. Это и было причиной, почему менѣе Гётевской художественная, но болѣе человѣчественная, гуманная поэзія Шиллера нашла себѣ больше отзыва въ человѣчествѣ, чѣмъ поэзія Гёте.

Преобладаніе внутренняго (субъективнаго) элемента въ поэтахъ обыкновенныхъ есть признакъ ограниченности таланта. У нихъ субъективность означаетъ выраженіе личности, которая всегда ограничена, если является отдѣльно отъ общаго. Они обыкновенно говорятъ о своихъ нравственныхъ недугахъ, и всегда одно и то же; читая ихъ, невольно вспоминаешь эти стихи Лермонтова:

Какое дѣло намъ, страдалъ ты или нѣтъ,  
На что намъ знать твои сомнѣнья,  
Надежды глупыя первоначальныхъ лѣтъ,  
Разсудка злыя сожалѣнья?  
Взгляни: передъ тобою играючи идетъ  
Толпа дорогою привычной.

На лицахъ праздничныхъ чуть виденъ слѣдъ заботъ,  
 Слезы не встрѣтишь неприличной,—  
 А между тѣмъ изъ нихъ едва ли есть одинъ  
 Тяжелой пыткой не измятый,  
 До преждевременныхъ добравшійся морщинъ  
 Безъ преступленья иль утраты!...  
 Повѣрь: для нихъ смѣшонъ твой плачъ и твой укоръ,  
 Съ своимъ напѣвомъ заученнымъ,  
 Какъ разуряненный трагическій актеръ,  
 Махающій мечомъ картоннымъ...

Въ талантѣ великомъ избытокъ внутренняго, субъективнаго элемента есть признакъ гуманности. Не бойтесь этого направленія: оно не обманетъ васъ, не введетъ васъ въ заблужденіе. Великій поэтъ, говоря о себѣ самомъ, о своемъ я, говоритъ объ общемъ—о человѣчествѣ, ибо въ его натурѣ лежитъ все, чѣмъ живетъ человѣчество. И потому въ его грусти всякій узнаетъ свою грусть, въ его душѣ всякій узнаетъ свою, и видитъ въ немъ не только поэта, но и человѣка, брата своего по человѣчеству. Признавая его существомъ несравненно высшимъ себя, всякій въ то же время сознаетъ свое родство съ нимъ.

Вотъ что заставило насъ обратить особенное вниманіе на субъективныя стихотворенія Лермонтова и даже порадоваться, что ихъ больше, чѣмъ чисто-художественныхъ. По этому признаку мы узнаемъ въ немъ поэта русскаго народнаго, въ высшемъ и благороднѣйшемъ значеніи этого слова,—поэта, въ которомъ выразился историческій моментъ русскаго общества. И всѣ такія его стихотворенія глубоки и многозначительны; въ нихъ выражается богатая дарами духа природы, благородная человѣчественная личность.

Черезъ годъ послѣ напечатанія „Пѣсни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова“ Лермонтовъ снова вышелъ на арену литературы съ стихотвореніемъ „Дума“, изумившимъ всѣхъ алмазной крѣпостью стиха, громовой силой бурнаго одушевленія, исполинскою энергіею благороднаго негодованія и глубокой грусти. Съ тѣхъ поръ стихотворенія Лермонтова стали являться одни за другими безъ перемежки, и съ его именемъ.

Поэтъ говорить о новомъ поколѣніи, что онъ смотритъ на него съ печалью, что его будущее „иль пусто иль темно“, что оно должно состарѣться подъ бременемъ познанія и сомнѣнья; укоряетъ его, что оно изсушило умъ безплодной наукой. Въ этомъ нельзя согласиться съ поэтомъ: сомнѣнье—такъ; но излишества познанія и науки, хотя бы и „безплодной“, мы не видимъ: напротивъ, недостатокъ познанія и науки принадлежитъ къ болѣзнямъ нашего поколѣнія:

Мы всѣ учились понемногу  
Чему-нибудь и какъ-нибудь!

Хорошо бы еще, если бъ, взамѣнъ утраченной жизни, мы насладились хоть знаніемъ: былъ бы хоть какой-нибудь выигрышъ! Но сильное движеніе общественности сдѣлало насъ обладателями знанія безъ труда и ученія—и этотъ плодъ безъ корня, надо признаться, пришелся намъ горекъ: онъ только пресытилъ насъ, а не наплатъ. притупилъ нашъ вкусъ, но не усладилъ его. Это обыкновенное и необходимое явленіе во всѣхъ обществахъ, вдругъ вступающихъ изъ естественной непосредственности въ сознательную жизнь, не въ нѣдрахъ ихъ возросшую и созрѣвшую, а пересаженную отъ развившихся народовъ. Мы въ этомъ отношеніи—безъ вины виноваты!

Богаты мы, едва изъ колыбели,  
Ошибками отцовъ и позднимъ ихъ умомъ,  
И жизнь ужъ насъ томить, какъ ровный путь безъ цѣли,  
Какъ пиръ на праздникъ чужомъ!

Какая вѣрная картина! Какая точность и оригинальность въ выраженіи! Да, умъ отцовъ нашихъ для насъ — поздній умъ: великая истина!

И ненавидимъ мы и любимъ мы случайно,  
Ничѣмъ не жертвуя ни злобѣ ни любви,  
И царствуетъ въ душѣ какой-то холодъ тайный,  
Когда огонь кипитъ въ крови!  
И предковъ скучны намъ роскошныя забавы,  
Ихъ легкомысленный, ребяческій развратъ;  
И къ гробу мы спѣшимъ безъ счастья и безъ славы,  
Глядя насмѣшливо назадъ.

Топлой угрюмою и скоро позабытой  
 Надъ міромъ мы пройдемъ безъ шума и слѣда,  
 Не бросивши вѣкамъ ни мысли плодovitой  
 Ни геніемъ начатаго труда.  
 И прахъ нашъ, съ строгостью судьи и гражданина.  
 Потомокъ оскорбитъ презрительнымъ стихомъ,  
 Насмѣшкой горькою обманутаго сына  
 Надъ промотавшимся отцомъ!

Эти стихи писаны кровью; они вышли изъ глубины оскорбленнаго духа: это вопль, это стонъ человѣка, для котораго отсутствіе внутренней жизни есть зло, въ тысячу разъ ужаснѣйшее физической смерти!... И кто же изъ людей новаго поколѣнія не найдетъ въ немъ разгадки собственнаго унынія, душевной апатіи, пустоты внутренней, и не откликнется на него своимъ воплемъ, своимъ стономъ?... Если подъ „сатирою“ должно разумѣть не невинное зубоскальство веселенькихъ остроумцевъ, а громы негодованія, грозу духа, оскорбленнаго позоромъ общества,—то „Дума“ Лермонтова есть сатира, и сатира есть законный родъ поэзіи. Если сатиры Ювенала дышатъ такой же бурей чувства, такимъ же могуществомъ огненнаго слова, то Ювеналъ дѣйствительно великій поэтъ!...

Другая сторона того же вопроса выражена въ стихотвореніи „Поэтъ“. Обдѣланный въ золото галантерейной игрушкой кинжалъ наводитъ поэта на мысль о роли, которую это орудіе смерти и мщенія играло прежде... А теперь?... Увы!

Никто привычною, заботливой рукой  
 Его не чиститъ, не ласкаетъ.  
 И надписи его, молясь передъ зарей,  
 Никто съ усердьемъ не читаетъ...  
 Въ нашъ вѣкъ изнѣженный не такъ ли ты, поэтъ,  
 Свое утратилъ назначенье,  
 На злато промѣнявъ ту власть, которой свѣтъ  
 Внималъ въ нѣмъ благоговѣнны?  
 Бывало, мѣрный звукъ твоихъ могучихъ словъ  
 Воспламенялъ бойца для битвы;  
 Онъ нуженъ былъ толпѣ, какъ чаша для пировъ,  
 Какъ ѳиміамъ въ часы молитвы!

Твой стихъ какъ Божій духъ носился надъ толпой.  
 И отзывъ мыслей благородныхъ  
 Звучалъ какъ колоколъ на башнѣ вѣчевой  
 Во дни торжествъ и бѣдъ народныхъ.  
 Но скученъ намъ простой и гордый твой языкъ,  
 Намъ тѣшатъ блески и обманы;  
 Какъ ветхая краса, нашъ ветхій міръ привыкъ  
 Морщины прятать подъ румяны...  
 Проснешься ль ты опять, осмѣянный пророкъ?  
 Иль никогда, на голосъ мщенія,  
 Изъ золотыхъ ноженъ не вырвешь свой клинокъ,  
 Покрытый ржавчиной презрѣнья?...

Вотъ оно, то бурное одушевленіе, та трепещущая, изнемогающая отъ полноты своей страсть, которую Гегель называетъ въ Шиллерѣ паѳосомъ!... Нѣтъ, хвалить такіе стихи можно только стихами, и притомъ такими же... А мысль?... Мы не должны здѣсь искать статистической точности фактовъ; но должны видѣть выраженіе поэта, — и кто не признаетъ, что то, чего онъ требуетъ отъ поэта, составляетъ одну изъ обязанностей его служенія и призванія? Не есть ли это характеристика поэта — характеристика благороднаго Шиллера?

„Не вѣрь себѣ“ есть стихотвореніе, составляющее триумфировать съ двумя предшествовавшими. Въ немъ поэтъ рѣшаетъ тайну истиннаго вдохновенія, открывая источникъ ложнаго. Есть поэты, пишущіе въ стихахъ и прозѣ, и, кажется, удивительно какъ сильно и громко, но чтеніе которыхъ дѣйствуетъ на душу какъ утаръ или тяжелый хмель, и ихъ произведенія, особенно увлекающія молодость, какъ-то скоро испаряются изъ головы. У этихъ людей нельзя отнять дарованія и даже вдохновенія, но

Въ немъ признака небесъ напрасно не ищи:  
 То кровь кипитъ, то силъ избытокъ!...

Со времени появленія Пушкина, въ нашей литературѣ показались какія-то неслыханныя прежде жалобы на жизнь, пошло въ оборотъ новое слово „разочарованіе“, которое теперь уже успѣло сдѣлаться и старымъ и приторнымъ. Элегія смѣнила оду, и стала господствующимъ родомъ по-



эзія. За поэтами даже и плохіе стихотворцы начали вос-  
пѣвать

Погибшій жизни цвѣтъ  
Безъ малаго въ восемнадцать лѣтъ.

Ясно, что это была эпоха пробужденія нашего общества  
къ жизни: литература въ первый разъ еще начала быть  
выраженіемъ общества. Это новое направленіе литературы  
выполнѣвыразилось въ дивномъ созданіи Пушкина—„Демонъ“.  
Это демонъ сомнѣнія, это духъ размышленія, рефлексія,  
разрушающей всякую полноту жизни, отравляющей всякую  
радость. Странное дѣло: пробудилась жизнь, и съ нею объ-  
руку пошло сомнѣніе—врагъ жизни! „Демонъ“ Пушкина  
съ тѣхъ поръ остался у насъ вѣчнымъ гостемъ и съ злой,  
насмѣшливой улыбкой показывается то тутъ, то тамъ....  
Мало этого: онъ привелъ другого демона, еще болѣе страш-  
наго, болѣе неразгаданнаго, высказавшагося въ стихотворе-  
ніи Лермонтова:

И скучно, и грустно, и некому руку подать  
Въ минуту душевной невзгоды...  
Желанья!... Что пользы напрасно и вѣчно желать?...  
А годы проходятъ—всѣ лучшіе годы:  
Любить... но кого же?... На время—не стоитъ труда,  
А вѣчно любить невозможно.  
Въ себя ли заглянешь?—тамъ прошлаго нѣтъ и слѣда:  
И радость, и муки, и все тамъ ничтожно!...  
Что страсти?—вѣдь, рано иль поздно ихъ сладкій недугъ  
Исчезнетъ при словѣ разсудка,  
И жизнь—какъ посмотришь съ холоднымъ вниманьемъ во-  
кругъ—

Такая пустая и глупая шутка...

Страшенъ этотъ глухой могильный голосъ подземнаго стра-  
данія, невѣдшей муки, этотъ потрясающій душу реквиѣмъ  
всѣхъ надеждъ, всѣхъ чувствъ человѣческихъ, всѣхъ обая-  
ній жизни! Отъ него содрогается человѣческая природа,  
стынетъ кровь въ жилахъ, и прежній свѣтлый образъ жи-  
зни представляется отвратительнымъ скелетомъ, который ду-  
шитъ насъ въ своихъ костяныхъ объятіяхъ, улыбается сво-  
ими костяными челюстями и прижимается къ устамъ на-

шимъ! Это не минута духовной дисгармоніи, сердечнаго отчаянія: это — похоронная пѣсня всей жизни! Кому не знакомо по опыту состояніе духа, выраженное въ ней, въ чьей натурѣ не скрывается возможность ея страшныхъ диссонансовъ, — тѣ, конечно, увидятъ въ ней не больше, какъ маленькую пѣсню грустнаго содержанія, и будутъ правы: но тотъ, кто не разъ слышалъ внутри себя ея могильный напѣвъ, а въ ней увидѣлъ только художественное выраженіе давно знакомаго ужаснаго чувства, тотъ припишетъ ей слишкомъ глубокое значеніе, слишкомъ высокую цѣну; дастъ ей почетное мѣсто между величайшими созданіями поэзіи, которыя когда-либо, подобно свѣточамъ Эвмениды, освѣщали бездонныя пропасти человѣческаго духа... И какая простота въ выраженіи, какая естественность, свобода въ стихѣ! такъ и чувствуешь, что вся пѣса мгновенно излилась на бумагу сама собою, какъ потокъ слезъ, давно уже накипѣвшихъ, какъ струя горячей крови изъ раны, съ которой вдругъ сорвана перевязка...

Вспомните „Героя Нашего Времени“, вспомните Печорина — этого страннаго человѣка, который, съ одной стороны, томится жизнью, презираетъ и ее и самого себя, не вѣритъ ни въ нее ни въ самого себя, носить въ себѣ какую-то бездонную пропасть желаній и страстей, ничѣмъ ненасытимыхъ, а съ другой — гонится за жизнью, жадно ловить ея впечатлѣнія, безумно упивается ея обаяніями; вспомните его любовь къ Бэлѣ, къ Вѣрѣ, къ княжнѣ Мери, и потомъ поймите эти стихи:

Любить... но кого же?... на время — не стоитъ труда,  
А вѣчно любить невозможно!

Да, невозможно! Но зачѣмъ же эта безумная жажда любви, къ чему эти гордые идеалы вѣчной любви, которыми мы встрѣчаемъ нашу юность, эта гордая вѣра въ неизмѣняемость чувства и его дѣйствительность?... Мы знаемъ одну пѣсу, которой содержаніе высказываетъ тайный недугъ нашего времени, и которая за нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ казалась бы даже бессмысленной, а теперь для многихъ слишкомъ много-знаменательна. Вотъ она:

Я не люблю тебя: мнѣ суждено судьбою  
Не полюбивши разлюбить;  
Я не люблю тебя: больной моей душою  
Я никого не буду здѣсь любить.  
О, не кляни меня! Я обманулъ природу,  
Тебя, себя, когда, въ волшебный мигъ.  
Я сердце праздное и бѣдную свободу  
Повергъ въ слезахъ у милыхъ ногъ твоихъ.  
Я не люблю тебя, но, полюбя другую,  
Я презиралъ бы горько самъ себя:  
И, какъ безумный, я и плачу и тоскую,  
И все о томъ, что не люблю тебя!...

Неужели прежде этого не бывало? Или, можетъ быть, прежде этому не придавали большой важности: пока любилось—любили; разлюбилось—не тужили; даже соединяясь какъ-бы по страсти тѣми узами, которыя навсегда рѣшаютъ участь двухъ существъ, и потомъ увидѣвъ, что ошиблись въ своемъ чувствѣ, что не созданы одинъ для другого, вмѣсто того, чтобъ приходить въ отчаяніе отъ страшныхъ цѣпей, предавались лѣнливой привычкѣ, свыкались и равнодушно изъ сферы гордыхъ идеаловъ, полноты чувства переходили въ мирное и почтенное состояніе пошлой жизни?... Вѣдь, у всякой эпохи свой характеръ!... Можетъ быть, люди нашего времени слишкомъ много требуютъ отъ жизни, слишкомъ необузданно предаются обаяніямъ фантазіи, такъ что послѣ ихъ роскошныхъ мечтаній дѣйствительность кажется имъ уже слишкомъ безцвѣтной, блѣдной, холодной и пустой?... Можетъ быть, люди нашего времени слишкомъ серьезно смотрятъ на жизнь, даютъ слишкомъ большое значеніе чувству?... Можетъ быть, жизнь представляется имъ какимъ-то высокимъ служеніемъ, священнымъ таинствомъ, и они лучше хотятъ совсѣмъ не жить, нежели жить какъ живетъ?... Можетъ быть, они слишкомъ прямо смотрятъ на вещи, слишкомъ добросовѣстны и точны въ названіи вещей, слишкомъ откровенны насчетъ самихъ себя: протяжно зѣвая, не хотятъ называть себя энтузіастами, и ни другихъ ни самихъ себя не хотятъ обманывать ложными чувствами, и становятся на ходули?... Можетъ быть, они слишкомъ

комъ совѣстливы и честны въ отношеніи къ участи другихъ людей, и, обѣщавъ другому существу любовь и блаженство, думаютъ, что непременно должны дать ему и то и другое, а не видя возможности исполнить это, предаются тоскѣ и отчаянію?... Или, можетъ быть, лишенные сочувствія съ обществомъ, сжатые его холодными условіями, они видятъ, что не въ пользу имъ щедрые дары богатой природы, глубокаго духа, и представляютъ собою младенца въ англійской болѣзни?... Можетъ быть—чего не можетъ быть!...

„И скучно, и грустно“ изъ всѣхъ пьесъ Лермонтова обратила на себя особую непріязнь стараго поколѣнія. Странные люди! имъ все кажется, что поэзія должна выдумывать, а не быть жрицею истины, тѣшить побрякушками, а не гремѣть правдою? Имъ все кажется, что люди—дѣти, которыхъ можно заговорить прибаутками или утѣшать сказочками! Они не хотятъ понять, что если кто кое-что знаетъ, тотъ смѣется надъ увѣреніями и поэта и моралиста, зная, что они сами имъ не вѣрятъ. Такія правдивыя представленія того, что есть, кажутся нашимъ чужакамъ безнравственными. Питомцы Бульи и Жанлисъ, они думаютъ, что истина сама по себѣ не есть высочайшая нравственность... Но вотъ самое лучшее доказательство ихъ дѣтскаго заблужденія: изъ того же самаго духа поэта, изъ котораго вышли такіе безотрадные, леденящіе сердце человѣческое звуки, изъ того же самаго духа вышло и стихотвореніе: „Въ минуту жизни трудную“—эта молитвенная, елеинная мелодія надежды, примиренія и блаженства въ жизни жизнию.

Другую сторону духа нашего поэта представляетъ его превосходное стихотвореніе „Памяти А. И. О—го“: это сладостная мелодія какихъ-то глубокихъ, но тихихъ думъ, чувства сильнаго, но цѣломудреннаго, замкнутаго въ самомъ себѣ... Есть въ этомъ стихотвореніи что-то кроткое, задушевное, отрадно-успокоивающее душу... И какою грандіозною, гармонирующею съ тономъ цѣлаго картиною заключается это стихотвореніе: вотъ истинно безконечное и въ мысли и въ выраженіи; вотъ то, что въ эстетикѣ должно разумѣть подъ именемъ высокаго (sublime)...

Не выписываемъ чудной „Молитвы“ (стр. 43), въ которой поэтъ поручаетъ Матери Божіей, „теплой заступницѣ холоднаго міра“, невинную дѣву. Кто бы ни была эта дѣва—возлюбленная ли сердца или милая сестра—не въ томъ дѣло; но сколько кроткой задушевности въ тонѣ этого стихотворенія, сколько нѣжности безъ всякой приторности; какое благоуханное, теплое женственное чувство! Все это трогаетъ въ голубиной натурѣ человѣка; но въ духѣ мощномъ и гордомъ, въ натурѣ львиной—все это больше, чѣмъ умирительно... Изъ какихъ богатыхъ элементовъ составлена поэзія этого человѣка, какими разнообразными мотивами и звуками гремятъ и льются ея гармоніи и мелодіи! Вотъ пѣса, означенная рубрикою „1-е Января“; читая ее, мы опять входимъ въ совершенно новый міръ, хотя и застаемъ въ ней все ту же думу, то же сердце, словомъ—ту же личность, какъ и въ прежнихъ. Поэтъ говоритъ, какъ часто при шумѣ пестрой толпы, среди мелькающихъ вокругъ тебя бездушныхъ лицъ — „стянутыхъ приличьемъ масокъ“, когда холодныхъ рукъ его съ небрежной смѣлостью касаются „давно безтрепетныя“ руки молодыхъ красавицъ, какъ часто воскресаютъ въ немъ старинныя мечты, святыя звуки погибшихъ лѣтъ...

И вижу я себя ребенкомъ; и кругомъ  
Родныя все мѣста: высокій барскій домъ  
И садъ съ разрушенной теплицей;  
Зеленой сѣтью травъ подернуть спящій прудъ,  
А за прудомъ село дымится—и встаютъ  
Вдали туманы надъ полями.  
Въ аллею темную вхожу я; сквозь кусты  
Глядитъ вечерній лучъ, и желтые листья  
Шумятъ подъ робкими шагами.

Только у Пушкина можно найти такія картины въ этомъ родѣ! Когда же, говоритъ онъ, шумъ людской толпы „спугнетъ мою мечту“—

О, какъ мнѣ хочется смутить веселость ихъ,  
И дерзко бросить имъ въ глаза желѣзный стихъ,  
Облитый горечью и злостью!..

Если бы не всѣ стихотворенія Лермонтова были одинъ лучшія, то это мы назвали бы однимъ изъ лучшихъ „Журналистъ, Читатель и Писатель“ напоминае идеей, и формой, и художественнымъ достоинствомъ говоръ книгопродавца съ поэтомъ“ Пушкина. Разговъ языкъ этой пьесы—верхъ совершенства; рѣзкость с ній, тонкая и ѣдкая насмѣшка, оригинальность и п тельная вѣрность взглядовъ и замѣчаній — изумите Исповѣдь поэта, которой оканчивается пьеса, блеситъ зами, говорить чувствомъ. Личность поэта является въ исповѣди въ высшей степени благородной.

„Ребенку“—это маленькое лирическое стихотворенъ включаетъ въ себѣ цѣлую повѣсть, высказанную наме но тѣмъ не менѣе понятную. О, какъ глубоко поучитъ эта повѣсть, какъ сильно потрясаетъ она душу!.. В глухія рыданія обманутой любви, стоны исходящаго къ сердца, жестокія проклятія, а потомъ, можетъ быть, и гословеніе смиреннаго испытаніемъ сердца женщины... я люблю тебя, прекрасное дитя! Говорять, ты похожъ на нее, и хоть страданія измѣнили ее прежде времени, образъ въ моемъ сердцѣ...

...А ты, ты любишь ли меня?  
 Не скучны ли тебѣ непрошенныя ласки?  
 Не слишкомъ часто ль я твои цѣлую глазки?  
 Слеза моя ланить твоихъ не обожгла ль?  
 Смотри жъ, не говори ни про мою печаль  
 Ни вовсе обо мнѣ. Къ чему? Ее, быть можетъ,  
 Ребяческій разсказъ разсердить иль встревожить...  
 Но мнѣ ты все повѣрь. Когда въ вечерній часъ,  
 Предъ образомъ съ тобой заботливо склоняясь,  
 Молитву дѣтскую она тебѣ шептала  
 И въ знаменье креста персты твои сжимала,  
 И всѣ знакомыя, родныя имена  
 Ты повторялъ за ней,—скажи: тебя она  
 Ни за кого еще молиться не учила?  
 Блѣднѣя, можетъ быть, она произносила  
 Названіе, теперь забытое тобой...  
 Не вспоминай его... Что имя?—Звукъ пустой!  
 Дай Богъ, чтобъ для тебя оно осталось тайной.

Но если, какъ-нибудь, когда-нибудь, случайно  
Узнаешь ты его, — ребяческие дни  
Ты вспомни, и его, дитя, не прокляни!

Отчего же тутъ нѣтъ раскаянія?—спросятъ моралисты. Надѣньте очки, господа, и вы увидите, что герой пьесы спрашиваетъ дитя—не учила ли она его молиться еще за кого-то, не произносила ли, блѣднѣя, теперь забытаго имъ имени?... Онъ проситъ ребенка не проклинать этого имени, если узнаетъ о немъ. Вотъ истинное торжество нравственности!

Поэтическая мысль можетъ иногда родиться и вслѣдствіе какого-нибудь изъ тѣхъ обстоятельствъ, изъ которыхъ складывается наша жизнь; но чаще всего и почти всегда она есть не что иное, какъ случай дѣйствительности въ возможности, и потому въ поэзіи не имѣетъ никакого мѣста вопросъ: „было ли это?“; но она всегда должна положительно отвѣчать на вопросъ: „возможно ли это, можетъ ли это быть въ дѣйствительности?“ Самое обстоятельство можетъ только, такъ сказать, натолкнуть поэта на поэтическую идею и, будучи выражено имъ въ стихотвореніи, является уже совсѣмъ другимъ, новымъ и небывалымъ, но могущимъ быть. Потому, чѣмъ выше талантъ поэта, тѣмъ больше находимъ мы въ его произведеніяхъ примѣненій и къ собственной нашей жизни и къ жизни другихъ людей. Мало этого: въ неиспытанныхъ нами обстоятельствахъ мы узнаемъ какъ будто коротко знакомое намъ по опыту,—и тогда понимаемъ, почему поэзія, выражая частное, есть выраженіе общаго. Прочтете „Сосѣда“ Лермонтова—и хотя бы вы никогда не были въ подобномъ обстоятельствѣ, но вамъ покажется, что вы когда-то были въ заключеніи, любили незримаго сосѣда, отдѣленнаго отъ васъ стѣной, прислушивались и къ мѣрному звуку шаговъ его, и къ унылой пѣснѣ его, и говорили къ нему про себя:

Я слушаю—и въ мрачной тишинѣ

Твои шаговъ раздаются...

О чемъ они—не знаю, но тоской

Исполнены, и звуки чередой,

Какъ слезы, тихо льются, льются...

И лучшихъ лѣтъ надежды и любовь — ,  
 Въ груди моей все оживаетъ вновь,  
 И мысли далеко несутся,  
 И полонъ умъ желаній и страстей,  
 И кровь кипитъ, и слезы изъ очей,  
 Какъ звуки, другъ за другомъ льются...

Эта тихая, кроткая грусть души сильной и крѣпкой эти унылые, мелодическіе звуки, льющіеся другъ за другомъ, какъ слеза за слезой; эти слезы, льющіеся одна за другой, какъ звукъ за звукомъ, — сколько въ нихъ таинственного, невыговариваемаго, но такъ ясно понятнаго сердца. Здѣсь поэзія становится музыкой: здѣсь обстоятельство является, какъ въ оперѣ, только поводомъ къ звукамъ, мекомъ на ихъ таинственное значеніе; здѣсь отъ жизни отнята вся его матеріальная, внѣшняя сторона: извлеченъ изъ него одинъ чистый эфиръ, солнечный л свѣта, въ возможности скрывавшіеся въ немъ... Выразное въ этой пьесѣ обстоятельство можетъ быть фактомъ, но сама пьеса относится къ этому факту, какъ относится къ натуральной розѣ поэтическая роза, въ которой въ грубаго вещества, составляющаго натуральную розу, въ которой только нѣжный румянецъ и кроткое ароматическое дыханіе натуральной розы...

Гармонически и благоуханно высказывается дума пьесы въ пьесахъ: „Когда волнуется желтѣющая нива“, „Разлились мы, но твой портретъ“, и „Отчего“, — и грустно болѣзненно въ пьесѣ „Благодарность“. Не можемъ не остановиться на двухъ послѣднихъ. Онѣ коротки, повидимому лишены общаго значенія и не заключаютъ въ себѣ никакой идеи; но, Боже мой! какую длинную и грустную вѣсть содержитъ въ себѣ каждая изъ нихъ! какъ онѣ боко знаменательны, какъ полны мыслью!

Мнѣ грустно, потому что я тебя люблю,  
 И знаю: молодость цвѣтущую твою  
 Не пощадитъ молвы коварное гоненье.  
 За каждый свѣтлый день иль сладкое мгновенье  
 Слезами и тоской заплатишь ты судьбѣ.  
 Мнѣ грустно... потому что весело тебѣ.



Это вадохъ музыки, это мелодія грусти, это кроткое страданіе любви, послѣдняя дань нѣжно и глубоко любимому предмету отъ растерзаннаго и смиреннаго бурей судьбы сердца!.. И какая удивительная простота въ стихъ! Здѣсь говорить одно чувство, которое такъ полно, что не требуетъ поэтическихъ образовъ для своего выраженія; ему не нужно убранства, не нужно украшеній, оно говоритъ само за себя, оно вполнѣ высказалось бы и прозою...

За все, за все тебя благодарю я:  
 За тайныя мученія страстей,  
 За горечь слезъ, отраву поцѣлуя;  
 За мечь враговъ и клевету друзей;  
 За жаръ души, растрченный въ пустынь,—  
 За все, чѣмъ я обмануть въ жизни былъ...  
 Устрой лишь такъ, чтобы тебя отнынѣ  
 Недолго я еще благодарилъ...

Какая мысль скрывается въ этой грустной „благодарности“, въ этомъ сарказмѣ обманутаго чувствомъ и жизнью сердца? Все хорошо: и тайныя мученія страстей, и горечь слезъ, и всѣ обманы жизни; но еще лучше, когда ихъ нѣтъ, хотя безъ нихъ и нѣтъ ничего, что просить душа, чѣмъ живетъ она, что нужно ей, какъ масло для лампы!.. Это утомленіе чувствомъ; сердце просить покоя и отдыха, хотя и не можетъ жить безъ волненія и движенія... Въ pendant къ этой пьесѣ можетъ итти новое стихотвореніе Лермонтова „Завѣщаніе“: это похоронная пѣсня жизни и всѣмъ ея обольщеніямъ, тѣмъ болѣе ужасная, что ея голосъ не глухой и не громкій, а холодно спокойный; выраженіе не горитъ и не сверкаетъ образами, но небрежно и прозаично... Мысль этой пьесы: и худое и хорошее—все равно; сдѣлать лучше не въ нашей волѣ, и потому пусть идетъ себѣ, какъ оно хочетъ... Это ужъ даже и не сарказмъ, не иронія и не жалоба: не на что сердиться, не на что жаловаться,—все равно! Отца и мать жаль огорчить... Возлѣ нихъ есть сосѣдка—она не спроситъ о немъ, но нечего жалѣть пустого сердца—пусть поплачетъ: вѣдь, это ей не почемъ! Страшно!.. Но поэзія есть сама дѣйствительность,

и потому она должна быть неумолима и беспощадна, гдѣ дѣло идетъ о томъ, что есть или что бываетъ... А чело-вѣку необходимо должно перейти и черезъ это состояніе духа. Въ музыкѣ гармонія условливается диссонансомъ, въ духѣ—блаженство условливается страданіемъ, избытокъ чув-ства — сухостью чувства, любовь — ненавистью, сильная жизненность — отсутствіемъ жизни: это такія крайности, которыя всегда живутъ вмѣстѣ, въ одномъ сердцѣ. Кто не печалился и не плакалъ, тотъ и не возрадуется, кто не болѣлъ, тотъ и не выздоровѣетъ, кто не умиралъ за-живо, тотъ и не возстанетъ... Жалѣйте поэта или, лучше, самихъ себя: ибо, показавъ вамъ раны своей души, онъ показалъ вамъ ваши собственныя раны; но не отчаявайтесь ни за поэта ни за чело-вѣка: въ томъ и другомъ бурю смѣняетъ ведро, безотрадность—надежда...

Два перевода изъ Байрона, — „Еврейская Мелодія“ и „Въ Альбомѣ“, тоже выражаютъ внутренній міръ души поэта. Это боль сердца, тяжкіе вздохи груди; это надгроб-ныя надписи на памятникахъ погибшихъ радостей...

„Вѣтка Палестины“ и „Тучи“ составляютъ переходъ отъ субъективныхъ стихотвореній нашего поэта къ чисто-худо-жественнымъ. Въ обѣихъ пьесахъ видна еще личность поэта, но въ то же время виденъ уже и выходъ его изъ внутренняго міра своей души въ созерцаніе „полнаго славы творенья“. Первая изъ нихъ дышитъ богатнымъ спокой-ствіемъ сердца, теплотой молитвы, кроткимъ вѣяніемъ свя-тыни. О самой этой пьесѣ можно сказать то же, что гово-рится въ ней о вѣткѣ Палестины:

Заботой тайною хранима,  
Передъ иконой золотой,  
Стоишь ты, вѣтвь Іерусалима,  
Святыни вѣрный часовой!  
Прозрачный сумракъ, лучъ лампы,  
Кивотъ и крестъ, символъ святой...  
Все полно мира и отрады  
Вокругъ тебя и надъ тобой...

Вторая пьеса „Тучи“ полна какого-то отраднаго чувства

выздоровленія и надежды, и плѣняетъ роскошью поэтическихъ образовъ, какимъ-то избыткомъ умиленнаго чувства.

„Русалкой“ начнемъ мы рядъ чисто-художественныхъ стихотвореній Лермонтова, въ которыхъ личность поэта исчезаетъ за роскошными видѣніями явленій жизни. Эта пьеса покрыта фантастическимъ колоритомъ, и по роскоши картинъ, богатству поэтическихъ образовъ, художественности отдѣлки, составляетъ собою одинъ изъ драгоценнѣйшихъ перловъ русской поэзіи. „Три Пальмы“ дышатъ знойной природой Востока, переносятъ насъ на песчанья пустыни Аравіи, на ея цвѣтушіе оазисы. Мысль поэта ярко выдается,—и онъ поступилъ съ нею какъ истинный поэтъ, не заключивъ своей пьесы нравственной сентенціей. Самая эта мысль могла быть опоэтизирована только своимъ восточнымъ колоритомъ и оправдана названіемъ „Восточное Сказаніе“; иначе она была бы дѣтской мыслью. Пластичизмъ и рельефность образовъ, выпуклость формъ и яркій блескъ восточныхъ красокъ сливаются въ этой пьесѣ поэзію съ живописью: это картина Брюлова, смотря на которую, хочешь еще и осязать ее.

„Дары Терека“ есть поэтическая апопееза Кавказа. Только роскошная, живая фантазія грековъ умѣла такъ олицетворять природу, давать образъ и личность ея нѣмымъ и разбросаннымъ явленіямъ. Нѣтъ возможности выписывать стиховъ изъ этой дивно-художественной пьесы, этого роскошнаго видѣнія богатой, радужной, исполинской фантазіи; иначе пришлось бы переписать все стихотвореніе. Терекъ и Каспій олицетворяютъ собою Кавказъ, какъ самыя характеристическія его явленія. Терекъ сулитъ Каспію дорогой подарокъ: но сладострастно-лѣнивый сибаритъ моря, покоясь въ мягкихъ берегахъ, не внемлетъ ему, не обольщаясь ни стадомъ валуновъ ни трупомъ удалого кабардинца; но когда Терекъ сулитъ ему сокровенный даръ—безцѣннѣе всѣхъ даровъ вселенной, и когда

...Надъ нимъ, какъ снѣгъ бѣла,  
Голова съ косою размытой,  
Колыхаяся, всплыла,—

И старикъ во блескъ власти  
 Всталъ могучій какъ гроза,  
 И одѣлись влагой страсти  
 Темносиніе глаза.  
 Онъ възгравъ, веселья полный—  
 И въ объятія свои  
 Набѣгающія волны  
 Принялъ съ ропотомъ любви...

Мы не назовемъ Лермонтова ни Байрономъ, ни Гете, ни Пушкинымъ; но не думаемъ сдѣлать ему гиперболической похвалы, сказавъ, что такія стихотворенія, какъ „Русалка“, „Три Пальмы“ и „Дары Терека“ можно находить только у такихъ поэтовъ, какъ Байронъ, Гете и Пушкинъ...

Не менѣе превосходна „Казачья колыбельная пѣсня“. Ея идея—мать; но поэтъ умѣлъ дать индивидуальное значеніе этой общей идее: его мать—казачка, и потому содержаніе ея колыбельной пѣсни выражаетъ собою особенности и отѣнки казачьяго быта. Это стихотвореніе есть художественная апофеоза матери: все, что есть святого, беззавѣтнаго въ любви матери, весь трепеть, вся нѣга, вся страсть, вся безконечность кроткой нѣжности, безграничность безкорыстной преданности, какой дышитъ любовь матери,—все это воспроизведено поэтомъ во всей полнотѣ. Гдѣ, откуда взялъ поэтъ эти простодушные слова, эту умилительную нѣжность тона, эти кроткіе и задушевные звуки, эту женственность и прелесть выраженія? Онъ видѣлъ Кавказъ,—и намъ понятна вѣрность его картинъ Кавказа; онъ не видалъ Аравіи, и ничего, что могло бы дать ему понятіе объ этой странѣ палящаго солнца, песчаныхъ степей, зеленыхъ пальмъ и прохладныхъ источниковъ, но онъ читалъ ихъ описанія: какъ же онъ такъ глубоко могъ проникнуть въ тайны женскаго и материнскаго чувства?

„Воздушный Корабль“ не есть собственно переводъ изъ Зейдлица: Лермонтовъ взялъ у нѣмецкаго поэта только идею, но обработалъ ее по своему. Эта пьеса, по своей художественности, достойна великой тѣни, которой колоссальный обликъ такъ грандіозно представленъ въ ней.—Какое тихое успокоительное чувство ночи послѣ знойнаго

дня вѣтъ въ стихотвореніи „Горныя Вершины“, въ этой маленькой пьесѣ Гете, такъ граціозно переданной нашимъ поэтомъ.

Теперь намъ остается разобрать поэму Лермонтова „Мцыри“. Плѣнный мальчикъ черкесъ воспитанъ былъ въ грузинскомъ монастырѣ; выросши, онъ хочетъ сдѣлаться, или его хотятъ сдѣлать монахомъ. Разъ была страшная буря, во время которой черкесъ скрылся. Три дня пропадалъ онъ, а на четвертый былъ найденъ въ степи, близъ обители, слабый, больной и умирающій перенесенъ снова въ монастырь. Почти вся поэма состоитъ изъ исповѣди о томъ, что было съ нимъ эти три дня. Давно манилъ его къ себѣ призракъ родины, темно носившійся въ душѣ его, какъ воспоминаніе дѣтства. Онъ захотѣлъ видѣть Божій міръ — и ушелъ.

Давнымъ давно задумалъ я  
Взглянуть на дальнія поля,  
Узнать, прекрасна ли земля,—  
И въ часъ ночной, ужасный часъ,  
Когда гроза пугала васъ,  
Когда, столпясь при алтарѣ,  
Вы ницъ лежали на землѣ,  
Я убѣждалъ. О! я, какъ братъ,  
Обняться съ бурей былъ бы радъ!  
Глазами тучи я слѣдилъ,  
Рукою молнію ловилъ...  
Скажи мнѣ, что средь этихъ стѣнъ  
Могли бы дать вы мнѣ взамѣнъ  
Той дружбы краткой, но живой  
Межъ бурнымъ сердцемъ и грозой?...

Уже изъ этихъ словъ вы видите, что за огненная душа, что за могучій духъ, что за исполинская натура у этого мцыри! Это любимый идеалъ нашего поэта, это отраженіе въ поэзіи тѣни его собственной личности. Во всемъ, что ни говоритъ мцыри, вѣтъ его собственнымъ духомъ, поражаетъ его собственной мощью. Это произведеніе субъективное.

Мысль поэмы отзывается юношеской незрѣлостью, и если она дала возможность поэту разсыпаться передъ вашими гла-

зами такое богатство самоцвѣтныхъ камней поэзіи, — то не сама собою, а точно какъ странное содержаніе иного посредственнаго либретто даетъ геніальному композитору возможность создать превосходную оперу. Недавно кто-то, ревонерствуя въ газетной статьѣ о стихотвореніяхъ Лермонтова, назвалъ его „Пѣсню про царя Ивана Васильевича, удалого опричника и молодого купца Калашникова“ произведеніемъ дѣтскимъ, а „Мцыри“, — произведеніемъ зрѣлымъ; глубокомысленный критиканъ, разсчитывая по пальцамъ время появленія той и другой поэмы, очень остроумно сообразилъ, что авторъ былъ тремя годами старше, когда написалъ „Мцыри“, и изъ этого казуса весьма основательно вывелъ заключеніе: ergo „Мцыри“ зрѣлѣе. Это очень понятно; у кого нѣтъ эстетическаго чувства, кому не говорить само за себя поэтическое произведеніе, тому остается гадать о немъ по пальцамъ или соображаться съ метрическими книгами...

Но, несмотря на незрѣлость идеи и нѣкоторую натянутость въ содержаніи „Мцыри“, — подробности и изложеніе этой поэмы изумляютъ своимъ исполненіемъ. Можно сказать безъ преувеличенія, что поэтъ бралъ цвѣты у радуги, лучи у солнца, блескъ у молніи, грохотъ у громовъ, гудъ у вѣтровъ, — что вся природа сама несла и подавала ему матеріалы, когда писалъ онъ эту поэму... Кажется, будто поэтъ до того былъ отягощенъ обременительной полнотой внутренняго чувства, жизни и поэтическихъ образовъ, что готовъ былъ воспользоваться первой мелькнувшей мыслью, чтобы только освободиться отъ нихъ, — и они хлынули изъ души его, какъ горящая лава изъ огнедышащей горы, какъ море дождя изъ тучи, мгновенно обьявшею собою распаленный горизонтъ, какъ внезапно прорвавшійся яростный потокъ, поглощающій окрестность на далекое разстояніе своими сокрушительными волнами... Этотъ четырехстопный ямбъ съ одними мужескими окончаніями, какъ въ „Шильонскомъ Узникѣ“, звучитъ и отрывисто падаетъ, какъ ударъ меча, поражающаго свою жертву. Упругость, энергія и звучное, однообразное паденіе его удивительно гармонируетъ

съ сосредоточеннымъ чувствомъ, несокрушимой силой могучей натуры и трагическимъ положеніемъ героя поэмы. А между тѣмъ какое разнообразіе картинъ, образовъ и чувствъ! Тутъ и бури духа, и умиленіе сердца, и вопли отчаянія, и тихія жалобы, и гордое ожесточеніе, и кроткая грусть, и мракъ ночи, и торжественное величіе утра, и блескъ полудня, и таинственное обаяніе вечера!.. Многія положенія изумляютъ своею вѣрностью; таково мѣсто, гдѣ Ашъри описываетъ свое замираніе подлѣ монастыря, когда грудь его пылала предсмертнымъ огнемъ, когда надъ усталой головой уже вѣяли успокоительные сны смерти и носились ея фантастическія видѣнія. Картины природы обличаютъ кисть великаго мастера: онѣ дышатъ грандіозностью и роскошнымъ блескомъ фантастическаго Кавказа. Кавказъ взялъ полную дань съ музы нашего поэта... Странное дѣло! Кавказу какъ будто суждено быть колыбелью нашихъ поэтическихъ талантовъ, вдохновителемъ и пѣстуномъ ихъ музы, поэтической ихъ родиной! Пушкинъ посвятилъ Кавказу одну изъ первыхъ своихъ поэмъ— „Кавказскаго Пѣнника“, и одна изъ послѣднихъ его поэмъ— „Галубъ“ тоже посвящена Кавказу; нѣсколько превосходныхъ лирическихъ стихотвореній его также относятся къ Кавказу. Грибоѣдовъ создалъ на Кавказѣ свое „Горе отъ ума“: дикая и величавая природа этой страны, кипучая жизнь и суровая поэзія ея сыновъ вдохновила его оскорбленное человѣческое чувство на изображеніе апатическаго, ничтожнаго круга Фамусовыхъ, Скалозубовъ, Загорѣцкихъ, Хлестовыхъ, Тугоуховскихъ, Репетиловыхъ, Молчалиныхъ—этихъ карикатуръ на природу человѣческую... И вотъ является новый великій талантъ—и Кавказъ дѣлается его поэтической родиной, пламенно-любимой имъ; на недоступныхъ вершинахъ Кавказа, вѣнчанныхъ вѣчнымъ снѣгомъ, находитъ онъ свой Парнасъ; въ его свирѣпомъ Терекѣ, въ его горныхъ потокахъ, въ его цѣлебныхъ источникахъ, находитъ онъ свой Кастальскій ключъ, свою Ипокрену... Какъ жаль, что не напечатана другая поэма Лермонтова, дѣйствіе которой совершается также на Кавказѣ, и которая въ рукописи хо-

дѣть въ публикѣ, какъ нѣкогда ходило „Горе отъ ума“; мы говоримъ о „Демонѣ“. Мысль этой поэмы глубже и несравненно зрѣлѣе, чѣмъ мысль „Мцыри“, и хотя исполненіе ея отзывается нѣкоторой незрѣлостью, но роскошь картинъ, богатство поэтическаго одушевленія, превосходные стихи, высокость мыслей, обаятельная прелесть образовъ ставятъ ее несравненно выше „Мцыри“, и превосходить все, что можно сказать въ ея похвалу. Это не художественное созданіе, въ строгомъ смыслѣ искусства; но оно обнаруживаетъ всю мощь таланта поэта, и обѣщаетъ въ будущемъ великія художественныя созданія.

Говоря вообще о поэзіи Лермонтова, мы должны замѣтить въ ней одинъ недостатокъ: это иногда неясность образовъ и неточность въ выраженіи. Такъ, напримѣръ, въ „Дарахъ Терека“, гдѣ „сердитый потокъ“ описываетъ Каспій красоту убитой казачки, очень неопредѣленно намекнуто и на причину ея смерти, и на ея отношенія къ гребенскому казаку:

По красотѣ-молодицѣ  
Не тоскуетъ надъ рѣкой  
Лишь одинъ во всей станицѣ  
Казачина гребенской.  
Осѣдлалъ онъ вороного,  
И въ горахъ, въ ночномъ бою,  
На кинжалъ чеченца злого  
Сложить голову свою.

Здѣсь на догадку читателя оставляется три случая, равно возможные: или что чеченецъ убилъ казачку, а казакъ обрекъ себя мщенію за смерть своей любезной; или что самъ казакъ убилъ ее изъ ревности, и ищетъ себѣ смерти, или что онъ еще не знаетъ о гибели своей возлюбленной, и потому не тужить о ней, готовясь въ бой. Такая неопредѣленность вредить художественности, которая именно въ томъ и состоитъ, что говорить образами опредѣленными, выпуклыми, рельефными, вполне выражающими заключенную въ нихъ мысль. Можно найти въ книжкѣ Лермонтова пять-шесть неточныхъ выраженій, подобныхъ тому, которыми оканчивается его превосходная пьеса „Поэтъ“:



Проснешься ль ты опять, осмѣянный пророкъ?  
Иль никогда, на голосъ мщенья,  
Изъ золотыхъ ноженъ не вырвешь свой клинокъ,  
*Покрытый ржавчиной презрѣнья.*

„Ржавчина презрѣнья“ — выраженіе неточное и слишкомъ сбивающееся на аллегорію. Каждое слово въ поэтическомъ произведеніи должно до того исчерпывать все значеніе требуемаго мыслью цѣлаго произведенія, чтобъ видно было, что нѣтъ въ языкѣ другого слова, которое тутъ могло бы замѣнить его. Пушкинъ и въ этомъ отношеніи величайшій образецъ: во всѣхъ томахъ его произведеній едва ли можно найти хоть одно сколько-нибудь неточное или изысканное выраженіе, даже слово... Но мы говоримъ не больше, какъ о пяти или шести пятнышкахъ въ книгѣ Лермонтова: все остальное въ ней удивляетъ силой и тонкостью художественнаго такта, полновластнымъ обладаніемъ совершенно покореннаго языка, истинно Пушкинскою точностью выраженія.

Бросая общій взглядъ на стихотворенія Лермонтова, мы видимъ въ нихъ всѣ силы, всѣ элементы, изъ которыхъ слагаются жизнь и поэзія. Въ этой глубокой натурѣ, въ этомъ мощномъ духѣ все живетъ; имъ все доступно, все понятно; они на все откликаются. Онъ властный обладатель царства явленій жизни, онъ воспроизводитъ ихъ какъ истинный художникъ; онъ поэтъ русскій въ душѣ — въ немъ живетъ прошедшее и настоящее русской жизни; онъ глубоко знакомъ и съ внутреннимъ міромъ души. Несокрушимая сила и мощь духа, смиреніе жалобъ, елеинное благоуханіе молитвы, пламенное, бурное одушевленіе, тихая грусть, кроткая задумчивость, вопли гордаго страданія, стоны отчаянія, таинственная нѣжность чувства, неукротимые порывы дерзкихъ желаній, цѣломудренная чистота, недуги современнаго общества, картины міровой жизни, хмельныя обаянія жизни, укоры совѣсти, умилительное раскаяніе, рыданія страсти и тихія слезы, какъ звукъ за звукомъ, льющіяся въ полнотѣ умирѣннаго бурей жизни сердца, упоеніе любви, трепеть разлуки, радость свиданія, чувство ма-

тери, презрѣніе къ прозѣ жизни, безумная жажда восторговъ, полнота упоивающагося роскошью бытія духа, пламенная вѣра, мука душевной пустоты, стонъ отвращающагося самого себя чувства замершей жизни, ядъ отрицанія, холодъ сомнѣнія, борьба полноты чувства съ разрушающею силой рефлексіи, падшій духъ неба, гордый демонъ и невинный младенецъ, буйная вакханка и чистая дѣва—все, все въ поэзіи Лермонтова: и небо и земля, и рай и адъ... По глубинѣ мысли, роскоши поэтическихъ образовъ, увлекательной, неотразимой силѣ поэтическаго обаянія, полнотѣ жизни и типической оригинальности, по избытку силы, бьющей огненнымъ фонтаномъ, его созданія напоминаютъ собою созданія великихъ поэтовъ. Его поприще еще только начато, и уже какъ много имъ сдѣлано, какое неистощимое богатство элементовъ обнаружено имъ: чего же должно ожидать отъ него въ будущемъ?... Пока еще не назовемъ мы его ни Байрономъ, ни Гете, ни Пушкинымъ, и не скажемъ, чтобъ изъ него современемъ вышелъ Байронъ, Гете или Пушкинъ; ибо мы убѣждены, что изъ него выйдетъ ни тотъ, ни другой, ни третій, а выйдетъ—Лермонтовъ... Знаемъ, что наши похвалы покажутся большинству публики преувеличенными; но мы уже обрекли себя тяжелой роли говорить рѣзко и опредѣленно то, чему сначала никто не вѣритъ, но въ чемъ скоро всѣ убѣждаются, забывая того, кто первый выговорилъ сознаніе общества и на кого оно за это смотрѣло съ насмѣшкой и неудовольствіемъ... Для толпы нѣмѣ и безмолвно свидѣтельство духа, которымъ запечатлѣны созданія вновь явившагося таланта, она составляетъ свое сужденіе не по самымъ этимъ созданіямъ, а по тому, что о нихъ говорятъ сперва люди почтенные, литераторы заслуженные, а потомъ, что говорятъ о нихъ всѣ. Даже, восхищаясь произведеніями молодого поэта, толпа косо смотритъ, когда его сравниваютъ съ именами, которыхъ значенія она не понимаетъ, но къ которымъ она прислушалась, которыхъ привыкла уважать не словомъ... Для толпы не существуютъ убѣжденія истины: она вѣритъ только авторитетамъ, а не собственному чувству и

разуму—и хорошо дѣлается... Чтобъ преклониться передъ поэтомъ, ей надо сперва прислушаться къ его имени, привыкнуть къ нему и забыть множество ничтожныхъ именъ, которыя на минуту похищали ея безсмысленное удивленіе. Procul profani...

Какъ бы то ни было, но и въ толпѣ есть люди, которые высятся надъ нею: они поймутъ насъ. Они отличаютъ Лермонтова отъ какого-нибудь фразера, который занимается стукотней звучныхъ словъ и богатыхъ рѣчъ, который вздумаетъ почитать себя представителемъ національнаго духа потому только, что кричить о славѣ Россіи (несколько не нуждающейся въ этомъ) и вандальски смѣется надъ издыхающей, будто бы, Европой, дѣлая изъ героевъ ея исторіи что-то похожее на нѣмецкихъ студентовъ... Мы увѣрены, что и наше сужденіе о Лермонтовѣ отличать они отъ тѣхъ производствъ въ „лучшіе писатели нашего времени, надъ сочиненіями которыхъ (будто бы) примирились всѣ вкусы и даже всѣ литературныя партіи“, такихъ писателей, которые дѣйствительно обнаруживаютъ замѣчательное дарованіе, но лучшими могутъ казаться только для малаго кружка читателей того журнала, въ каждой книжкѣ котораго печатаютъ они по одной и даже по двѣ повѣсти... Мы увѣрены, что они поймутъ какъ должно и ропотъ стараго поколѣнія, которое, оставшись при вкусахъ и убѣжденіяхъ цвѣтущаго времени своей жизни, упорно принимаетъ неспособность свою сочувствовать новому и понимать его—за ничтожность всего новаго...

И мы видимъ уже начало истиннаго (не шуточного) примиренія всѣхъ вкусовъ и всѣхъ литературныхъ партій надъ сочиненіями Лермонтова,—и уже не далеко то время, когда имя его въ литературѣ сдѣлается народнымъ именемъ, и гармоническіе звуки его поэзіи будутъ слышимы въ повседневномъ разговорѣ толпы, между толками ея о житейскихъ заботахъ...

В. Бѣлинскій.

\*) Лѣтъ пятнадцать тому, наша читающая публика, въ отношеніи къ поэзіи, обнаруживала такое свѣжее и любознательное чувство изящнаго, что каждое истинное дарованіе, безъ всякихъ домогательствъ, несвойственныхъ природѣ таланта, могло проложить себѣ путь къ извѣстности, можно было выдавать свои сочиненія въ свѣтъ, безъ особенной пріязни съ журналистами и книгопродавцами, и, продолжая трудиться, предоставить времени конечную оцѣнку трудовъ. Подлѣ Пушкина являлись другіе таланты, публика ими всѣми интересовалась и внимательно слѣдила за успѣхами каждаго изъ нихъ. Охлажденіе дружественныхъ соотношеній между публикою и литературою повредить имъ обѣимъ: одна скучаетъ, другая чахнетъ! Причины охлажденія толкуютъ различно, но оно достовѣрно, какъ фактъ. Счастливы, кто въ то время или сошелъ со сцены міра, или захватилъ столько репутаціи, что покуда еще достаетъ на удвоенное число бесплодныхъ фараоновыхъ годовъ нашей литературы! Молодой поэтъ теперь не суйся въ свѣтъ съ однимъ своимъ дарованіемъ! не пропускай его въ Парнасскій циркъ безъ свидѣтельства, подписаннаго именитымъ книгопродавцемъ и двумя-тремя голосистыми рецензентами. А нѣкоторые изъ нихъ дѣйствуютъ весьма оригинально! Или они, за неимѣніемъ времени, по первой и по послѣдней страницамъ разбираемаго сочиненія *отгадываютъ* его достоинство, или—если прочтутъ всю книгу, то, въ вознагражденіе за такой трудъ, предаются полному разгулу насмѣшекъ надъ бѣдной книгою; или они совершаютъ черкесскій набѣгъ на области германской философіи, пускаются въ отчаянную борьбу-игру таинственными ея терминами, въ мутномъ полусвѣтѣ недоученія; или они, съ видомъ тонкаго знатока, разсматриваютъ какой-нибудь грибокъ, признаютъ его самымъ дивнымъ благоуханнымъ цвѣткомъ словесности, и подносятъ въ подарокъ Гомеру.

При такой тактикѣ записныхъ рецензентовъ, при равнодушіи публики къ поэзіи, именно въ то время, когда за

\*) „Сынъ Отечества“ 1843 г., кн. 3. О стихотвореніяхъ Лермонтова. Статьи барона Розена.

бывали даже Пушкина, мы были обрадованы самымъ приятнымъ феноменомъ: появился молодой поэтъ, открытымъ, благороднымъ путемъ быстро стяжалъ извѣстность и интересовалъ публику. Этотъ поэтъ былъ *М. Ю. Лермонтовъ*. Чѣмъ объяснится этотъ феноменъ? Талантомъ ли поэта? Талантъ прекрасный, но еще не являвшій рѣшительныхъ признаковъ генія, а великій геній — повѣрьте, — всего менѣе былъ бы постигнутъ и оцѣненъ въ наше время! Ключъ къ этой тайнѣ мы отыщемъ въ прошедшемъ, перенесясь за пятнадцать лѣтъ назадъ, именно къ тому періоду, о которомъ мы говорили.

Тогда имя Пушкина гремѣло въ нашей словесности; судьба юноши-поэта, сладкозвучный языкъ, легкія, красивыя формы, простота и ясность мыслей, энергическая полнота жизни, незаносчивое, умѣренное воображеніе; столько свѣтлыхъ, граціозныхъ качествъ, отбѣняемыхъ скептицизмомъ Байрона, охлажденіемъ къ жизни и тою глубиною чувствъ, которую развѣдываетъ и простѣйшій умъ, — и это свѣтлое и это темное выражалось въ разнообразныхъ, удачно выбранныхъ сюжетахъ, которые приходились всегда по душѣ и по плечу юношескому возрасту народа. При такихъ *данныхъ*, Пушкинъ могъ бы и не быть первокласснымъ поэтомъ, и все-таки имѣлъ-бы тотъ-же успѣхъ: это обнаружилось впоследствии. Но Пушкинъ былъ первоклассный поэтъ! Онъ созрѣлъ, оглянувшись свои творенія, сказалъ: „Меня хвалили Богъ въстать за что!“ и рѣшился быть достойнымъ своей славы. Этотъ излишне-строгій приговоръ доказываетъ, что Пушкинъ стремился къ послѣдней высотѣ искусства. Но его „Борисъ Годуновъ“, единственное изъ сочиненій его, которымъ онъ самъ всегда оставался доволенъ, былъ принятъ публикою съ меньшимъ уже восторгомъ, чѣмъ его прежнія произведенія. Не ясно-ли, что авторъ „Кавказскаго Пльнника“ и „Бахчисарайскаго Фонтана“ стяжалъ славу не тѣмъ, что составляетъ отличительное превосходство *Пушкина*? Не высказывалось-ли этимъ охлажденіе публики къ литературѣ, о которомъ мы выше говорили? Трагическая кончина похитила Пушкина, и снова возбудила въ публикѣ

общій энтузіазмъ къ ея любимцу. Исчезъ Евфоріонъ, но остались на землѣ завѣтныя его ехивіае! Въ нихъ, конечно, уже не содержится самый духъ его поэзіи; но онѣ еще благоухаютъ его духомъ; онѣ и *матеріально* такъ живо напоминаютъ отшедшаго, что непременно привлекутъ вниманіе на того, кто ихъ захватитъ. Современные Пушкину поэты имѣютъ каждый свою фizioномію и столько самобытнаго, что не могли бы, въ плащѣ Пушкина, произвести въ публикѣ достаточнаго обмана чувствъ. Атрибуты Евфоріона остаются для молодого, еще неизвѣстнаго поэта, котораго быль-бы воспитанъ на чтеніи Пушкина, и если не весь проникнуть, то, по крайней мѣрѣ, *напитанъ* духомъ первыхъ его сочиненій, и отчасти свойственныхъ ему по природѣ дарованія. Такимъ чувствовалъ себя Лермонтовъ, и присвоилъ себѣ роковые атрибуты. И справедливо: онъ исшелъ изъ обѣихъ стихій Пушкина, изъ свѣтлой и изъ темной — но болѣе изъ темной; онъ весь *подражатель*, по крайней мѣрѣ, въ первыхъ его пьесахъ, но подражатель одного Пушкина — хотя и далеко *не весь молодой Пушкинъ*! Лермонтовъ удачно перенялъ легкость и звучность и самый складъ стиха, ясность и гибкость языка и образъ выраженія Пушкина (не довольно-ли для обмана чувствъ?), но не могъ перенять ни тонкаго вкуса, ни умственной граціи, ни строгой отчетливости, ни высшей, нѣжнѣйшей обворожительности его генія — словомъ: ему дался талантъ, но не дался геній Пушкина. Что же касается до *воображенія*, то Лермонтовъ едва-ли не перещеголялъ Пушкина, и изъ этого источника развился-бы и самобытно, если-бы съ тѣми атрибутами, къ несчастію, не была соединена и *судьба* Евфоріона.

Изъ приложеннаго къ концу III части, въ хронологическомъ порядкѣ, оглавленія стихотвореній Лермонтова, мы видимъ, что первыя его пьесы написаны въ 1835 и 36 годахъ. Если инныя изъ этихъ пьесъ тогда же были напечатаны, — чего мы не помнимъ, — то, по крайней мѣрѣ, ихъ не замѣтила публика. Первый проблескъ его имени совпадаетъ со смертью Пушкина; новый талантъ вышелъ, такъ

сказать, изъ завѣтнаго, только что заколоченнаго гроба поэта,—и сказался молодымъ Пушкинымъ, выпедшимъ изъ Царскосельскаго Лицея; та же сила, тотъ же духъ и прочее, словомъ: разительное наружное сходство! Среди глубокой грусти о кончинѣ Пушкина, сперва въ небольшомъ кругу, поговаривали съ восторженною вѣрою, что судьба, отнявшая у насъ Пушкина, замѣнила его Лермонтовымъ; кругъ этой вѣры расширялся; расторопный журналистъ схватилъ столь радостную для нашей словесности мысль и протрубилъ о томъ на длинномъ и толстомъ тромбонѣ. Первая пьеса Лермонтова, въ родѣ *молодого* Пушкина, оканчивалась совершенною бессмыслицею, проскользнувшею въ пылу сочиненія, а ее никто и не замѣтилъ. Когда мы на нее указали одному почтенному, опытному литератору, такъ же, какъ и другіе, ослѣпленному живымъ колоритомъ этой бессмыслицы, онъ крайне удивился, что онъ этого самъ прежде не замѣтилъ. Какъ-бы то ни было, но ослѣпленіе подобнаго рода, наведенное атрибутами Евфоріона, было вѣрнымъ предзнаменованіемъ успѣха, который въ послѣдствіи оправдался и большимъ развитіемъ въ родѣ Пушкина, и пьесами, отчасти достойными напомнить Пушкина. Вотъ чѣмъ объясняется, по нашему мнѣнію, вниманіе публики къ Лермонтову въ такое время, гдѣ она не смотритъ ни на какого поэта; вотъ что проложило ему дорогу! Одинъ Пушкинъ возмужалъ и быстро совершилъ свою судьбу; публика первыхъ его стихотвореній есть еще и нынѣшняя публика. Посмертная слава его, слившись со славой его юности, еще такъ жива и громка, что, если бы другой даровитый юноша, подобный Лермонтову, захотѣлъ-бы присвоить себѣ эти роковые, сызнова праздные атрибуты, то повторился бы любопытный феноменъ, нами описанный.

Въ сочиненіяхъ поэта, дышавшаго сильными страстями, вѣчно тревожною бранною жизнью, и такъ рано погибшаго въ бурѣ, пріятно было бы встрѣчать иногда и чистый, нѣжный голосъ души, посреди такихъ сильныхъ и мрачныхъ выраженій скептицизма и прискорбнаго на міръ воззрѣнія. Мы этого ищемъ не для контраста, не для эстетическаго

эффекта; нѣтъ! это есть священное требованіе сердца, имѣющее глубокое психическое основаніе. Какъ часто этотъ вѣжнѣй, чистый голосъ одушевлялъ струны Пушкина! Н говорите, что это требованіе нѣги и женственности души Мы вамъ отвѣтимъ, что *этотъ* голосъ раздался и посред бурныхъ звуковъ самаго мужественнаго изъ поэтовъ Беллонинныхъ, въ страшной міросокрушительной поэзіи Тамерлана! Мы знаемъ, что критики не должно испещрять анекдотами; но расскажемъ фактъ, въ которомъ содержится много здоровой и въ наше время полезной критики. Тимуръ еще не ханъ Джагатайскій, но уже прославленный и удаливствомъ и несчастіемъ, возвращался на родину. Онъ нашелъ на трехъ приверженцевъ своихъ, сопровождаемыхъ отродомъ, и съ ними заговорилъ. Приведемъ его собственныя слова: „Когда очи ихъ увидѣли меня, они возрадовались подошли ко мнѣ и преклонили колѣни и стали цѣловать мостремена. И я также сошелъ съ коня и каждого изъ нихъ принялъ въ свои объятія. На перваго надѣлъ я свою чаму; второму подвязалъ я свой поясъ, вышитый золотомъ изукрашенный драгоценными камнями; на третьяго накупилъ свою епанчу. И они плакали, и я плакалъ тоже. ] наступилъ часъ молитвы, и мы стали молиться. И мы съѣхали опять на коней и поѣхали въ мою обитель; и я созвалъ своихъ друзей и приготовилъ пиръ“!

Послѣ этой сцены сердце наше снесетъ *всего* Тамерлана Вслушивайтесь въ эти простые, умиленные звуки, поэтъ 19-го вѣка, въ своихъ произведеніяхъ жаждущіе крови и мрачныхъ убійственныхъ ощущеній... и признайтесь, что въ подобныхъ звукахъ слышится наилучшая поэзія! Увлекайтесь, сколько вамъ угодно, своимъ байронизмомъ, своею геніальною жестокостію; но не будьте, по крайней мѣрѣ суровѣ судьбы, создавшей Тамерлана! Подавайте намъ иногда и свѣтлаго, и чистаго, и священнаго!

Этимъ *чистымъ* и *свѣтлымъ* мы не разживемся у Лермонтова, хотя и есть пьесы, въ которыхъ онъ хотѣлъ изобразить что-то въ этомъ родѣ. Съ удивленіемъ замѣчаемъ что онъ гораздо слабѣе прочихъ. Начнемъ съ двухъ *мо*



литвъ въ I томѣ. Въ *молитвѣ*, стр. 79, поэтъ предстаетъ передъ образомъ Богоматери, не съ благодарностью иль покаяніемъ, не за себя *молитъ*, а *вручаетъ дѣву невинную теплой заступницѣ міра холоднаго*; дай ей всякаго счастья, и *сопутниковъ полныхъ вниманія*, и свѣтлую молодость, и покойную *старость* и проч.! Въ этихъ кудрявыхъ стихахъ нѣтъ ни возвышенной простоты ни искренности — двухъ главнѣйшихъ принадлежностей молитвы! Молясь за *молодую невинную дѣву*, не рано ли упоминать о *старости* и даже о смерти ея? Замѣьте *теплую* заступницу *міра холоднаго*! Какой холодный антитезъ! И, наконецъ, что за *сопутники, полные вниманія*? Это уже вовсе не у мѣста! И другая *молитва*, стр. 99, дышитъ заимствованнымъ чувствомъ; еслибъ она излилась изъ души поэта, то не была-бы обезображена такимъ диссонансомъ, какова *риема скатится и плачется*. Достаточная, даже богатая *риема*, приходитъ сама собою при истинномъ, живомъ вдохновеніи, и какое вдохновеніе чище и живѣе молитвеннаго?—Въ *томъ* отношеніи, въ какомъ мы теперь разсматриваемъ стихотворенія нашего поэта, *вѣтка Палестины*, съ перваго взгляда, кажется удовлетворительною; но если размотришь ближе, то увидишь, что пьеса, хотя и хороша, но ниже своего предмета. „Гдѣ ты росла? гдѣ ты цвѣла? Жива-ли еще *та* пальма, или увяла? Кто тебя занесъ въ этотъ край? Ты стоишь предъ иконою—*святыни вѣрный часовой*!“ Не говоря уже о томъ, какъ *невѣрно* это уподобленіе, потому что *часовой* уже по названію означаетъ стража, *смѣняемаго* въ короткое время, а, при всей важности въ военномъ смыслѣ, какъ-то не согласуется съ кроткою святостью, придаваемою *вѣтви Ерусалима*, которая завсегда остается надъ иконою—невольно спросишь себя: ужели даровитый поэтъ не могъ извлечь ничего *новаго* и занимательнѣйшаго изъ предмета столь краснорѣчиваго, и почему онъ ограничился только подражаніемъ? Оттого, что *вѣтвь Іерусалима* не дышала ему ни глубокимъ чувствомъ ни истиннымъ вдохновеніемъ. Жаль!...

Въ пьесѣ „Ребенку“ поэтъ изображаетъ грустно-занимательное положеніе и въ продолженіе двѣнадцати стиховъ вы-

держивается глубокое чувство; но вдругъ мы озадачены новымъ вопросомъ ребенку:

Слеза моя ланитъ твоихъ не обожгла-ль?

Это что-то въ родѣ *sanctae simplicitatis*! Можетъ-ли бенокъ понять духовную горячность слезы любви. Та промахнется *истинное* чувство! Оно спросило бы гораздо проще и умилительнѣе. Такъ и здѣсь только поддѣльное чувство, что подтверждается и окончательнымъ стиму отнюдь не понимаемъ, отчего дитяти *проклинать* кто когда-то любилъ его мать и еще любить съ та благоговѣніемъ къ ея обязанностямъ, что весьма остро вывѣдываетъ у ребенка, учить-ли мать его молиться *него*? Нельзя же предполагать, чтобы тутъ намекнули на что-то неприличное или порочное?

Обратимся, наконецъ, къ той хвальной пьесѣ, въ кот какъ говорятъ, такъ хорошо выражено чувство дру „Памяти А. И. Од—го“. Не найдемъ ли хоть тутъ нибудь, могущее состязаться съ чистымъ и глубокимъ ствомъ Тамерлана? Въ этой пьесѣ Лермонтовъ всего нѣе перенялъ манеру, обороты, образъ возрѣнія, а мѣ даже и собственность Пушкина; вся поэзія такъ и па и блещетъ Пушкинымъ! Восхищаясь этимъ запахомъ и блескомъ, быстро читаешь ее, напередъ увѣренный подъ этимъ наружнымъ сходствомъ должно быть и внутренее достоинство Пушкина. Но трезвое, тонкое чутье дознается, что подъ этимъ лоскомъ чувство дружбы—и пусто, и однимъ искусствомъ подражателя вадутъ; го-то заманчиваго. Начало напоминаетъ прелестную барона Дельвига:

Я зналъ ее; она была душою  
Прелестнѣй своего прелестнаго лица!

Нашъ поэтъ только-что обмакнулъ перо въ чувство вига, и опять тотчасъ предался Пушкину:

Я зналъ его: мы странствовали съ нимъ  
Въ горахъ востока и тоску изгнанья  
Дѣлили дружно!

Прекрасно!

Но къ полямъ роднымъ

*Вернулся я;*

Слово *вернулся* не въ тонъ пьесы!

И время испытанья

Промчалось законной чередой:

*Сперва* время испытанья должно было промчаться, потому уже можно было *вернуться* къ полямъ роднымъ. Поэтъ поставилъ *заднее впереди*: этотъ оборотъ называется *hysteron proteron*! Но не въ томъ дѣло! Поэтъ возвратился на родину, а другъ не „не дождался минуты сладкой!“ Онъ умеръ въ изгнаніи! *Свѣтскіе* люди здѣсь, вѣроятно, не остановятся; но тотъ, кто чувство дружбы считаетъ чѣмъ-то глубокимъ и священнымъ, замѣчаетъ тутъ весьма важный, непростительный пропускъ. Какъ? для *одного* изъ „дѣлившихъ дружно тоску изгнанія“ ударилъ часъ свободы, и нѣтъ ни единого слова сожалѣнія о томъ, что онъ не можетъ съ *другимъ* дѣлиться и восторгомъ освобожденія! Сильвіо Пелико, выходя изъ Шпильберга, хотѣлъ было взять съ собою на волю *всѣхъ* своихъ товарищей несчастія: вотъ чувство естественное, человѣческое; а чувство *друга* должно быть еще сильнѣе. У Лермонтова холодныя выраженія; *законная черед*а и—онъ не дождался часа свободы—такъ и возмущаютъ чувствительнаго читателя. Отсюда видно, что не смерть Од—го только послужила поэту поводомъ къ размышленію, и вся пьеса, по наружности, есть общее мѣсто изъ Пушкина! Въ началѣ третьей строфы есть стихъ, который будто дышитъ чувствомъ:

„Миръ сердцу твоему, мой милый Саша!

*Уменьшительное* имѣетъ здѣсь особенную прелесть! Извлекаете изъ пьесы *одинъ* этотъ *стихъ*, и онъ сдѣлается чѣмъ-то истинно трогательнымъ, будто надгробная надпись. онъ будетъ возвышенно просто и прекрасенъ. Но въ слѣдующихъ затѣмъ стихахъ, это мгновенное чувство тотчасъ выдыхается въ пустой, надутой метафорѣ:

Покрытое землею чужихъ полей,  
Пусть тихо спитъ оно (сердце друга) какъ дружба наша  
Въ нѣмомъ кладбищѣ памяти моей!

Говорятъ: *на* кладбищѣ, а не *въ* кладбищѣ! Но что за *кладбище памяти*? Кладбище сердца можно бы допустить, потому что, въ переносномъ смыслѣ, можно схоронить друга въ своемъ сердцѣ. Но *память* есть нѣкая область *бессмертія*, тихой свѣтлой *жизни*, среди тревожной смертности; тамъ для насъ *живы* наши умершіе друзья! Она ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть *кладбищемъ*! Если мы забываемъ кого, то это значить, что онъ *выбылъ* изъ нашей памяти.

Оставляя неудачные поиски *чистаго* и *свѣтлаго* по піесамъ яснаго и понятнаго содержанія, погадаемъ мимоходомъ о небольшомъ стихотвореніи, смыслъ котораго загадоченъ и теменъ. Вотъ оно:

*Сосна* (Томъ II, стр. 123).

На сѣверѣ дикомъ стоитъ одиноко  
На голой вершинѣ сосна,  
И дремлетъ, качаясь, и снѣгомъ сыпучимъ  
Одѣта, какъ ризой, она.  
И снится ей все, что въ пустынѣ далекой,  
Въ томъ краѣ, гдѣ солнца восходъ,  
Одна и грустна, на утесѣ горючемъ,  
Прекрасная пальма растетъ.

Отчего *сосна* (правильнѣе же сказать: *сѣсна*) дочь сѣвера, растущая на родной почвѣ, въ родной стихіи холода, свѣжая и зеленая во всякое время, и весьма къ лицу одѣтая въ ризу снѣга—отчего, спрашиваемъ, сосна все мечтаетъ о дщери жаркаго климата, о пальмѣ, которая также растетъ у себя дома и дышитъ роднымъ зноемъ и не кстати *груститъ* въ этой пѣсчкѣ? Мы не видимъ ни мѣтѣйшей умственной связи между этихъ двухъ предметовъ! Не все ли равно, что сказать лапландка все мечтаетъ о бедуинкѣ? или бѣлая медвѣдица Ледовитаго моря о стройной газели въ жаркихъ ливійскихъ пескахъ? Между тѣмъ нельзя не почувствовать, что поэтъ хотѣлъ тутъ сказать что-то очень

милое и нѣжное, и только ошибся въ выборѣ предметовъ, и въ формѣ и способахъ выраженія. Не взирая на столь важный недостатокъ, скажемъ поэту искреннее спасибо за пьеску, которая, касаясь одной изъ важнѣйшихъ струвъ сердца, побуждаетъ насъ по своему пояснять и разгадывать мысль автора.

Пора перейти къ байронизму Лермонтова и къ тѣмъ стихамъ, гдѣ онъ всегда искрененъ, и поэтому почти всегда силенъ и увлекателенъ, и всего болѣе *поэтъ*. Аналогія, выводимая (въ пьесѣ XXX, стр. 151, томъ II) между *кинжаломъ* и *поэтомъ*, вполне характеризуетъ нашего автора. *Хаджи Абрекъ*, первое его произведеніе, еще довольно слабое, уже очень силенъ мстительною злобою черкеса: онъ клянется что за единый мщенія часъ онъ не взялъ бы вселенной. Можетъ статься, это и въ нравахъ черкесовъ; но если *Хаджи Абрекъ* (томъ I, стр. 16) уже завесъ кинжалъ на врага и отложилъ свою месть, подумавъ, что минутная гибель врага есть мщеніе самое пустое, что надобно отыскать *ту*, которую онъ любитъ или когда-нибудь *полюбитъ*, и поразить именно *этотъ* предметъ, дабы врагъ его порядкомъ настрадался въ своей душѣ, — то мы здѣсь видимъ утонченный варваризмъ байронистовъ, неудачно приносивъ къ простой, гораздо болѣе человѣческой суровости кавказскихъ дикарей — удвоенный варваризмъ, очень прискорбный въ *дебютъ* поэта-юноши! Не всегда довольствуясь байронизмомъ Пушкина, Лермонтовъ часто доходитъ до самаго источника дикихъ и страшныхъ ощущеній: это видно во второмъ (по хронологическому порядку) стихотвореніи его: „*Бояринъ Орша*“. Здѣсь отецъ предаетъ свою — только въ женской слабости виновную дочь — *голодной смерти*, заперши накрѣпко дверь ея свѣтлицы и бросивъ ключъ въ Днѣпръ. Это вовсе не въ нравахъ русскихъ! Бояринъ временъ Грознаго, послѣ родительскаго *поученьища* или выдалъ бы ее поскорѣе замужъ или заключилъ бы въ монастырь; но тогда бы мы не имѣли всей этой страшной поэмы, не имѣли бы байроновской сцены, гдѣ любовникъ, съ помощью разбойниковъ и польскихъ удалцовъ, побѣдивъ

отца и насмотрѣвшись на дикую кончину его, спѣшитъ освободить свою милую и, среди самыхъ сладостныхъ ожиданій, наткнулся на обезображенный, червями давно изѣданный трупъ ея. Посмотрите: желтый черепъ безъ очей, густая длинная, рассыпчатая коса, кой-гдѣ прилипнувшая къ сухимъ костямъ!... Два такихъ *первенца* юной, даровитой Музы—право грустно! Однако, должно замѣтить, что авторъ, вѣроятно, думалъ уничтожить эту поэму, ибо перенесъ изъ нея множество лучшихъ стиховъ въ свою позднѣйшую пьесу: „*Мицри*“. Если издатели не хотѣли воспользоваться этимъ намекомъ, то, по крайней мѣрѣ, сдѣлали хорошо, помѣстивъ подлѣ ужаснаго Орши милую *Казначейшу*, легкій юмористическій рассказъ въ Онѣгинской формѣ. Хотя и юморъ этотъ также основанъ на происшествіи, невыгодномъ для нравовъ, но подобную вѣтренность охотно прощаешь послѣ тяжелаго отъ Орши впечатлѣнія.— Отыщемъ теперь автора Хаджи и Орши въ образованномъ свѣтѣ, въ столичной людскости, въ стихотвореніи его: „Первое января“. Посреди блистательнаго общества, гдѣ *давно безтрепетныя* руки городскихъ красавицъ съ небрежной смѣлостью касаются *холодныхъ* рукъ нашего поэта, онъ глубоко,—но весьма не у мѣста—погружается въ живописную сельскую мечту —на *праздникъ незванную гостью*,—поэтъ вспыхнулъ, какъ сынъ Кавказа.

„О, какъ мнѣ хочется смутить веселость ихъ,  
И дерзко бросить имъ въ глаза *железный* стихъ,  
Облитый горечью и злостью!

Любуйтесь, сколько вамъ угодно, этими стихами, но мы вамъ скажемъ, во 1-хъ, что такая неумѣстная въ обществѣ и даже неестественная злость испортила милое стихотвореніе, и есть пустое жеманство со стороны поэта, который жилъ *въ свѣтѣ* и *для свѣта*, и талантомъ, остроуміемъ, молодчествомъ всячески старался о томъ, чтобы имя его было всегда, какъ говорится: *au haut de la conversation*; а во 2-хъ, что *железный* стихъ, облитый чѣмъ-бы то ни было, есть неудачное выраженіе. Представьте себѣ злость въ видѣ *жидкости*: будетъ *желчь*! и теперь эта желчь, теку-

щая по желѣзной полосѣ стиха—право, не хорошо! Но, безъ этой влаги, очень хорошъ самъ по себѣ, *железный стихъ*; и если непременно нужно, еще поддавать жару и силы, то *раскалите* его злостью, или чѣмъ угодно, и пустите въ глаза милымъ красавицамъ, встрѣчающимъ, какъ и вы, Новый годъ у хлѣбосольнаго N. N. — Критика должна указать на подобныя выходки, гдѣ изъ-за энергіи не замѣчаютъ *безвкусія*, и которыя такъ и вызываютъ раздражителей.

Слѣдовало бы еще замѣтить многое,—по нашему мнѣнію, ложное, затемнявшее поэзію Лермонтова до такой степени, что онъ (см. „Любовь Мертвеца“) и туда (въ тотъ міръ) *перенесъ съ собою земныя страсти*; что и тамъ ему не надо *мира и покоя*;—*замѣтитъ*, для предостереженія юныхъ талантовъ... Но довольно! Мы исполнили печальный долгъ добросовѣстнаго критика, и теперь позволяемъ себѣ отдохнуть на тѣхъ произведеніяхъ нашего поэта, гдѣ мы можемъ, *вмѣстѣ съ публикою*, радоваться его таланту.

Въ собраніи его стихотвореній единственная въ своемъ родѣ „Пѣсня про Царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова“. Эти чисто-русскіе и древне-русскіе звуки производятъ самый пріятный эффектъ посреди европейскихъ мелодій байронизма!—Пѣсня была написана до смерти Пушкина; слѣдственно, авторъ повернуть было на путь самобытнаго развитія. *Пустую* эпическую форму Кирши Данилова наполнилъ онъ прекраснымъ, свойственнымъ ей *содержаніемъ*: мысль оригинальная и неожиданная отъ молодого поэта, уже привыкшаго къ опіату поэзіи Хаджи и Орши. По исторіи извѣстно, что и самъ Иванъ Васильевичъ и опричники его не очень уважали святость брачныхъ узъ; тѣмъ болѣе похвалы заслуживаетъ авторъ, который сумѣлъ ихъ облагородить, сохраняя основную черту ихъ историческаго характера. Казнь Калашникова достаточно рисуетъ *Грознаго*; но, къ счастью, онъ спасается здѣсь видомъ справедливости, ибо Калашниковъ благородно признался, что онъ *вольною волею* убилъ опричника въ кулачномъ бою. А похвала царская за этотъ отвѣтъ по совѣсти, и милость семейству и братьямъ каз-

нимаго, и самому Калашникову въ томъ, что казнь будетъ совершена отъ нарядно-одѣтаго палача и при звонѣ въ большой колоколъ, все это придаетъ царю и историческое его величіе. Кирибѣевичъ объявляетъ себя настоящимъ опричникомъ въ поступкѣ съ женою купца; но авторъ сдѣлалъ его занимательнымъ сильною страстію его: онъ груститъ даже на пиру царскомъ, и съ теплаго мѣстечка опричника просится въ степи привольныя.

На житѣ на вольное, на казацкое!  
 Чтобы сложить буйную голову на копье бусурманское;  
 Мои очи слезныя коршунъ выклюетъ,  
 Мои кости сырыя дождикъ вымоетъ,  
 И безъ похоронъ горемычный прахъ  
 На всѣ стороны развѣется...

Замѣьте еще, съ какимъ искусствомъ авторъ умѣлъ скрыть главную часть вины опричника, влагая рассказъ объ этомъ въ уста купчихи; одно *то*, что она рассказываетъ, не могло задержать ее такъ долго... Уже нечего мужу расспрашивать: онъ знаетъ *опричниковъ*! Выказывать ясно между строками *то*, чего не написано, есть рѣдкое искусство!

„Дары Терека“ прекрасная содержаніемъ *баллада*, хотя и не носить этого наименованія. Здѣсь чувствуешь и внутреннюю форму Пушкина. Право, не страсть къ мелочной критикѣ, а желаніе добра юнымъ поэтамъ побуждаетъ насъ быть строгими именно къ лучшимъ пьесамъ, которыхъ недостатки скорѣе могутъ расплодиться въ подражателяхъ. Къ сожалѣнію, мы и въ „Дарахъ Терека“ находимъ нѣсколько странныхъ промаховъ и недосмотровъ!

Терекъ воетъ, дикъ и злобенъ  
 Межъ утесистыхъ громадъ,  
 Бурѣ *плачь* его подобенъ,  
 Слезы брызгами летять.

*Плачь* тутъ вовсе нейдетъ: для чего плакать Тереку? да и въ самой пьесѣ мы не видимъ ни малѣйшей тому причины. Онъ воетъ отъ избытка своихъ дикихъ силъ, какъ



левъ реветъ въ пустынь. Это неудачное подражаніе стихамъ Пушкина о бурѣ:

То какъ звѣрь она завоетъ,  
То заплачетъ, какъ дитя.

Далѣе, авторъ, позабывъ, что Терекъ уже не злится, а съ лукавой лаской говоритъ Морю-Каспію, опять называетъ его *сердитымъ*. На Терекъ всплываетъ *бѣла, какъ снѣгъ, голова*, съ размытою косою; это голова молодой казачки! Мы этого не понимаемъ: только у *старухи* могла быть *бѣлая какъ снѣгъ голова*! Поэтъ, вѣроятно, хотѣлъ сказать *лицъ*, ибо головы, *покрытой* чѣмъ-то бѣлымъ, нельзя назвать *бѣлою* головою. Каспій разыгралъ, *веселья полный*; отчего же онъ этотъ милый ему даръ принялъ съ *ропотомъ*?

Самой оригинальной, по вымыслу, и лучшею, по отдѣлкѣ, считаемъ пьесу: „Сказка для дѣтей“. Она также въ чистомъ стилѣ Пушкина, и весьма заманчиваго содержанія, но вовсе не сказка для *дѣтей*!

Въ числѣ замѣчательныхъ пьесъ автора мы назовемъ: „Споръ“, „Любовь Мертвеца“, „Родину“ и „Казачью колыбельную пѣсню“.

Весь третій томъ занимаетъ „Маскарадъ“, драма въ 4-хъ дѣйствіяхъ, въ стихахъ. Это одна изъ первыхъ пьесъ молодого поэта, принадлежащихъ къ эпохѣ Хаджи-Абрека и боярина Орши; поэтому мы ограничиваемся только замѣчаніемъ, что авторъ въ этой *драмѣ* показываетъ менѣе драматическаго таланта, нежели въ упомянутой пѣснѣ про царя Ивана Васильевича.

Въ заключеніе нашей статьи поговоримъ о пьесѣ „Мцыри“.

Съ тѣхъ поръ, какъ вліяніе Байрона проникло и къ намъ, Кавказъ сдѣлался нашимъ Парнасомъ. Двухъ лучшихъ нашихъ поэтовъ, Пушкина и Марлинскаго, судьба, видно, не безъ умысла откинула именно въ этотъ край, гдѣ они всего лучше и всего полезнѣе могли развѣдывать байронизмъ: кавказскіе дикари, всѣ до единаго, суть *природные* Байроны, точно *отъ* природы и посреди природы самой байронической! Тамъ наши поэты могли съ *натуры*, съ

пластической натуры, списывать суровые идеалы англійскаго лорда, который самъ былъ только *искусственнымъ* Байрономъ. Пушкинъ сдѣлалъ счастливую въ горы экспедицію своимъ „Кавказскимъ Пѣнникомъ“, а грандіозный Марлинскій—геніальнѣйшій изъ русскихъ писателей—рѣшительно завоевалъ весь этотъ край и всю природу горцевъ, покорилъ своему генію *все*, отъ духовъ высочайшихъ горъ и гномовъ сокровеннѣйшихъ ущелій до всего поэтическаго и молодецкаго въ нравахъ и въ душѣ сыновъ Кавказа! Что, послѣ двухъ *такихъ* геніевъ, оставалось для третьяго поэта, одареннаго только *талантомъ*, хотя и весьма замѣчательнымъ? Здѣсь Лермонтовъ обнаруживаетъ прекрасный даръ изобрѣтенія. Онъ беретъ у черкесовъ шестилѣтняго ребенка и отдаетъ въ грузинскій монастырь. Въ этихъ стѣнахъ, среди торжественной тишины святого житія, шире и свободнѣе развивается огненная сила души черкесской и врожденная любовь къ дикой, необузданной волѣ.— „Въ тюрьмѣ“—сказалъ Шиллеръ—„сняты лучшія мечты о волѣ!“ И дѣйствительно, если слабая душа скоро подчиняется внѣшнимъ условіямъ, то, наоборотъ, внѣшнія, именно стѣснительныя условія безпрестанно побуждаютъ твердый характеръ къ сопротивленію, къ ранней умственной гимнастикѣ, развивающей жизненную силу души до неимоверной степени. Этотъ дикій, молчаливый, никогда не плакавшій отрокъ, сталъ *юноша*. Наконецъ, упорная неизмѣнность и вѣковѣчность этихъ внѣшнихъ условій, и окрещеніе въ христіанство, и успокоительное вліяніе его начинаетъ брать свое: юный черкесъ готовится въ монахи, повѣривъ, вѣроятно, что только религія можетъ насытить ненасытную душу. Но когда разразилась такая страшная гроза, что въ монастырѣ всѣ трепетали и молились у алтарей Божіихъ, духъ юнаго черкеса воспрянулъ въ первобытной силѣ и съ дикимъ восторгомъ откликнулся на голосъ грома... И юноша бросился вонъ изъ душныхъ стѣнъ, въ лѣса, въ вольную природу—чтобы *пожить*, подышать свѣжестью открытаго міра, распахнуть широко всю душу и пламенные, столько лѣтъ въ ней крѣпко запертыя чувства неограниченной воли

*выпустить* на волю неограниченную... И онъ пожилъ на дикой волѣ, такъ роскошно пожилъ, что издержалъ въ *три дня* весь огромный запасъ душевныхъ силъ, Провидѣніемъ рассчитанный на цѣлый вѣкъ вольнаго черкеса,—и нашли юношу въ лѣсахъ безъ чувствъ, и отнесли его назадъ въ монастырь, гдѣ онъ очнулся, рассказалъ иноку всю повѣсть —и скончался. Разсказъ о томъ, какъ онъ прожилъ эти *три дня* дикой воли, составляетъ предметъ пьесы „Мцыри“. Какой поэтическій предметъ! Какъ чудесно онъ пришелся по душѣ байроническаго поэта! Признаемся: если-бъ Лермонтовъ надлежащимъ образомъ выполнилъ *эту* задачу, то мы не только подписали-бы охотно большую часть похвалъ, расточаемыхъ ему въ нѣкоторыхъ журналахъ, но и поставили-бы его смѣло на-ряду съ пѣвцомъ „Шильонскаго Узника“, послужившаго ему образцомъ для этого стихотворенія. Но именно въ этой пьесѣ, гдѣ проявляется столько силы, видна совершенная неопытность въ искусствѣ! Для чего было такъ ужасно растянуть разсказъ? Отсюда протекаетъ неудача! Пьеса долженствовала-бы быть въ половину короче, ибо, по идеѣ ея, всякій стихъ требовалъ силы гиганта. Лишь одно авторъ постигъ хорошо: что изъ пьесы подобнаго содержанія должна быть исключена *женская* рѣма; но напрасно онъ мѣстами прибавляетъ *третью* рѣму: она чрезвычайно непріятна. Воспламененный своимъ предметомъ, поэтъ штурмуетъ его въ иррегулярныхъ порывахъ, то побѣждаетъ до геніальности, то отпадаетъ до слабости; опять штурмуетъ титански и опять опрокинуть, и послѣ долгой, мучительной борьбы, падаетъ, наконецъ, подъ великою непосильною тяжестью предмета: это Сизифъ съ своимъ огромнымъ камнемъ!—Нашъ поэтъ, какъ мы замѣтили выше, обобралъ своего Оршу для Мцыри; если-бъ онъ пожилъ еще нѣсколько лѣтъ, онъ навѣрное обобралъ-бы и Мцыри для *лучшей* пьесы въ этомъ родѣ, или переделалъ-бы Мцыри. Стоило-бы только выкинуть слабые стихи, а сильные и геніальные привести въ стройный порядокъ; иное прибавить (напримѣръ: какимъ образомъ онъ достался русскимъ? вѣроятно, по истребленіи аула. Онъ

припоминаетъ обстоятельства меньшей важности, а *этого нѣтъ!*), иное болѣе развить, какъ то чувство любви къ грузинкѣ, чувство столь сильное, что темнота ночи смотрѣла *милліономъ черныхъ глазъ*; и постепенно воспламеняясь до битвы съ барсомъ, послѣ немногихъ сильныхъ стиховъ принять послѣдній вздохъ Мцыри и кончить энергическимъ размышленіемъ надъ холоднымъ трупомъ *того*, въ комъ за нѣсколько минутъ передъ тѣмъ кипѣла и бушевала такая необъятная сила жизни. Право, голова кружится, когда воображаешь, что могъ-бы сдѣлать нашъ поэтъ изъ *такого* сюжета, если-бы еще пожилъ, образовалъ свой вкусъ и окрѣпъ-бы въ зачинающейся гениальности! Эта странная, послѣ битвы съ барсомъ, „мечта о золотой рыбкѣ, поющей ему балладу въ Гетевскомъ родѣ“, такъ чужда предмету, что наводитъ досадное разочарованіе; но все-таки остается отъ пьесы такъ много прекраснаго въ памяти читателя что во всемъ собраніи стихотвореній Лермонтова, предпочтительно этотъ „Мцыри“ заставляетъ сожалѣть—о ранней кончинѣ поэта.

Баронъ Розень.

\*  
\* \*

\*) Извините, если я еще разъ стану говорить о Лермонтовѣ. Лѣтопись ужъ столько разъ о немъ говорила столько разъ молчала, и всегда съ полнымъ уваженіемъ какъ и должно говорить и молчать о чловѣкѣ съ дарованіемъ,—съ большимъ, прекраснымъ дарованіемъ, которое еще не развилось во всей полнотѣ и силѣ своей, не упрочилось, не нашло своей настоящей дороги, но обѣщало вскорѣ явиться самостоятельнымъ и могущественнымъ. Много, очень много не доставало еще Лермонтову, какъ поэту, между прочимъ литературнаго образованія, немножко хорошихъ свѣдѣній, немножко классической учености, столь полезной для вкуса, для силы и изящества мысли, даже для разнообразія воображенія: но Лермонтовъ приобрѣлъ-бы

\*) „Библіотека для Чтенія“ 1843 г., т. 56. „Стихотворенія Лермонтова“.

все это непременно, и приобрѣлъ-бы очень скоро, потому что, написавъ шутя пару томиковъ стиховъ и прозы, онъ ужъ начиналъ чувствовать и отгадывать существованіе искусства. Между тѣмъ, какъ его унижали, какъ поносили! какъ усердно старались уничтожить!.. Этими ушами, этими глазами, самъ я слышалъ, самъ видѣлъ, какъ недоброжелательно называли его... съ позволенія сказать... *Байрономъ*! Какъ будто-бы у Лермонтова былъ только одинъ изъ тѣхъ сомнительныхъ талантовъ, которые позволено всякому производить въ Гомеры, Шекспиры или Байроны по своему усмотрѣнію, не зная ни Шекспира ни Байрона!.. Скажите пожалуйста, Лермонтовъ—Байронъ! Какъ это можно! Да кто нынче не Шекспиръ, не Гомеръ, не Байронъ?.. Лермонтовъ былъ лучше всѣхъ настоящихъ и будущихъ Байроновъ: онъ уже начиналъ быть поэтомъ съ оригинальнымъ дарованіемъ, настоящимъ поэтомъ. О, бѣдный Лермонтовъ! зачѣмъ ты умеръ такъ скоро? Ты торжественно доказалъ-бы твоимъ недоброжелателямъ, что ты вовсе не Байронъ. Ты былъ-бы украшеніемъ родной словесности, кромѣ того, ты не допустилъ-бы враговъ твоей славы до послѣдней обиды, которую теперь нанесли они ей, эти Геростраты.

Извините, если я заговорилъ здѣсь о Геростратахъ. Это по случаю новаго изданія „Стихотвореній“ Лермонтова. Но я не знаю, какъ назвать иначе тѣхъ, которые, ради спекуляціи, нарушаютъ послѣднюю волю только что скончавшагося таланта, его литературное завѣщаніе. Лермонтовъ оставилъ завѣщаніе, утвержденное пятьюдесятью тысячами свидѣтелей. Это завѣщаніе—изданное имъ самимъ передъ смертью собраніе его стихотвореній... Въ немъ помѣстили онъ все, что считалъ достойнымъ себя и читателей изъ первыхъ своихъ опытовъ. Остальное онъ благоразумно предалъ забвенію. По какому же праву, едва закрылъ онъ глаза, спекуляція тотчасъ исторгаетъ изъ забвенія всѣ эти неудавшіяся, непризнанныя пробы юнаго пера, перемѣшиваетъ ихъ съ хорошими и признанными сочиненіями, составляетъ изъ этого безвкусную кашу, и издаетъ ее въ трехъ те-

традкахъ или, какъ говорится, въ высокомъ книгопродавческомъ слогѣ. въ трехъ *частяхъ*? Кто разрѣшилъ спекуляціи затмевать блескъ этого таланта тѣмъ, что онъ передъ кончиною старался самъ скрыть отъ публики? Что это такое? необдуманное-ли усердіе или коварная злоба?... Разобрать трудно: но, я думаю, тутъ нѣтъ ни усердія ни злобы, а просто спекуляція. Новое изданіице! Три *части*, вмѣсто двухъ-съ! Портретецъ автора-съ! Пойдетъ!... Вотъ вся исторія.

Извините теперь, если я буду говорить о такомъ новомъ изданіи. Но въ немъ очень много новаго. Первая новость—предисловіе, въ которомъ ничего не сказано. Вторая новость—приблизительный портретъ автора. Третья новость—хронологическій списокъ стихотвореній Лермонтова. Спекуляція считаетъ это прибавленіе чрезвычайно важнымъ, потому что хронологическій списокъ осуществленъ искусствомъ издателей отдѣльно и независимо отъ хронологіи, означенной цифрами подъ каждою пьесою. Этотъ хронологическій списокъ придаетъ книгѣ видъ ужасно ученаго изданія. Что Валькенеръ сдѣлалъ для Горация, то искусство издателей, еще съ большимъ напряженіемъ учености, сдѣлало теперь для Лермонтова. Какого труда это стоило искусству издателей!

„Благодаримъ!  
Благодаримъ!...“

И какъ пріятно читателю, взглянувъ на хронологическій списокъ, сказать съ чувствомъ: „—Ахъ, Лермонтовъ написалъ драму „*Маскарадъ*“ въ 1835 году, а изъясилъ *Желаніе* въ 1841...“

Лермонтовъ написалъ цѣлую драму? спроситъ читатель.—Да! Не только драму, но и поэмъ и романъ. Романъ не вошелъ въ это изданіе, потому что романъ не стихотвореніе, а драма—стихотвореніе: она въ стихахъ!

И поэма тоже въ стихахъ? спроситъ читатель.—И поэма тоже. Лермонтовъ не дожилъ еще до изображенія поэмъ безъ стиховъ.

Откуда же взялись цѣлая поэма, цѣлая драма Лермонтова?

Какъ, откуда? Спекуляція искусна въ некроманціи. Она прибѣгаетъ къ колдовству, вызываетъ тѣни умершихъ писателей и на колѣняхъ умоляетъ ихъ: „Смилуйтесь, великіе писатели, скажите, гдѣ, въ какомъ журналѣ, въ какомъ-нибудь сирятили вы первую свою большую поэму? Быть не можетъ, чтобы, вышедши изъ училища, или еще въ училищѣ, прежде, чѣмъ начали вы писать коротенькіе пьески, не написали хоть одной эпопеи, хоть одной трагедіи? Куда забрили вы эти сокровища, которыми можно увеличить объемъ вашихъ новыхъ изданій?“ „Отстань, искушительница!“ отвѣчаютъ спекуляціи великіе писатели, *come persone acorte*. — „Не отстану!“ кричитъ она: „я произнесу магическія слова и заставлю васъ вытрясти передо мною изъ гробовъ вашихъ все до послѣдней строчки! я обшарю всѣ ваши карманы! я изъ дна Тартара добуду все, что вы прячете, какъ недостойное себя и что между тѣмъ я могу продать любопытству на чистыя деньги!“ — „Отстань, не срами насъ передъ людьми, не тревожь нашего вѣчнаго покоя! отвѣчаютъ тѣни великихъ писателей: мы—люди мертвы, мы—мертвыя души. „Мертвые!“ восклицаетъ спекуляція. А въ писаніи сказано: *мертвые бо сраму не имутъ*. Слѣдственно, я безъ спросу воспользуюсь всѣмъ, что скрываете, выскребу изъ всего всѣ журналы, всѣ портфели, всѣ столики, и буду торговать, не только вашими литературными грѣхами, но и вашими любовными записочками, счетами вашихъ прачекъ.“

Вотъ исторія всѣхъ посмертныхъ изданій, всѣхъ *oeuvres posthumes*, и вотъ гдѣ опечаленный читатель находитъ жасную разницу между безсмертнымъ и посмертнымъ лицомъ своего воображенія. Такимъ образомъ и драма Лермонтова увидѣла дневной свѣтъ. Самая хронологія ея, 1835 годъ, показываетъ, что это одинъ изъ первыхъ опытовъ еще совершенно неопытной юности. Впрочемъ, въ этомъ чрезвычайно слабомъ опытѣ есть уже прекрасныя мѣста, предвѣщавшія будущій талантъ.

Князь Звѣздичъ попался въ шайку картежниковъ, и про-

игрался; но является Арбенинъ, нѣкогда знаменитый игрокъ, ни съ того ни съ другого обьегориваетъ картежниковъ, и возвращаетъ деньги князю. Безкорыстіе мѣологическое! Но и князь и Арбенинъ герои нашего времени: слѣдственно имъ все не въ радость; ихъ мучать и хандра, и сплинъ, и меланхолія, и ипохондрія, и романтизмъ, всѣ черныя немощи студентовъ. Само собою разумѣется, они ѣдутъ въ маскарадъ. Тутъ одна дамская маска потеряла браслетъ, а другая подняла и, какъ будто свой, подарила князю. Само собою разумѣется, князь по уши влюбился въ маску, и показалъ браслетъ Арбенину. Арбенинъ, возвращаясь домой, отсылаетъ слугу:

„Иди, свѣчу

Поставь на столъ. Какъ будетъ нужно, я *вскричу*.  
(Слуга уходитъ; онъ садится въ кресла).

Богъ справедливъ! и я теперь едва-ли  
Не осужденъ нести печали  
За всѣ грѣхи минувшихъ дней.  
Бывало, такъ меня чужія жены ждали,  
Теперь я жду жены своей...  
Въ кругу обманщицъ милыхъ я напрасно  
И глупо юность погубилъ;  
Любимъ былъ часто, пламенно и страстно,  
И ни одну изъ нихъ я не любилъ.  
Романа не начавъ, я зналъ уже развязку,  
И для другихъ сердецъ твердилъ  
Слова любви, какъ няня сказку:  
И тяжело стало мнѣ, и скучно жить!  
И кто-то подалъ мнѣ тогда совѣтъ лукавый:  
Жениться... чтобъ имѣть святое право  
Ужъ ровно никого на свѣтѣ не любить.  
И я нашелъ жену, покорное созданье.  
Она была прекрасна и нѣжна,  
Какъ агнецъ Божій на закланье,  
Мной къ алтарю она приведена...  
И вдругъ во мнѣ забытый звукъ проснулся:  
Я въ душу мертвую твою  
Взглянулъ... и увидалъ, что я ее люблю,  
И, стыдно молвить, ужаснулся!..  
Опять мечты, опять любовь  
Въ пустой груди бушуютъ на просторѣ.  
Изломанный челнокъ, я снова брошенъ въ море;  
Вернусь-ли къ пристани я вновь!..“



Послѣ этихъ прекрасныхъ стиховъ, Нина, жена Арбенина, входитъ; наступають нѣжности; Арбенинъ расчувствовался и говорить:

„Ты молода лѣтами и душою,  
Въ огромной книгѣ жизни ты прочла  
Одинъ заглавный листъ, и предъ тобою  
Открыто море счастья и зла.  
Иди любой дорогой,  
Надѣйся и мечтай—вдали надежды много,  
А въ прошломъ жизнь твоя бѣла!  
Ни сердца своего ни моего не зная,  
Ты отдалася мнѣ и любишь—вѣрю я,  
Но безотчетно, чувствами играя  
И рѣзвясь, какъ дитя.  
Но я люблю иначе: я все видѣлъ,  
Все перечувствовалъ, все понялъ, все узналъ;  
Любилъ я часто, чаще ненавиждѣлъ,  
И болѣе всего страдалъ.  
Сначала все хотѣлъ, потомъ все презиралъ я,  
То самъ себя не понималъ я,  
То міръ меня не понималъ.  
На жизни я своей узналъ печать проклятья,  
И холодно закрылъ объятъя  
Для чувствъ и счастья земли...  
Такъ годы многіе прошли.  
О дняхъ, отравленныхъ волненъемъ  
Порочной юности моей,  
Съ какимъ глубокимъ отвращеньемъ  
Я мыслю на груди твоей!  
Такъ, прежде я тебѣ цѣны не зналъ, несчастный;  
Но скоро черствая кора  
Съ моей души слетѣла—міръ прекрасный  
Моимъ глазамъ открылся не напрасно.  
И я воскресъ для жизни и добра.  
Но иногда опять какой-то духъ враждебный  
Меня уноситъ въ бурю прежнихъ дней,  
Стираетъ съ памяти моей  
Твой свѣтлый взоръ и голосъ твой волшебный.  
Въ борьбѣ съ собой, подъ грузомъ тяжкихъ думъ,  
Я молчаливъ, суровъ, угрюмъ.  
Боюсь осквернить тебя прикосновеньемъ,  
Боюсь, чтобы тебя не испугалъ ни стонъ  
Ни звукъ, исторгнутый мученьемъ.  
Тогда ты говоришь: меня не любить онъ!“

игрался; но является Арбенинъ, нѣкогда знаменитый игрокъ ни съ того ни съ другого обѣгориваетъ картежниковъ, возвращаетъ деньги князю. Безкорыстіе міеологическое! И и князь и Арбенинъ герои нашего времени: слѣдственны имъ все не въ радость; ихъ мучатъ и хандра, и сплинъ и меланхолія, и ипохондрія, и романтизмъ, всё черныя немощи студентовъ. Само собою разумѣется, они ѣдутъ въ маскарадъ. Тутъ одна дамская маска потеряла браслетъ, а другая подняла и, какъ будто свой, подарила князю. Само собою разумѣется, князь по уши влюбился въ маску, и показалъ браслетъ Арбенину. Арбенинъ, возвратясь домой, отсылаетъ слугу:

„Иди, свѣчу

Поставь на столъ. Какъ будетъ нужно, я *вскричу*.

(Слуга уходитъ; онъ садится въ кресла).

Богъ справедливъ! и я теперь едва-ли

Не осужденъ нести печали

За всѣ грѣхи минувшихъ дней.

Бывало, такъ меня чужія жены ждали,

Теперь я жду жены своей...

Въ кругу обманщицъ милыхъ я напрасно

И глупо юность погубилъ;

Любимъ былъ часто, пламенно и страстно,

И ни одну изъ нихъ я не любилъ.

Романа не начавъ, я зналъ уже развязку,

И для другихъ сердецъ твердилъ

Слова любви, какъ няня сказку:

И тяжело стало мнѣ, и скучно жить!

И кто-то подаль мнѣ тогда совѣтъ лукавый:

Жениться... чтобъ имѣть святое право

Ужъ ровно никого на свѣтѣ не любить.

И я нашелъ жену, покорное созданье.

Она была прекрасна и нѣжна,

Какъ агнецъ Божій на закланье,

Мной къ алтарю она приведена...

И вдругъ во мнѣ забытый звукъ проснулся:

Я въ душу мертвую твою

Взглянулъ... и увидалъ, что я ее люблю,

И, стыдно молвить, ужаснулся!..

Опять мечты, опять любовь

Въ пустой груди бушуютъ на просторѣ.

Изломанный челнокъ, я снова брошенъ въ море;

Вернусь-ли къ пристани я вновь!..“

Послѣ этихъ прекрасныхъ стиховъ, Нина, жена Арбенина, входитъ; наступаютъ нѣжности; Арбенинъ расчувствовался и говоритъ:

„Ты молода лѣтами и душою,  
Въ огромной книгѣ жизни ты прочла  
Одинъ заглавный листъ, и предъ тобою  
Открыто море счастья и зла.  
Иди любой дорогой,  
Надѣйся и мечтай—вдали надежды много,  
А въ прошломъ жизнь твоя бѣла!  
Ни сердца своего ни моего не зная,  
Ты отдалася мнѣ и любишь—вѣрю я,  
Но безотчетно, чувствами играя  
И рѣзвясь, какъ дитя.  
Но я люблю иначе: я все видѣлъ,  
Все перечувствовалъ, все понялъ, все узналъ;  
Любилъ я часто, чаще ненавиждѣлъ,  
И болѣе всего страдалъ.  
Сначала все хотѣлъ, потомъ все презиралъ я,  
То самъ себя не понималъ я,  
То мѣръ меня не понималъ.  
На жизни я своей узналъ печать проклятья,  
И холодно закрылъ объятъя  
Для чувствъ и счастья земли...  
Такъ годы многіе прошли.  
О дняхъ, отравленныхъ волненьемъ  
Порочной юности моей,  
Съ какимъ глубокимъ отвращеньемъ  
Я мыслю на груди твоей!  
Такъ, прежде я тебѣ цѣны не зналъ, несчастный;  
Но скоро черствая кора  
Съ моей души слетѣла—мѣръ прекрасный  
Моимъ глазамъ открылся не напрасно.  
И я воскресъ для жизни и добра.  
Но иногда опять какой-то духъ враждебный  
Меня уноситъ въ бурю прежнихъ дней,  
Стираетъ съ памяти моей  
Твой свѣтлый взоръ и голосъ твой волшебный.  
Въ борьбѣ съ собой, подъ грузомъ тяжкихъ думъ,  
Я молчаливъ, суровъ, угрюмъ.  
Боюся осквернить тебя прикосновеньемъ,  
Боюся, чтобы тебя не испугать ни стономъ  
Ни звукомъ, исторгнутый мученьемъ.  
Тогда ты говоришь: меня не любить онъ!“

и оригинальность мысли съ необыкновеннымъ изяществомъ формы, что многіе видѣли въ *будущемъ* Лермонтовъ явленіе утѣшительное для русской литературы. Идѣйствительно уже и въ томъ, что оставилъ намъ Лермонтовъ, замѣтно много элементовъ, которыхъ до него не было въ русской поэзіи и которые умерли съ нимъ вмѣстѣ,—что же могло еще развиться впослѣдствіи изъ его глубокаго, безпокойно-пытливаго духа?... А Лермонтовъ только начиналъ писать, каждое послѣдующее его произведеніе далеко за собою оставляло предыдущее... Какъ человѣкъ высшей натуры, — Лермонтовъ, *съ тѣхъ поръ, какъ созналъ свое дарованіе и овладѣлъ имъ*, не подражалъ и не могъ подражать никому ни въ формѣ своихъ произведеній ни въ идеяхъ, если только въ идеяхъ возможно допустить подражаніе. Идеи у Лермонтова, какъ мы уже сказали, были свои, въ высшей степени оригинальныя,—противъ чего никто уже нынче не спорить; отсюда очевидна невозможность подражанія и въ формѣ: тѣсно было бы свободной самобытной мысли въ оковахъ подражанія.

Много блестящаго и отраднаго обѣщало дальнѣйшее развитіе его таланта... Но увы!—русская литература родилась подъ несчастной звѣздой: цвѣтутъ въ ней репейникъ и терніи въ изобиліи, невѣжество и шарлатанство нерѣдко доживаютъ въ ней до сѣдыхъ волосъ, которыми нагло хвастаютъ и за которые требуютъ себѣ особеннаго почета и уваженія, а талантъ меркнетъ на самой зарѣ, едва взглянувши на Божій міръ...

Лучшія стихотворенія, написанныя Лермонтовымъ, въ продолженіе его краткой литературной жизни, были напечатаны въ 1840 году, по его собственному выбору. Поэтъ былъ строгъ къ самому себѣ, и книжечка вышла весьма небольшая.—Лермонтовъ чувствовалъ въ себѣ много силы творческой, и не хотѣлъ являться въ свѣтъ съ произведеніями, которыя признавалъ ниже своего таланта, но теперь, когда поэта не стало, всякая строка его сдѣлалась драгоценною, и потому нельзя не поблагодарить издателей за то, что они собрали и издали *все* стихотворенія Лермонтова, какія только

И сердце было полно, полно  
Невыразимою тоской.  
Въ чертахъ спокойствіе и дѣтская безпечность,  
Улыбка вѣчная тихонько расцвѣла,  
Когда предъ ней открылась вѣчность,  
И тамъ свою судьбу душа ея прочла.  
Ужель я ошибался?—Невозможно!  
Мнѣ—ошибиться?—Кто докажетъ мнѣ  
Ея невинность?—ложно! ложно!  
Гдѣ доказательства?—есть у меня они!  
Я не повѣрилъ ей—кому же стану вѣрить?  
Да, я былъ страстный мужъ, но былъ судья  
Холодный.—Кто-же разувѣритъ  
Меня осмѣлится?

*Неизвѣстный.*

Осмѣлюсь—я!“

Послѣ объясненія Арбенинъ, само собою разумѣется, сошелъ съ ума, неизвѣстный отомщенъ, и только одинъ князь недоволенъ, потому что онъ безъ всякаго возмездія остается при пощечинѣ, чѣмъ „Стихотвореніе“ и заключается.

Несмотря на нѣсколько хорошихъ стиховъ, нельзя не признать этой драмы само-слабѣйшимъ опытомъ Лермонтова. Другія прибавленія къ первому изданію, вышедшему при жизни поэта, не лучше драмы. Но развѣ Лермонтовъ виноватъ этому? Само собою разумѣется, виновата спекуляція!

*Изъ „Библиотеки для Чтенія“ за 1843 г.*

\* \*

\*) Не много въ самую цвѣтущую пору своей поэтической дѣятельности писалъ Лермонтовъ, но на всемъ, что онъ писалъ, рѣзко лежитъ отпечатокъ таланта крѣпкаго и само-бытнаго. Поэтъ такъ сознательно шелъ по своему пути, такъ гордо владѣлъ собою, такъ разумно и свободно умѣлъ подчинять идеѣ свои прихотливые порывы, сочетать глубину

\*) „Литературная Газета“ 1843 г., № 9. „Русская Литература“ (О стихотвореніяхъ Лермонтова).

и оригинальность мысли съ необыкновеннымъ изяществомъ формы, что многіе видѣли въ *будущемъ* Лермонтовъ явленіе утѣшительное для русской литературы. Идѣйствительно уже и въ томъ, что оставилъ намъ Лермонтовъ, замѣтно много элементовъ, которыхъ до него не было въ русской поэзіи и которые умерли съ нимъ вмѣстѣ,—что же могло еще развиться въ послѣдствіи изъ его глубокаго, безпокойно-пытливаго духа?... А Лермонтовъ только начиналъ писать, каждое послѣдующее его произведеніе далеко за собою оставляло предыдущее... Какъ человѣкъ высшей натуры, — Лермонтовъ, съ *тѣхъ поръ, какъ созналъ свое дарованіе и овладѣлъ имъ*, не подражалъ и не могъ подражать никому ни въ формѣ своихъ произведеній ни въ идеяхъ, если только въ идеяхъ возможно допустить подражаніе. Идеи у Лермонтова, какъ мы уже сказали, были свои, въ высшей степени оригинальныя,—противъ чего никто уже нынче не спорить; отсюда очевидна невозможность подражанія и въ формѣ: тѣсно было бы свободной самобытной мысли въ око-вахъ подражанія.

Много блестящаго и отраднаго обѣщало дальнѣйшее развитіе его таланта... Но увѣ!—русская литература родилась подъ несчастной звѣздой: цвѣтутъ въ ней репейники и терніи въ изобиліи, невѣжество и шарлатанство нерѣдко доживаютъ въ ней до сѣдыхъ волосъ, которыми нагло хвастаютъ и за которые требуютъ себѣ особеннаго почета и уваженія, а талантъ меркнетъ на самой зарѣ, едва взглянувши на Божій міръ...

Лучшія стихотворенія, написанныя Лермонтовымъ, въпро—  
долженіе его краткой литературной жизни, были напечатаны въ 1840 году, по его собственному выбору. Поэтъ былъ строгъ къ самому себѣ, и книжечка вышла весьма небольшая.—Лермонтовъ чувствовалъ въ себѣ много силы творческой, и не хотѣлъ являться въ свѣтъ съ произведеніями, которыя признавалъ ниже своего таланта, но теперь, когда поэтъ не стало, всякая строка его сдѣлалась драгоцѣнною, и потому нельзя не поблагодарить издателей за то, что они собрали и издали *все* стихотворенія Лермонтова, какія только

Рѣшено:

Она умереть. — Я прежней твердой воли  
Не измѣню. Ей, видно, суждено  
Во цвѣтъ лѣтъ погибнуть, быть любимой  
Такимъ какъ я злодѣемъ, и любить  
Другого... это ясно!.. Какъ же можно жить  
Ей послѣ этого!.. Ты, Богъ незримый,  
Но Богъ всевидящій! Возьми ее, возьми,  
Какъ свой залогъ, Тебѣ ее вручаю:  
Прости ее, благослови;  
Но я... нѣтъ, не прощаю!..

*Слышны звуки музыки. Ходитъ по комнатѣ, вдругъ  
останавливается).*

Тому назадъ лѣтъ десять, я вступалъ  
Еще на поприще разврата;  
Разъ, въ ночь одну я все до капли проигралъ, —  
Тогда я зналъ ужъ цѣну злата,  
Но цѣну жизни я не зналъ,  
Я былъ въ отчаяннѣ, — ушелъ и яду  
Купилъ и возвратился вновь  
Бъ игорному столу; въ груди кипѣла кровь.  
Въ одной рукѣ держалъ я лимонаду  
Стаканъ, въ другой четверку пикъ;  
Послѣднй рубль въ карманѣ дожидался  
Съ завѣтнымъ порошкомъ, — рискъ, право, былъ великъ;  
Но счастье вынесло, — и въ часъ я отыгрался!  
Съ тѣхъ поръ хранилъ я этотъ порошокъ,  
Среди волненій жизни трудной,  
Какъ талисманъ таинственный и чудный,  
Хранилъ на черный день, — и день тотъ недалекъ...

Нина проситъ мужа принести ей мороженаго. Арбенинъ  
одсыпаетъ въ мороженое яду. Нина ѣстъ; онъ любитъся.  
Тотъ они дома. Нина чувствуетъ себя нездоровою, и про-  
ситъ послать за докторомъ. Арбенинъ отказывается. Нина  
говоритъ, что чувствуетъ въ груди присутствіе смерти.

Да, я тебѣ на балѣ подаль ядъ!

Говѣщаетъ ей холодно мужъ Нина въ отчаяніи упадаетъ  
а ступъ и закрываетъ лицо руками. Онъ подходитъ и цѣ-  
уетъ ее.

тельного проигрыша, началъ за нею волочиться и написалъ къ ней записку. Записка попала въ руки мужа. Арбенинъ человекъ злой; его душа

....мрачна

И глубока, какъ двери гроба;  
Чему хотъ разъ откроится она,  
То въ ней погребено навѣки.—Подозрѣнья  
Ей стоять доказательствъ;—ни прощенья  
Ни жалости не знаетъ онъ;  
Когда обиженъ—мщенье, мщенье!  
Вотъ цѣль его тогда и вотъ его законъ.

При первомъ подозрѣнн гнѣвъ его изливается быстрымъ потокомъ на бѣдную Нину. Она увѣряетъ его, что браслетъ потерянъ; онъ не вѣритъ. Ему нужна месть. Онъ хотеть вызвать князя Звѣздича на дуэль, но потомъ раздумываетъ и очень ласковой запиской приглашаетъ его на вечеръ въ одинъ игорный домъ. Здѣсь Арбенинъ бросаетъ карты въ лицо князю и даетъ ему пощечину. Балъ. По уголкамъ шепчутся объ недавней исторіи князя Звѣздича съ Арбенинымъ. Входитъ Арбенинъ; всѣ подозрительно на него посматриваютъ. Онъ въ бѣшенствѣ. Подозрѣнія его переходятъ въ увѣренность.

Я сомнѣвался? я? А это всѣмъ извѣстно:  
Намеки колкіе со всѣхъ сторонъ  
Преслѣдуютъ меня... я жалокъ имъ, смѣшонъ!  
И гдѣ плоды моихъ усилій?  
И гдѣ та власть, съ которою, порой,  
Казнилъ толпу я словомъ, остротой...  
Дѣтъ женщины ее убили!  
Одна изъ нихъ... О, я ее люблю,  
Люблю, и такъ неистово обмануть!...  
Нѣтъ, людямъ я ее не уступлю...  
И насъ судить они не стануть,  
Я самъ свершу ужасный судъ,  
Я казнь ей отыщу,—моя же будетъ тутъ...

*(показываетъ на сердце).*

Она умереть; жить вмѣстѣ съ нею долѣ  
Я не могу... Жить розно?...

*(Какъ бы испугавшись себя).*



Рѣшено:

Она умереть. — Я прежней твердой воли  
Не измѣню. Ей, видно, суждено  
Во цвѣтѣ лѣтъ погибнуть, быть любимой  
Такимъ какъ я злодѣемъ, и любить  
Другого... это ясно!.. Какъ же можно жить  
Ей послѣ этого!.. Ты, Богъ незримый,  
Но Богъ всевидящій! Возьми ее, возьми,  
Какъ свой залогъ, Тебѣ ее вручаю:  
Прости ее, благослови;  
Но я... нѣтъ, не прощаю!..

*(Слышны звуки музыки. Ходитъ по комнатѣ, вдругъ  
останавливается).*

Тому назадъ лѣтъ десять, я вступалъ  
Еще на поприще разврата;  
Разъ, въ ночь одну я все до капли проигралъ, —  
Тогда я зналъ ужъ цѣну злата,  
Но цѣну жизни я не зналъ,  
Я былъ въ отчаяннѣ, — ушелъ и яду  
Купилъ и возвратился вновь  
Бъ игорному столу; въ груди кипѣла кровь.  
Въ одной рукѣ держалъ я лимонаду  
Стаканъ, въ другой четверку пикъ;  
Послѣднй рубль въ карманѣ дожидался  
Съ завѣтнымъ порошкомъ, — рискъ, право, былъ великъ;  
Но счастье вынесло, — и въ часъ я отыгрался!  
Съ тѣхъ поръ хранилъ я этотъ порошокъ,  
Среди волненій жизни трудной,  
Какъ талисманъ таинственный и чудный,  
Хранилъ на черный день, — и день тотъ недалекъ...

Нина проситъ мужа принести ей мороженаго. Арбенинъ  
подсыпаетъ въ мороженое яду. Нина ѣстъ; онъ любитъся.  
Зотъ они дома. Нина чувствуетъ себя нездоровою, и про-  
ситъ послать за докторомъ. Арбенинъ отказывается. Нина  
говоритъ, что чувствуетъ въ груди присутствіе смерти.

Да, я тебѣ на балѣ подаль ядъ!

отвѣчаетъ ей холодно мужъ Нина въ отчаяннѣ упадаетъ  
на стулъ и закрываетъ лицо руками. Онъ подходитъ и цѣ-  
луетъ ее.

Да, ты умрешь, и я останусь тутъ.  
Одинъ, одинъ... года пройдутъ,  
Умру, и буду все одинъ... Ужасно!  
Но ты не бойся: міръ прекрасный  
Тебѣ откроется, и ангелы возьмутъ  
Тебя въ небесный свой пріютъ.

(Плачетъ).

Да, я тебя люблю, люблю.. Я все забвению,  
Что было, предалъ; есть граница мщенью,  
И вотъ она: смотри, убійца твой  
Здѣсь, какъ дитя, рыдаетъ надъ тобой.

Нина умираетъ. Къ Арбенину приходитъ князь Звѣзди  
и „Неизвѣстный“, котораго Арбенинъ когда-то обыгралъ  
и который поклялся ему мстью. Припомнивъ ему прош:  
„Неизвѣстный“ говорить:

Послушай, ты убилъ свою жену!

Арбенинъ приходитъ въ бѣшенство.

А! заговоръ!... прекрасно!... я у васъ  
Въ рукахъ!... Вамъ помѣшать кто смѣетъ?  
Никто: вы здѣсь цари.. я смиренъ, я сейчасъ  
У вашихъ ногъ... Душа моя робѣетъ  
Отъ взглядовъ вашихъ... я глупецъ, дитя,  
И противъ вашихъ словъ отвѣта не имѣю,  
Я мигомъ побѣжденъ, обманутъ я шута,  
И подъ топоръ нагну спокойно шею!  
А вы не разочли, что есть еще во мнѣ  
Присутствіе ума, и опытность, и сила?  
Вы думали, что все взяла ея могила?  
Что я не заплачу вамъ всѣмъ по старинѣ...  
Такъ вотъ какъ я униженъ въ вашемъ мнѣшм

Коварнымъ лепетомъ молвы!..

Да, сцена хорошо придумана, но вы

Не отгадали заключенья.

А этотъ мальчикъ. Такъ и онъ со мной  
Бороться вздумалъ? Мало было  
Одной пощечины, нѣтъ, хочется другой?  
Вы все получите, мой милый!  
Вамъ жизнь наскучила? Не странно: жизнь глупца,  
Жизнь площадного волокиты!  
Утѣштесь же теперь, вы будете убиты,  
Умрете съ именемъ и смертью подлеца!..

языкъ Звѣздичъ и „Неизвѣстный“ ясно и удовлетворительно доказываютъ Арбенину, что жена его была невинна, что онъ умертвилъ ее по ложному подозрѣнію. Арбенинъ не вѣритъ. Онъ умоляетъ своихъ мучителей, чтобы узнались, что говорятъ неправду. Онъ становится на

Ну вотъ, и я упалъ предъ вами на колѣна,  
Скажите же, не правда-ли измѣна,  
Коварство очевидно... Я хочу, вѣлю,  
Чтобъ вы ее сейчасъ же обвинили.  
Она невинна? развѣ вы тутъ были?  
Смотрѣли въ душу вы мою?  
Какъ я теперь прошу, такъ и она молила!  
Ошибка!.. я ошибся... Что-жъ!  
Она мнѣ то же говорила,  
Но я сказалъ, что это — ложь...

тѣмъ Арбенинъ сходитъ съ ума и драмѣ конецъ. Лучмѣста драмы находятся въ первомъ дѣйствіи на стр. 43, 46—48.

Въ полномъ изданіи стихотвореній Лермонтова приложены портретъ автора и оглавленіе стихотвореній, въ томъ же дѣлѣ, въ какомъ они были написаны. Бумага и печать расныя.

*Изъ „Литературной Газеты“ за 1843 г.*

\*  
\* \*

Это второе и самое полное собраніе стихотвореній Лермонтова; въ немъ напечатаны всѣ доселѣ извѣстныя, печати или въ рукописяхъ, произведенія знаменитаго поэта. Поэма Лермонтова „Измаиль-Бей“, которая будетъ издана въ одной изъ слѣдующихъ книжекъ „Отеч. Записокъ“, случайно попала въ руки редактора этого журнала въ то время уже, когда всѣ три части стихотвореній Лермонтова были отпечатаны. Впрочемъ, издатели обѣщались собрать все, что еще найдется изъ стихотвореній Лер-

„Отечественныя Записки“ 1843 г., № 1, т. 26. (О стихотвореніяхъ Лермонтова).

*дважды-два* такъ же легко могутъ производить *пять* и *восемь*, какъ и *четыре*. Вотъ отчего у насъ еще спорять о томъ, что наряднѣе и величественнѣе—русскіе ли пудовые сапоги, убитые со стороны подошвы полусотнею остроголо-выхъ гвоздей и смазываемые саломъ и дегтемъ, или легкіе нѣмецкіе выворотные сапоги, которые лакируются ваксой; спорять о томъ, что лучше: въ нѣмецкомъ ли костюмѣ наслаждаться преимуществами, присущими человѣческой натурѣ, или въ шапкѣ-мурмолкѣ стоять ниже человѣчества, во имя любви къ обычаямъ старообрядчества. Мы думаемъ, что у насъ скоро возникнетъ споръ о томъ, кого должны мы разумѣть подъ нашими праотцами,—москвитовъ ли XVII-го вѣка, Славянъ ли IX-го вѣка, или Скиѳовъ и Сарматовъ, кочевавшихъ по сю сторону Азовскаго и Чернаго морей, еще въ то время, когда Мильтіадъ поразилъ ихъ родственниковъ, Персовъ, при Мараѳонѣ, когда на олимпійскихъ играхъ Геродотъ читалъ свою исторію, а юноша Фукидидъ плакалъ, внимая ему,—когда на тѣхъ же олимпійскихъ играхъ Пиндаръ пѣлъ свои восторженные оды,—когда Эсхиль, Софокль и Эврипидъ, зрѣлищемъ своихъ трагедій, заставляли аѳинянъ дѣлиться съ богами блаженствомъ олимпійской жизни—когда Фидій созидалъ статуи Зевса и Паллады—когда Сократъ проповѣдывалъ свое ученіе народу, а Демосѳенъ гремѣлъ своими рѣчами, а Платонъ въ академіи полагалъ начало ученію чистаго идеализма. Чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ, по русской пословицѣ: отыскивая родоначальниковъ Скиѳовъ и Сарматовъ, а потомъ родоначальниковъ ихъ, мы непремѣнно дойдемъ до Адама и, какъ истинные археологи, рѣшимъ, что намъ надо ходить въ костюмъ Адама, чтобъ ни въ чемъ не отстать отъ своихъ предковъ. Вѣдь, надобно же и намъ когда-нибудь быть послѣдовательными и перестать противорѣчить самимъ себѣ!..

Въ ожиданіи этого вождѣннаго и, кажется, еще весьма не близкаго времени, обратимся къ вопросу о поэзіи. У насъ есть журналъ, который издается какъ будто для доказательства, что стихи пишутся дѣтьми для забавы дѣтей

—и, чтобъ быть вѣрнымъ самому себѣ, этотъ журналъ чуетъ своихъ читателей дѣйствительно дѣтскими стихами. У насъ есть другой журналъ, который въ противоположность первому, такъ высоко уважаетъ поэзію, что цитъ ее во всякихъ заостренныхъ рѣзю, размѣренныхъ строчкахъ, и, чтобъ тоже не противорѣчить самому себѣ, помѣщаетъ стихи, уже отзывающіеся старческаго чуждостью, и стихи даровитыхъ, но юныхъ поэтовъ, — зима юныхъ, если судить по тревожности чувства, нерѣдѣнности идей, по неумѣнью соглашать слова со смысломъ и другимъ признакамъ, которыми отличаются сии оды счастливаго досуга, не связаннаго условіями логики и здраваго смысла. Вотъ двѣ крайнія стороны вопроса о томъ, дорѣ или важное дѣло поэзія? Мы думаемъ, что обѣ крайности эти равно чужды истинѣ и притомъ недалеко разбѣжались другъ съ другомъ, потому что обѣ выходятъ изъ одного источника отсутствія того органа, которымъ пользуется поэзія. Мы, русскіе, очень богаты стихами и несомнѣнно бѣдны поэзіей! По крайней мѣрѣ, въ томъ и другомъ отношеніи, мы бы должны были дойти до той разборчивости, которая любитъ одно чистое золото и уже не увлечется блестящею мишурою. И мы уже почти дошли до этого. Говоримъ—*почти*, потому что дошли пока еще безвѣдательно. Публика не перестала читать стихи, но уже вѣдо перечитываетъ ихъ. Это не значить, чтобъ стихи одобрили ей: это значить, что она хочетъ хорошихъ стиховъ. А стихи теперь уже не могутъ считаться хорошими только по отношенію къ формѣ, мимо ихъ содержанія. Изъ уваженія къ заслугамъ поэта, публика, пожалуй, прочтетъ и эти стихи, хотя бы въ нихъ и не нашла ничего, кромѣ чуждыхъ, давно ужъ знакомыхъ ей мотивовъ и азіатскихъ узоровъ, перешедшихъ черезъ нѣмецкія руки; но перечитать ихъ она едва ли будетъ. Изъ новыхъ талантовъ, она обратитъ свое вниманіе развѣ только на что-нибудь слишкомъ самобытное и оригинальное. Поэтому, теперь слѣдѣетъ очень труднымъ войти въ таланты: мало таланта формы, мало даже фантазіи—нуженъ умъ, источникъ идей,

*дважды-два* такъ же легко могутъ производить *пять* и *восемь*, какъ и *четыре*. Вотъ отчего у насъ еще спорять о томъ, что наряднѣе и величественнѣе—русскіе ли пудовые сапоги, убитые со стороны подошвы полусотнею остроголовыхъ гвоздей и смазываемые саломъ и дегтемъ, или легкіе нѣмецкіе выворотные сапоги, которые лакируются ваксой; спорять о томъ, что лучше: въ нѣмецкомъ ли костюмѣ наслаждаться преимуществами, присущими человѣческой натурѣ, или въ шапкѣ-мурмолкѣ стоять ниже человѣчества, во имя любви къ обычаямъ старообрядчества. Мы думаемъ, что у насъ скоро возникнетъ споръ о томъ, кого должны мы разумѣть подъ нашими праотцами, — московитовъ ли XVII-го вѣка, Славянъ ли IX-го вѣка, или Скиѳовъ и Сарматовъ, кочевавшихъ по сю сторону Азовскаго и Чернаго морей, еще въ то время, когда Мильтіадъ поразилъ ихъ родственниковъ, Персовъ, при Мараѳонѣ, когда на олимпійскихъ играхъ Геродотъ читалъ свою исторію, а юноша Оукидидъ плакалъ, внимая ему, — когда на тѣхъ же олимпійскихъ играхъ Пиндаръ пѣлъ свои восторженные оды, — когда Эсхиль, Софокль и Эврипидъ, зрѣлищемъ своихъ трагедій, заставляли аѳинянъ дѣлиться съ богами блаженствомъ олимпійской жизни — когда Фидій созидалъ статуи Зевса и Паллады — когда Сократъ проповѣдывалъ свое ученіе народу, а Демосѳенъ гремѣлъ своими рѣчами, а Платонъ въ академіи полагалъ начало ученію чистаго идеализма. Чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ, по русской пословицѣ: отыскивая родоначальниковъ Скиѳовъ и Сарматовъ, а потомъ родоначальниковъ ихъ, мы непремѣнно дойдемъ до Адама и, какъ истинные археологи, рѣшимъ, что намъ надо ходить въ костюмѣ Адама, чтобъ ни въ чемъ не отстать отъ своихъ предковъ. Вѣдь, надобно же и намъ когда-нибудь быть послѣдовательными и перестать противорѣчить самимъ себѣ!..

Въ ожиданіи этого возжелѣннаго и, кажется, еще весьма не близкаго времени, обратимся къ вопросу о поэзіи. У насъ есть журналъ, который издается какъ будто для доказательства, что стихи пишутся дѣтьми для забавы дѣтей

ке,—и, чтобъ быть вѣрнымъ самому себѣ, этотъ журналъ ютчаетъ своихъ читателей дѣйствительно дѣтскими стихами. У насъ есть другой журналъ, который въ противоположность первому, такъ высоко уважаетъ поэзію, что идишь ее во всякихъ заостренныхъ риемоу, размѣренныхъ строчкахъ, и, чтобъ тоже не противорѣчить самому себѣ, помѣщаетъ стихи, уже отзывающіеся старческаго пряхлостью, и стихи даровитыхъ, но юныхъ поетовъ, — зесьма юныхъ, если судить по тревожности чувства, неопредѣленности идей, по неумѣнію соглашать слова со смысломъ и другимъ признакамъ, которыми отличаются сіи плоды счастливаго досуга, не связаннаго условіями логики и здраваго смысла. Вотъ двѣ крайнія стороны вопроса о томъ, вздоръ или важное дѣло поэзія? Мы думаемъ, что объ крайности эти равно чужды истинѣ и притомъ недалеко разбѣжались другъ съ другомъ, потому что объ выходятъ изъ одного источника отсутствія того органа, которымъ понимается поэзія. Мы, русскіе, очень богаты стихами и не совсемъ бѣдны поэзіей! По крайней мѣрѣ, въ томъ и другомъ отношеніи, мы бы должны были дойти до той разборчивости, которая любить одно чистое золото и уже не увлекается блестящею мишурою. И мы уже почти дошли до того. Говоримъ—*почти*, потому что дошли пока еще безознательно. Публика не перестала читать стихи, но уже ѣдко перечитываетъ ихъ. Это не значить, чтобъ стихи надоѣли ей: это значить, что она хочетъ хорошихъ стиховъ. А стихи теперь уже не могутъ считаться хорошими только по отношенію къ формѣ, мимо ихъ содержанія. Изъ уваженія къ заслугамъ поэта, публика, пожалуй, прочтетъ его стихи, хотя бы въ нихъ и не нашла ничего, кромѣ старыхъ, давно ужъ знакомыхъ ей мотивовъ и азіатскихъ жазокъ, перешедшихъ черезъ нѣмецкія руки; но перечитывать ихъ она едва ли будетъ. Изъ новыхъ талантовъ, она обратитъ свое вниманіе развѣ только на что-нибудь слишкомъ самобытное и оригинальное. Поэтому, теперь сдѣлаюсь очень труднымъ войти въ таланты: мало таланта формы, мало даже фантазіи—нуженъ умъ, источникъ идей,

нужна богатая натура, сильная личность, которая, опираясь на самую себя, могла бы властительно приковать къ себѣ взоры всѣхъ. Вотъ что нужно теперь, чтобъ имѣть право называться поэтомъ. Послѣ Пушкина, такимъ поэтомъ явился Лермонтовъ. Онъ, какъ извѣстно, умеръ рано, и потому успѣлъ написать слишкомъ немного. Онъ дѣйствовалъ на литературномъ поприщѣ не болѣе какихъ-нибудь четырехъ лѣтъ, а между тѣмъ въ это короткое время успѣлъ обратить на свой талантъ удивленные взоры цѣлой Россіи; на него тотчасъ же стали смотрѣть, какъ на великаго поэта... И такой успѣхъ получить послѣ Пушкина!.. Согласитесь, что все это отнюдь не доказываетъ, чтобъ время поэзіи прошло, и чтобъ стихи писались только для забавы пустыхъ людей. Посредственность въ поэзіи недолговѣчна; но истинная поэзія вѣчна, вкусъ къ ней никогда не пройдетъ.

Передъ нами книга, которую могутъ считать за то кому угодно—одни за книгу, другіе—за маленькую тетрадку. Тѣ, которымъ дорога память гениальнаго поэта, которые интересуются каждымъ стихомъ, вышедшимъ изъ-подъ пера его и замѣчательнымъ для нихъ, если не въ эстетическомъ, то въ психологическомъ отношеніи, тѣ, говоримъ, совершенно въ правѣ счесть ее за книгу. Но тѣ, которые любятъ въ поэзіи одно совершенное, безъ отношенія къ личности поэта, въ правѣ счесть ее за маленькую тетрадку. Однакожъ эта маленькая тетрадка драгоцѣннѣе многихъ толстыхъ книгъ въ ней они найдутъ пьесы: „Сонъ“, „Тамара“, „Утѣсь“, „Выхожу одинъ я на дорогу“, „Морская Царевна“, „Изъ-подъ таинственной, холодной полумаски“, „Дубовый листокъ оторвался отъ вѣтки родимой“, „Нѣтъ, не тебя такъ пылко я люблю“, „Не плачь, не плачь, мое дитя“, „Пророкъ“, „Свиданіе“—одиннадцать пьесъ, всѣ высокаго, хотя и не равнаго достоинства, потому что „Тамара“, „Выхожу одинъ я на дорогу“, даже и между сочиненіями Лермонтова принадлежать къ блестящимъ исключеніямъ... Что касается до остальныхъ десяти пьесъ (изъ нихъ одна—цѣлая поэма) которыхъ мы не поименовываемъ, большая часть ихъ озна-



менована то проблесками таланта Лермонтова, то впечаткомъ его личности, и въ этомъ отношеніи всѣ онѣ чрезвычайно любопытны. Одинъ журналъ жестоко нападаетъ на „Отеч. Записки“ за помѣщеніе будто бы лермонтовскаго хлама, дѣлаемое будто бы изъ корыстныхъ расчетовъ, и кончилъ эти нападки тѣмъ, что самъ, для показанія своихъ безкорыстныхъ расчетовъ, въ одно прекрасное утро явился вдругъ съ семью стихотвореніями Лермонтова, которыя, за исключеніемъ послѣдняго, всѣ довольно—слабы, и изъ которыхъ два („Весна“ и „Я не люблю тебя“) гораздо прежде были напечатаны въ „Отеч. Запискахъ“. Последнее было напечатано еще въ первомъ изданіи стихотвореній Лермонтова, 1840 года, и въ первой части второго изданія 1842 года, но передѣланное и въ лучшемъ видѣ: тамъ оно начинается стихомъ: „Разстались мы; твой портретъ“...

Всѣ сочиненія Лермонтова сдѣлались теперь *навсегда* собственностью ихъ издателя, вслѣдствіе права, приобретеннаго имъ отъ наслѣдниковъ покойнаго поэта. Это обстоятельство насъ очень радуетъ, ибо ручается, что изданія сочиненій Лермонтова будутъ продолжаться непрерывно по мѣрѣ требованій со стороны публики, которымъ тоже нельзя ожидать перерыва. Равнымъ образомъ, это обстоятельство ручается сколько за то, что сочиненія Лермонтова всегда будутъ издаваться подъ хорошею редакціей и изящно въ типографскомъ отношеніи, столько и за то, что многочисленные почитатели таланта Лермонтова могутъ надѣяться видѣть полное собраніе его сочиненій, изданное по дру-  
мому плану. Что касается собственно до насъ, мы изъявляемъ здѣсь желаніе поскорѣ увидѣть сочиненія Лермонтова сжато-изданными въ двухъ книгахъ, изъ которыхъ одна заключала бы въ себѣ „Героя Нашего Времени“, а другая стихотворенія, расположенныя въ такомъ порядкѣ, чтобъ лучшія пьесы помѣщены были одна за другою, по времени ихъ появленія; за ними слѣдовали бы отрывки изъ „Демона“, „Бояринъ Орша“, „Хаджи-Абрекъ“, „Маскарадъ“, „Уѣздная Казначейша“, „Измаиль Бей“, а наконецъ же всѣ мелкія пьесы низшаго достоинства.

Говорятъ, что въ рукахъ одного извѣстнаго русскаго тератора находится еще нѣсколько нигдѣ доселѣ не печатанныхъ пьесъ Лермонтова. Имя этого литерата вполне можетъ служить ручательствомъ въ подлинность этихъ пьесъ. Кто не пожелаетъ поскорѣ увидѣть ихъ печати, особенно въ новомъ и, слѣдовательно, въ полномъ изданіи сочиненій Лермонтова?..

В. Бѣлинскій.

\* \*

\*) Кто зналъ Лермонтова, тотъ зналъ и то, какъ саль онъ, и тотъ не станетъ удивляться, что такъ мы отыскалось *послѣднихъ* стихотвореній его, когда онъ ум и не удивится даже тому, если и еще отыщутся ст творенія Лермонтова (что, какъ мы слышали, дѣйствит но и случилось). Судьба безпрестанно перекидывала Л монтова съ мѣста на мѣсто, и вездѣ оставлялъ онъ ка нибудь поэтическій слѣдъ своего пребыванія, нисколько заботясь о сохраненіи своихъ стиховъ и забывая о ни какъ скоро они были написаны. Вышедшая нынѣ четвер часть стихотвореній Лермонтова заключаетъ въ себѣ пь отысканныя послѣ изданія первыхъ трехъ частей. онъ были прочтены уже публикою въ „Отеч. Записк.“, прочтутся и теперь, и долго будутъ читаться каждый р съ наслажденіемъ. Прочтите одно изъ нихъ.

Выхожу одинъ я на дорогу:  
Сквозь туманъ кремнистый путь блестить;  
Ночь тиха; пустыня внемлетъ Богу,  
И звѣзда съ звѣздою говоритъ.  
Въ небесахъ торжественно и чудно!  
Спитъ земля въ сияньи голубомъ.  
Что-же мнѣ такъ больно и такъ трудно?  
Жду ль чего, жалью-ли о чемъ?  
Ужъ не жду отъ жизни ничего я,  
И не жаль мнѣ прошлаго ничуть.  
Я ищу свободы и покоя,

\*) „Литературная Газета“ 1844 г., № 44 (О стихотвореніяхъ Лермонтова).

Я-бъ хотѣлъ забыться и заснуть.  
 Но не тѣмъ холоднымъ сномъ могилы;  
 Я-бъ хотѣлъ забыться и заснуть,  
 Чтобъ въ груди дрожали жизни силы,  
 Чтобъ дыша вздымалась тихо грудь.  
 Чтобъ весь день, всю ночь мой слухъ лелѣя,  
 Про любовь мнѣ сладкій голосъ пѣлъ.  
 Надо мной, чтобъ вѣчно зеленѣя,  
 Темный дубъ склонялся и шумѣлъ.

Четвертая часть стихотвореній Лермонтова издана въ  
 же форматѣ и такъ же красиво, какъ три первыхъ...

*Изъ „Литературной Газеты“ за 1844 г.*

и нашего времени“... Изданіе третье. СПБ. 1843 г.  
 Двѣ части. Соч. М. Лермонтова.

Книга эта возбудила нѣкогда въ нѣкоторыхъ своихъ  
 къ страшный энтузіазмъ. Причина его многимъ чита-  
 ь казалась загаочною. Но возражать противъ такого  
 изма было тогда неумѣстно: необузданные панегиристы  
 разъ обвинили бы въ зависти всякаго, кто, при всемъ  
 желаніи, не могъ подняться на безпредѣльные вос-  
 . Теперь — дѣло другое. Для автора началось уже  
 ство, и о твореніи его можно разсуждать хладно-  
 о. Откровенностью никто теперь не вздумаетъ оби-  
 я, исключая, быть можетъ, однихъ издателей. Ну, такъ  
 венно сказать, „Герой нашего времени“—не такое  
 веденіе, которымъ русская словесность могла бы по-  
 атся. „Герой нашего времени“ вовсе не принадлежить  
 мъ произведеніямъ, гдѣ, по словамъ Пушкина,—

„.....отразился вѣкъ,  
 И современный человѣкъ  
 Изображенъ довольно вѣрно,  
 Съ его безнравственной душой,  
 Себялюбивой и сухой,  
 Мечтанью преданный безмѣрно;

Библиотека для Чтенія“ 1844 г., т. 63. О „Героѣ нашего времени“.

изд. Книжка о Лермонтовѣ.

и въ то же время такъ проникнуто мыслью, жизнью, такъ широко, глубоко, возвышенно... Кажется, будто все это не стоило никакого труда автору,—и тогда впадаетъ на умъ вопросъ: что жъ еще онъ сдѣлалъ бы? какія поэтическія тайны унесъ онъ съ собою въ могилу? кто разгадаетъ ихъ?.. Лукъ богатыря лежитъ на землѣ, но уже нѣтъ другой руки, которая натянула бы его тетиву и пустила подъ небеса пернатую стрѣлу... И этотъ геній, эта великая духовная сила привязана къ скудельному организму личности человѣческой: не стало человѣка — и нѣтъ ужъ въ мірѣ его силы.

Скоро выйдетъ въ свѣтъ четвертая часть стихотвореній Лермонтова. Это будетъ тоже *новая* книга, хотя она уже прочтена публикою еще до выхода своего. Въ ней собрано все, что было напечатано въ „Отеч. Запискахъ“ прошлаго и нынѣшняго годовъ,—такъ что почитатели таланта Лермонтова (а ихъ много на Руси) будутъ имѣть все, до послѣдней строки, что было имъ написано и теперь открыто. Нельзя надѣяться, чтобъ еще что-нибудь нашлось—развѣ какіе-нибудь слишкомъ незначительные опыты ранней эпохи его поэтической дѣятельности. Напечатанное въ этой книжкѣ „Отеч. Записокъ“ стихотвореніе „Пророкъ“ принадлежитъ къ лучшимъ созданіямъ Лермонтова и есть послѣднее (по времени) его произведеніе. Какая глубина мысли! какая страшная энергія выраженія. Такихъ стиховъ долго, долго не дожидаться Россіи!

Третье изданіе „Героя нашего времени“, въ типографическомъ отношеніи, прекрасно. Во всякомъ другомъ отношеніи, мы не будемъ хвалить этой книжки: похвалы для нея такъ же бесполезны, какъ безопасна брань. Никто и ничто не помѣшаетъ ея ходу и расходу—пока не разоидется она до послѣдняго экземпляра; тогда она выйдетъ четвертымъ изданіемъ, и такъ будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока русскіе будутъ говорить русскимъ языкомъ.

В. Бѣлинскій.

\*) Вотъ книга, которой суждено никогда не старѣться, потому что, при самомъ рожденіи ея, она была вспрыснута живою водою поэзіи! Эта старая книга всегда будетъ нова. Мы было взяли первое изданіе ея, чтобы справиться о его годѣ,—взглядъ нашъ упалъ на первую страницу—и страницы начали одна за другою переворачиваться подъ рукою. Сколько разъ читали мы эту книгу,—пора бы ужъ было ей и надоесть; ничуть не бывало: все старое въ ней такъ ново, такъ свѣжо, какъ будто мы читаемъ ее въ первый разъ. И предшествовавшія чтенія не только не ослабили эффекта новаго, но еще какъ будто усилили его. Такъ доброе вино отъ лѣтъ становится все крѣпче и букетистѣе!

Три изданія менѣе, чѣмъ въ четыре года: какъ хотите, а это успѣхъ, огромный успѣхъ! И какъ кстати явилось это третье изданіе—именно какъ будто для того, чтобы рѣзче выказать литературную нищету настоящаго времени, и яснѣе обнаружить всю великость утраты, понесенной русскою поэзіей въ лицѣ Лермонтова. Сколько романовъ и повѣстей, сколько стихотвореній вышло въ эти четыре года! Многіе изъ нихъ надѣлали шума и доставили своимъ авторамъ славу „первыхъ писателей“, благодаря услужливости и расчетливости журнальных крикуновъ, нѣкоторые изъ этихъ романовъ, повѣстей и стихотвореній дѣйствительно были не безъ достоинствъ, и даже замѣчательныхъ, но гдѣ же они, всѣ эти творенія, куда скрылись? Да если перечестъ, ихъ наберется таки довольно; но, кромѣ „Мертвыхъ Душъ“ и нѣсколькихъ новыхъ пьесъ Гоголя,—„Герой нашего времени“, равно какъ и стихотворенія Лермонтова—все-таки новыя, словно сегодня написанныя книги, а всѣ тѣ произведенія были новы только, пока забавляли публику, пока служили ей насущнымъ дневнымъ хлѣбомъ; но сегодня хлѣбъ сѣденъ и завтра его ужъ нѣтъ.

Перечитывая вновь „Героя нашего времени“, невольно удивляешься, какъ все въ немъ просто, легко, обыкновенно,

\*) В. Бѣлинскій. „Отечественныя Записки“ 1844 г.. № 2, т. 32. О „Герое нашего времени“.

и въ то же время такъ проникнуто мыслью, жизнью, такъ широко, глубоко, возвышенно... Кажется, будто все это не стоило никакого труда автору,—и тогда впадаетъ на умъ вопросъ: что жъ еще онъ сдѣлать бы? какія поэтическія тайны унесъ онъ съ собою въ могилу? кто разгадаетъ ихъ?.. Лукъ богатыря лежитъ на землѣ, но уже нѣтъ другой руки, которая натянула бы его тетиву и пустила подъ небеса пернатую стрѣлу... И этотъ геній, эта великая духовная сила привязана къ скудельному организму личности человѣческой: не стало человѣка — и нѣтъ ужъ въ мірѣ его силы.

Скоро выйдетъ въ свѣтъ четвертая часть стихотвореній Лермонтова. Это будетъ тоже *новая* книга, хотя она уже прочтена публикою еще до выхода своего. Въ ней собрано все, что было напечатано въ „Отеч. Запискахъ“ прошлаго и нынѣшняго годовъ,—такъ что почитатели таланта Лермонтова (а ихъ много на Руси) будутъ имѣть все, до послѣдней строчки, что было имъ написано и теперь открыто. Нельзя надѣяться, чтобъ еще что-нибудь нашлось—развѣ какіе-нибудь одинокомъ незначительные опыты ранней эпохи его поэтической дѣятельности. Напечатанное въ этой книжкѣ „Отеч. Записокъ“ стихотвореніе „Пророкъ“ принадлежитъ къ лучшимъ созданіямъ Лермонтова и есть послѣднее (по времени) его произведеніе. Какая глубина мысли! какая страшная энергія выраженія. Такихъ стиховъ долго, долго не дождется Россія!

Прекрасное изданіе „Героя нашего времени“, въ типографическомъ отношеніи, прекрасно. Во всякомъ другомъ отношеніи, мы не будемъ хвалить этой книжки: похвалы дичи такъ же бесполезны, какъ безопасна брань. Никто ничто не помѣшаетъ ей ходу и расходу—пока не раздичитъ она до послѣднихъ экземпляровъ; тогда она выйдетъ четвертымъ изданіемъ, и такъ будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока русскіе будутъ говорить русскимъ языкомъ

В. Бѣлинскій.

\*) Какіе есть странные критиканы и судьи!.. Одинъ изъ нихъ недавно объявилъ, что онъ хвалить „Героя нашего времени“, сочиненіе Лермонтова, покуда поэтъ былъ живъ, но когда поэтъ умеръ, онъ (критиканъ) рѣшился *разсуждать о твореніи его хладнокровно*, и очень удивляется людямъ, которые и теперь, когда изъ этого дарованія ужъ нельзя ничего извлечь для своихъ страстей, продолжаютъ выдавать „Героя нашего времени“ за что то выше миленькаго ученическаго эскиза. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь не расчесть!.. Нашъ критиканъ не таконъ. Онъ тотчасъ перемѣняетъ тонъ, и называетъ произведеніе, отъ котораго прежде приходилъ въ восторгъ, *ученическимъ эскизомъ*. „Это, говоритъ онъ, просто неудавшійся опытъ юнаго писателя, который еще не умѣлъ писать книгъ, учился писать; слабый, нетвердый очеркъ молодого художника, который обѣщалъ что-то, — великое или мало неизвѣстно, — но только обѣщалъ. Тутъ на всякомъ шагу виденъ еще человекъ, который говоритъ о жизни, *безъ всякой опытности*, объ обществѣ *безъ наблюденія*, о своемъ времени, *безъ познанія прошедшаго и настоящаго*, о свѣтѣ, *по сплетнямъ юношескимъ*, о страстяхъ *по слуху*, о людяхъ *по книгамъ*, и думаетъ, будто понялъ сердце человѣческое изъ разговора въ мазуркѣ, будто можетъ судить о челоѣчествѣ, потому что глядѣлъ въ лорнетку на львенковъ, гуляющихъ по тротуару (*какъ ново это все и остроумно!*). Даровитому отъ природы Лермонтову повредило въ этой книгѣ именно то, что дѣлаетъ смѣшнымъ всякаго двадцати-лѣтняго мудреца. Онъ слишкомъ рано принялся за романъ: въ его лѣта еще не пишутъ этого рода сочиненій (*съ какимъ достоинствомъ и съ какою увѣренностью сказана эта послѣдняя фраза!*) „Далѣе критиканъ увѣряетъ, что „Герой нашего времени“ совсѣмъ не герой нашего времени... Въ самомъ дѣлѣ такъ! Лермонтовъ представилъ намъ челоѣка, пожираемаго жаждою дѣятельности, который, *чтобъ заглушить эту неудовлетворенную жажду, чтобъ дѣлать что-нибудь*, волочился за женщинами. Ну, что это такое?

\*) „Литературная Газета“ 1844 г., № 11. О „Героѣ нашего времени“.

Развѣ это недугъ нашего времени?.. И что это за жажда? И какой дѣятельности ему хотѣлось? Ну, игралъ бы въ преферансъ, *приобрѣталъ*... Приобрѣтеніе—вотъ недугъ нашего времени... Этого героя поймутъ, узнаютъ въ лицо всѣ—и умные и глупцы, но чтобъ понять перваго, какого изобразилъ намъ Лермонтовъ, нужно... да, однимъ словомъ, долго ли усумниться даже въ самомъ существованіи того, чего самъ никогда не чувствовалъ? А и эта палящая, тревожная жажда—удѣлъ не каждой натуры... Вотъ почему идея „Героя нашего времени“ для многихъ оставалась донынѣ тайною и останется для нихъ тайною навсегда! И вотъ гдѣ, между прочимъ, источникъ этихъ простодушныхъ восклицаній: „какой же это герой нашего времени? Гдѣ же видѣли вы такихъ людей?“ Да, не споримъ, нигдѣ не видали; это фарсъ, ложь во всѣхъ отношеніяхъ, да, во всѣхъ. Кромѣ своей нелѣпой жажды, Печоринъ еще и эгоистъ, дурной человѣкъ... а мы, герои своего времени, мы развѣ дурные люди? Развѣ не говоримъ мы съ достоинствомъ о чести и развѣ не отворачиваемся съ негодованіемъ отъ гнусныхъ картинъ порока? Развѣ не составляетъ добродѣтель основы всѣхъ нашихъ романовъ, и развѣ не кричимъ мы противъ безнравственности, если писатель представить намъ сына, который не повинуется отцу, жену, у которой не достаетъ героизма терпѣливо нести крестъ свой—побой и тиранство мужа! И развѣ не страшно казнить общественное мнѣніе подобныя отступленія отъ общепринятаго порядка, когда они случаются въ жизни?.. Развѣ дурно платимъ мы карточные долги? Развѣ водятся за нами такіе грѣшки, какъ за Печоринымъ? Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ! мы прекрасные люди, а Печоринъ—вздоръ, миеъ, клевета на современнаго человѣка... Да и весь то романъ,—что много толковать?—дрянь! То ли дѣло „Идеальная Красавица“, „Абалдона“, „Блаженство Безумія“,—вотъ настоящіе романы! вотъ великія произведенія! Молодъ умеръ Лермонтовъ, не успѣлъ онъ поучиться у старыхъ писателей, не дождался „Идеальной Красавицы“. Отъ этого-то, вотъ именно отъ этого-то нѣтъ въ его произведеніи ни наблюдатель-



зости, ни знанія жизни, ни остроумія, ни *слога*... Впрочемъ, и мы до сихъ поръ не дождались окончанія знаменитой „Красавицы“. Изобрѣтенъ новый способъ извинять обѣщанія, которыя сдерживать почему-либо нѣтъ охоты. Прежде бывало посулять сорокъ томовъ исторіи да разныхъ драмъ и романовъ, выдадутъ десятую долю да и помалчи-наютъ, какъ будто „оно тамъ такъ и нужно“. Теперь—другое дѣло: такія неустойки дѣлаются развѣ только *изъ скромности*. Негдѣ печатать! Нужно уступить мѣсто *дорогимъ осямъ*, знаменитымъ писателямъ, которыхъ произведенія вѣрно будетъ публикѣ гораздо пріятнѣе прочесть... И такъ въ теченіе цѣлаго года, а пожалуй и десяти... Иной можетъ весь вѣкъ уступать свое мѣсто въ книгѣ другимъ, и считать себя сочинителемъ. Способъ прекрасный! Жаль, что онъ удобно приложимъ только въ журналистикѣ и его нельзя вообще приложить къ литературѣ!

Третье изданіе „Героя нашего времени“ ни лучше ни хуже второго.

„Литературная Газета“ 1844 г.

\* \* \*

\*) Новое изданіе всѣмъ извѣстнаго романа покойнаго Лермонтова. Читатели знаютъ мнѣніе о немъ Москвитянина, какъ о всѣхъ вообще произведеніяхъ Лермонтова, мнѣніе, равно чуждое безусловныхъ восторговъ и смѣшного, односторонняго порицанія. Съ тѣхъ поръ, какъ оно было высказано, Москвитянинъ ни разу не имѣлъ повода измѣнить его. А потому, отсылая читателей, незнакомыхъ съ тѣмъ произведеніемъ, если такіе найдутся, къ прежней статьѣ, въ которой оцѣненъ этотъ романъ по достоинству („Москвитянинъ“ 1841 г. № 2), мы можемъ только прибавить, что третье изданіе „Героя нашего времени“ въ типографскомъ отношеніи прекрасно: чисто, удобно, четко.

„Москвитянинъ“ 1844 г.

\*) „Москвитянинъ“ 1844 г., часть 2, № 4. О „Герое нашего времени“.

кихъ стихахъ одинъ случай изъ свѣтской жизни; но это стихотвореніе не вошло въ полное собраніе его сочиненій, вѣроятно потому, что касается живыхъ извѣстныхъ лицъ; здѣсь онъ началъ свою поэму: „Демонъ“. Но читающее русское общество въ первый разъ узнало его въ 1835 году, когда напечатана была въ „Библіотекѣ для Чтенія“ его поэма: „Хаджи-Абрекъ“. Это стихотвореніе напоминаетъ одно довольно странное обстоятельство, какія часто повторяются въ ходѣ каждагодневныхъ дѣлъ нашей литературы и которыя производятъ обычные споры и противорѣчія: когда въ первый разъ, еще при жизни поэта, въ 1840 году, вышло собраніе „стихотвореній Лермонтова“, нѣкоторые журналы насаждали столько восторженныхъ похвалъ молодому поэту, что какъ будто онъ совершилъ ужъ полный кругъ своей дѣятельности; въ 1845 году, послѣ смерти поэта, всѣ эти похвалы повторились; конечно, на этотъ разъ онѣ были болѣе кстати, и критики въ оба раза торжественно объявили, что никто *такъ не начиналъ, какъ Лермонтовъ*, развѣ только одинъ Пушкинъ. Но объ этомъ не только можно спорить, даже можно положительно доказать, что это несправедливо: вспомните только первое появленіе всѣхъ замѣчательныхъ нашихъ талантовъ, такъ вы сами увидите, много-ли тутъ справедливости, а притомъ счастливое или блестящее начало вопреки нерусской пословицѣ: *хорошее начало—половина дѣла*, не всегда ручается за такое же окончаніе; много у насъ было блестящихъ началъ, но зачѣмъ трогать людей, смиренно отдыхающихъ на лаврахъ? А были и такіе люди, которые вышли на литературную арену тихо, незамѣтно, и совершили обширный и славный кругъ дѣятельности: вспомните Державина, Крылова, Жуковского... Но дѣло не о томъ: мы говоримъ, какъ началъ нашъ современникъ Лермонтовъ; а между тѣмъ не вспомнили даже о томъ, чѣмъ онъ началъ-то—о „Хаджи-Абрекѣ“; на это стихотвореніе даже не указали хвалители поэта; а потомъ кто-то вспомнилъ, да назвалъ его *слабѣйшимъ* произведеніемъ,—удивительное вниманіе къ тому, что мы хвалимъ! А вотъ кстати и другое подобное обстоятель-

\*) Давно-ли, кажется, мы слышали первый звукъ новой кипучей пѣсни, раздавшійся въ „Хаджи-Абрекѣ“, и на имени Лермонтова сосредоточивали лучшія надежды нашей поэзіи? Давно-ли прозвучалъ печально-гнѣвный голосъ молодого поэта надъ свѣжею могилой его могучаго предшественника, и всѣ повторяли это мужественное стихотвореніе, остающееся еще въ рукописи? Это недавно, и уже давно. Его уже нѣтъ между нами, и смѣлые звуки давно уже замолкли. Много изъ нашихъ поэтовъ слишкомъ рано кончали свою жизнь: жизнь Лермонтова была изъ самыхъ краткихъ. Но она была наполнена кипѣніемъ бурныхъ страстей, и вотъ мы читаемъ самый вѣрный и полный отчетъ того, что поэтъ переживалъ и перемыслилъ въ десять лѣтъ своей дѣятельности, въ шумномъ свѣтѣ. Этотъ поэтический отчетъ въ чувствованіи и ставитъ Лермонтова въ рядъ тѣхъ поразительныхъ личностей, которыя долго не забываются.

Поэтический талантъ и замѣчательность Лермонтова въ нашей литературѣ несомнѣнны, и нѣтъ человѣка въ читающемъ русскомъ обществѣ, который бы прямо отвергалъ то и другое. Однако, мы часто слышимъ о немъ горячіе споры. О чемъ же спорять, когда всѣ согласны признавать талантъ и значеніе писателя? Съ одной стороны, эти споры естественны потому, что время дѣятельности Лермонтова такъ недавно, такъ коротко, что общество не успѣло еще привыкнуть къ нему, и мнѣнія о поэтѣ не успѣли еще установиться; съ другой стороны, критика наша такъ молода, что она иначе не можетъ судить и цѣнить писателей, какъ сравнительно, и, всего чаще, желая хвалить одного, другого непременно унижаетъ, и наоборотъ. Особенно же достается сильно покойникамъ: ихъ творенія ниспровергаютъ умы—сильно, чтобы сдѣлать изъ нихъ подножіе для новой знаменитости.

Лермонтовъ, бывши еще въ школѣ гвардейскихъ подпорщиковъ, обнаруживалъ сильный поэтический талантъ: тутъ онъ, между многими попытками, изобразилъ въ бой-

\*) „Сѣверное Обозрѣніе“ 1848 г., № 3, т. 3. О сочиненіяхъ Лермонтова. Статья Плакшина.

кихъ стихахъ одинъ случай изъ свѣтской жизни; но это стихотвореніе не вошло въ полное собраніе его сочиненій, вѣроятно потому, что касается живыхъ извѣстныхъ лицъ; здѣсь онъ началъ свою поэму: „Демонъ“. Но читающее русское общество въ первый разъ узнало его въ 1835 году, когда напечатана была въ „Библіотекѣ для Чтенія“ его поэма: „Хаджи-Абрекъ“. Это стихотвореніе напоминаетъ одно довольно странное обстоятельство, какія часто повторяются въ ходѣ каждагодневныхъ дѣлъ нашей литературы и которыя производятъ обычные споры и противорѣчія: когда въ первый разъ, еще при жизни поэта, въ 1840 году, вышло собраніе „стихотвореній Лермонтова“, нѣкоторые журналы насаждали столько восторженныхъ похвалъ молодому поэту, что какъ будто онъ совершилъ ужъ полный кругъ своей дѣятельности; въ 1845 году, послѣ смерти поэта, всѣ эти похвалы повторились; конечно, на этотъ разъ онѣ были болѣе кстати, и критики въ оба раза торжественно объявили, что никто такъ не начиналъ, какъ Лермонтовъ, развѣ только одинъ Пушкинъ. Но объ этомъ не только можно спорить, даже можно положительно доказать, что это несправедливо: вспомните только первое появленіе всѣхъ замѣчательныхъ нашихъ талантовъ, такъ вы сами увидите, много-ли тутъ справедливости, а притомъ счастливое или блестящее начало вопреки нерусской пословицѣ: *хороше начало—половина дѣла*, не всегда ручается за такое же окончаніе; много у насъ было блестящихъ началъ, но за чѣмъ трогать людей, смиренно отдыхающихъ на лаврахъ? А были и такіе люди, которые вышли на литературную арену тихо, незамѣтно, и совершили обширный и славный кругъ дѣятельности: вспомните Державина, Крылова, Жуковскаго... Но дѣло не о томъ: мы говоримъ, какъ начал нашъ современникъ Лермонтовъ; а между тѣмъ не вспомнили даже о томъ, чѣмъ онъ началъ-то—о „Хаджи-Абрекѣ“; на это стихотвореніе даже не указали хвалители поэты; а потомъ кто-то вспомнилъ, да назвалъ его *слабымъ произведеніемъ*,—удивительное вниманіе къ тому, что мы хвалимъ! А вотъ кстати и другое подобное обстоятельство

ство: въ прошедшемъ году, въ одной, съ дидактической цѣлью написанной книгѣ „Хаджи-Абрекъ“ названъ подражаніемъ „Кавказскому Плѣннику“ и „Галубу“ Пушкина, а „Бояринъ Орша“—„Суду въ подземельѣ“ Жуковского, и это мнѣніе теперь уже повторяется, и невзыскательными читателями признано за истину. Какъ же Лермонтовъ могъ за два года до смерти Пушкина подражать „Галубу“, который сдѣлался извѣстенъ долго спустя послѣ смерти знаменитаго поэта? Притомъ же, долго и внимательно сличая эти произведенія, мы не нашли въ нихъ ничего общаго; скажемъ болѣе: мы нашли, что „Хаджи-Абрекъ“, не имѣя ничего общаго съ „Кавказскимъ Плѣнникомъ“, несравненно слабѣе и сильнѣе его. Въ „Кавказскомъ Плѣнникѣ“—картины, хотя роскошныя, плѣнительныя, но все-таки не болѣе, какъ картины; а въ „Хаджи-Абрекѣ“—живыя кипучія страсти; тамъ жизнь внѣшняя, а здѣсь внутренняя. Конечно, обѣ эти поэмы не имѣютъ цѣлости, и похожи болѣе на отрывки, нежели на полныя поэмы; но все-таки въ послѣдней болѣе полноты и связности, нежели въ первой. Что же касается до „Боярина Орши“, то эта поэма имѣетъ только одно сходство съ „Судомъ въ Подземельѣ“: тамъ удать за нарушеніе монашескихъ обѣтовъ и здѣсь тоже, и „Бояринъ Орша“ далеко слабѣе „Суда въ Подземельѣ“. Но ставимъ эти мелочи для любителей ихъ...

Лермонтовъ, въ самомъ дѣлѣ, началъ свое дѣло прекрасно: то онъ задумалъ и написалъ уже нѣсколько строкъ своего „Демона“ еще въ школѣ, это извѣстно немногимъ, и ни общество ни критика не обязаны знать такія обстоятельства; однако, чего мы положительно не знаемъ, о томъ не имѣемъ права и произносить положительный рѣшительный разговоръ. Нѣтъ надобности входить въ изысканіе причинъ равнодушія или невниманія критиковъ къ первому произведенію поэта; онѣ не такъ важны, чтобы ими заняться съ особеннымъ вниманіемъ; это произведеніе просто было пропущено въ первомъ собраніи его стихотвореній, а критики не вспомнили или не могли вспомнить появленіе его въ свѣтъ. Мы не скажемъ—удивляетъ или не удивляетъ насъ

этотъ странный случай; но находимъ справедливымъ и даже необходимымъ высказать нѣсколько замѣчаній о сравненіи выхода Лермонтова на литературную дѣятельность съ выходомъ Пушкина.

Здѣсь прежде всего бросается въ глаза, въ этомъ сравненіи, какая-то недоказанность, которая есть, какъ кажется, слѣдствіе недостатка убѣжденія въ истинѣ того, что критики говорили и повторяли; оттого-то, несмотря на весь энтузіазмъ и увлеченіе въ пользу поэта, они не отдали полной справедливости ему, и не умѣли даже близко подойти къ истинѣ при оцѣнкѣ первыхъ произведеній, которые отличаются необыкновенною глубиною чувствъ, какой вовсе нѣтъ въ первыхъ созданіяхъ Пушкина.

Но, чтобъ сравненіе было полно, ясно, и главное, чтобъ оно было справедливо, слѣдовательно, неоскорбительно для той и другой стороны, надо разсмотрѣть обстоятельства, сопутствовавшія начальной дѣятельности Пушкина и Лермонтова. Если мы станемъ измѣрять достоинства этихъ двухъ поэтовъ степенью успѣха ихъ въ общественномъ мнѣніи, или тѣми впечатлѣніями, которыя они произвели на современниковъ первыми своими созданіями, то можемъ впасть въ большую ошибку; потому что они явились при совершенно различныхъ обстоятельствахъ! Когда явилось въ свѣтъ первое произведеніе Пушкина, въ литературѣ нашей было тихо, спокойно; писателей было у насъ не много, и отъ того всякій значительный талантъ легко могъ быть замѣченъ; но Лермонтовъ вышелъ на литературное поприще въ самую шумную кипучую эпоху, когда вниманіе общества было занято сосредоточеніемъ извѣстнѣйшихъ талантовъ въ „Библіотекѣ для Чтенія“ и недавнимъ появленіемъ вдругъ нѣсколькихъ сильныхъ новыхъ талантовъ: Гоголя, Кукольника, Бенедиктова и другихъ, изъ которыхъ нѣкоторые хотя и измѣнили нашимъ надеждамъ, но въ то время всѣ они занимали наше вниманіе и обиліемъ и внутреннимъ достоинствомъ произведеній.

Такимъ образомъ, для Лермонтова труднѣе было обратить на себя вниманіе читающаго общества, нежели для Пуш

кина. Однакожъ это не все; эти обстоятельства имѣютъ и другую сторону: Пушкинъ явился въ такое время, когда въ школахъ и въ журналахъ господствовали неизмѣнныя правила, когда отъ молодого поэта требовали, чтобъ онъ начиналъ подражаніемъ старымъ образцамъ, чтобъ онъ не смѣлъ *умничать* и прокладывать себѣ новую дорогу; когда не было общественнаго мнѣнія, когда и самые журналы спорили только о частныхъ красотахъ, выраженіяхъ, а въ смыслѣ общихъ законовъ поэзіи никто не сомнѣвался и о сить ихъ никто не смѣлъ спорить. Лермонтовъ выступилъ на поприще литературы тогда, какъ этотъ порядокъ дѣлъ былъ ужъ разрушенъ, когда начинало укореняться мнѣніе, что все новое лучше стараго, что человѣчество до послѣдняго поколѣнія не знало даже и того, что оно ничего не знало. При этомъ возьмите во вниманіе и то, что Пушкинъ вносилъ въ міръ поэзіи много основныхъ началъ самой поэзіи, а Лермонтовъ вносилъ въ литературу только свои личныя особенности, отразившіяся на его произведеніяхъ, не касаясь коренныхъ началъ поэтического искусства. Вотъ почему Пушкину надобно было имѣть силу богатырскую, чтобъ устоять на томъ пути, который онъ избралъ для себя.

Современники Пушкина хорошо помнятъ, какъ первая его поэма „Русланъ и Людмила“ раздѣлила все общество на двѣ враждебныя партіи, и надобно признаться, что большинство было противъ поэта, потому что бѣльшая часть и тѣхъ, которые признавали въ немъ несомнѣнный талантъ, порицала его за несоблюденіе условныхъ правилъ поэмы и за то особенно, что онъ поэмѣ героической далъ характеръ сказочный; но многихъ, особенно молодыхъ людей, это произведеніе совершенно оуманило: они ратовали за него со всею романтическою восторженностью, и, въ случаѣ недостатка логическихъ и эстетическихъ доводовъ, готовы были защищать „Руслана“ даже корешкомъ книги, называя всѣхъ несогласныхъ съ ихъ мнѣніемъ, „черноморами, у которыхъ вся сила въ бородахъ“ (это была современная острота). Но, по мѣрѣ того, какъ Пушкинъ созрѣвалъ, и талантъ его росъ; очарованіе, произведенное „Русланомъ и Людмилою“, —

не скажемъ, исчезало, но уменьшалось, принимало другіе характеръ и переходило въ болѣе спокойное наслажденіе растворимое размышленіемъ. Мы стали замѣчать, что тут разгульная юношеская фантазія брала верхъ надъ сердцемъ, что въ этой поэмѣ недостаетъ глубокости чувствованія. В самомъ дѣлѣ, истинная страсть и сила чувства у Пушкина явились въ первый разъ въ „Бахчисарайскомъ Фонтанѣ“, съ этихъ поръ росли у него богатырски; такъ что въ „Цыганахъ“ мы уже увидѣли вулканъ страстей. Потому-то тѣ которые ищутъ поэзіи въ силѣ чувствъ, тогда только поняли могущество нашего поэта, а напротивъ, люди, ищущіе ея въ картинахъ, увѣряли, что Пушкинъ падаетъ; а иные находили, и едва-ли несправедливо, что въ этихъ малыхъ поэмахъ его не достаетъ творчества. Однако, скоро поэт умѣлъ примирить эти споры; у него достало силъ удовольствіе творить всѣмъ.

Такъ-ли шелъ по пути развитія и совершенствованія Лермонтовъ? — Нѣтъ! Впрочемъ, мы и не думаемъ требовать того же самаго хода въ развитіи его дѣятельности; мы только хотимъ противопоставить таланту его геній Пушкина, вызванный на сравнительный судъ самими канегиристами его; хотимъ объяснить и опредѣлить его значеніе не по личнымъ отношеніямъ къ нему и не по первымъ свѣжимъ впечатлѣніямъ, а по его дѣйствіямъ и по тому развитію котораго онъ достигъ въ продолженіи своей десятилѣтней дѣятельности. Пушкинъ съ первой минуты пробуждаетъ въ немъ сознаніе, хочетъ понять поэзію міра, хочетъ вызвать изъ души своей тѣ образы, которые привели ее въ движеніе:—онъ стремился къ творчеству. Это первое движеніе души къ творчеству пробуждено въ немъ народными сказками, которыя онъ слыхивалъ въ дѣтствѣ отъ нянекъ; еіюный, еще неразвившійся духъ воссоздалъ дикіе сказочные образы; они вмѣстѣ съ нимъ росли и очерчивались все яснѣе и яснѣе. Здѣсь видна сила творческая, не знавшая предѣловъ искусства; школьная теорія показала ему эти границы, которыя, впрочемъ, не имѣли ничего общаго съ его поэтическими видѣніями. По мѣрѣ того, какъ жизнь и о



стоятельства раскрывали предъ нимъ картины живой и разнообразной дѣйствительности, онъ узнавалъ людей и природу въ ихъ безконечно различныхъ видоизмѣненіяхъ, творчество его отражалось въ образахъ болѣе ясныхъ и болѣе естественныхъ, такъ что рядъ произведеній Пушкина представляетъ послѣдовательно связную и дивно разнообразную дѣятельность, какъ Божій міръ. Это явный признакъ творческаго генія, который иногда кажется несовершеннымъ потому только, что онъ ограниченъ человѣческою природой, и потому, что онъ не кончилъ своего назначенія. Оттого-то многіе до такой степени не поняли его, что называли часто подражателемъ; но всмотритесь внимательно въ то, что вы называете у него подражаніемъ, и вы увидите, что это свободный отзывъ воспріимчиваго и самостоятельнаго генія на призывъ духа времени, котораго, однакожъ, онъ никогда не былъ рабомъ.

А Лермонтовъ? Онъ оставленъ судьбою на пути своей дѣятельности еще дальше до окончанія ея, а потому понять его еще труднѣе, нежели Пушкина; и эта трудность еще болѣе увеличивается характеромъ его поэзіи. Однако, не забывая въ будущее, не вдаваясь въ предположенія, что-бы поэтъ могъ сдѣлать,—мы посмотримъ безъ увлеченія, но съ сочувствіемъ на то, что онъ успѣлъ сдѣлать; и если есть послѣдовательность въ развитіи его таланта, то аналогія не можетъ намъ приблизительно разгадывать и то, что мы потеряли въ немъ. Прочитавъ и перечитавъ съ удвоеннымъ вниманіемъ произведенія Лермонтова, мы находимъ въ нихъ, кромѣ только немногихъ мелкихъ стихотвореній, одну общую черту: преобладаніе страсти предъ творческимъ воображеніемъ, такъ что самыя картины, которыя вездѣ у него такъ живы, всегда происходятъ отъ страстей, даже безжизненная и неорганическая природа нерѣдко у него движется страстями: и небо, и горы, и рѣки то серебрятся, то негодуютъ, то рошутъ; и страсти его всегда упорны, дикі, непокорны и буйны. Изъ этого смѣло можно заключить, что страсти были господствующими двигателями Лермонтова; онъ вызвали его къ

поэтической дѣятельности и воспламенили его воображеніе. Въ самомъ дѣлѣ, въ какомъ изъ произведеній его вы найдете прямое отраженіе міра дѣйствительнаго, со всѣмъ его добромъ и зломъ, со всею ясною тишиною и грозными бурями, со всѣми радостями и огорченіями? Нѣтъ, душа его не была одарена той воспріимчивостію, которая ставитъ поэта въ стройное согласіе съ міромъ Божиимъ; его кипучая страсть душа, неспособная къ наслажденіямъ безмятежными красотами міра, не находившая отрады въ обыкновенной дѣйствительности, стремилась къ мѣстамъ дикимъ и временамъ бурнымъ и кровавымъ; она вездѣ искала страстей и вливала ихъ въ существа бездушныя. Оттого-то въ основѣ всѣхъ его созданій лежатъ страсти, не идеи; оттого-то во всѣхъ его произведеніяхъ картины имѣютъ лирическое развитіе, которое болѣе характеризуетъ самого поэта, нежели изображаемый предметъ; оттого-то онъ часто повторяется не только въ частныхъ мысляхъ и картинахъ, но даже въ цѣломъ; оттого-то лица дѣйствующихъ его неясны, неполны и односторонни: черты страстей въ нихъ выдаются слишкомъ выпукло; но гдѣ ихъ задушевные завѣтные думы, гдѣ мечты? Гдѣ ихъ житейская дѣятельность, которая служитъ канвою для думъ, страстей и мечтательныхъ затѣй? Этого не разгадаете вы ни въ одномъ изъ его характеровъ. Оттого-то произведенія его увлекательны болѣе для людей страстныхъ, для характеровъ неумѣренныхъ, для тѣхъ, которые ищутъ сильныхъ, потрясающихъ душу впечатлѣній; но души покойныя, которыя въ созерцаніе изящнаго погружаются всѣмъ своимъ существомъ, которыя ищутъ наслажденія полнаго, человѣческаго и находятъ его только въ стройномъ сліяніи истины, силы и легкости,—всегда недовольны остаются тѣми впечатлѣніями, которыя онъ производитъ на нихъ. Этимъ-то рѣшится и вопросъ, почему Лермонтовъ такъ удачно началъ и почему нѣтъ возраста въ его поэтической дѣятельности, если мы исключимъ „Героя нашего времени“.

Темою большей части произведеній Лермонтова можно считать поэтическую думу: *Печально я гляжу на наше*

*пожолѣнье*, потому что всѣ они, кромѣ немногихъ лирическихъ пѣснопѣній, выражаютъ какую-то неопредѣленную тоску, скорбное соболѣзнованіе, ѣдкую насмѣшку и презрѣніе къ настоящему, ко всему холодное равнодушіе; только изрѣдка промелькнетъ искра горячаго чувства къ добру; да и того дѣйствительнаго поэмъ, кажется, стыдятся, какъ слабости. Начнемъ съ „Хаджи Абрека“: вы читаете эту поэму и увлекаетесь смѣлыми, бойко очерченными картинками; васъ трогаетъ грусть несчастнаго отца, который оплакиваетъ свое печальное сиротство и потерю трехъ сыновей и трехъ дочерей, вызывая мстителя за похищеніе младшей дочери; еще болѣе поражаетъ васъ отчаяніе добродушной и беззащитной Леилы; но что такое Хаджи Абрекъ? Это не удалой, смѣлый наѣздникъ, какимъ хотѣлъ представить его поэтъ, и неумолимый храбрецъ передъ беззащитной дѣвушкой. Прочитавши поэму до конца, вы спрашиваете себя: какая мысль владѣла душою поэта, при созданіи этой поэмы, и возбуждала въ немъ творческую дѣятельность? Что радовало его въ этомъ созданіи, когда онъ, оконченное, обозрѣвалъ его?—Едва-ли читатель можетъ отвѣчать на эти вопросы. Кому изъ дѣйствующихъ этой повѣсти поэтъ сочувствовалъ болѣе другихъ?—Кажется, Хаджи Абреку—отвѣтъ неутѣшительный!

Возьмемъ теперь „Мцыри“ и „Боярина Оршу“. Основаніе обѣихъ поэмъ одно и то же. Мцыри случайно въ дѣтствѣ попадаетъ въ монастырь; но воспоминанія, сохранившіяся въ душѣ его о дикой горской жизни, и бурныя неукротимыя страсти не даютъ ему ужиться въ тихомъ жилищѣ смиренія и неизмѣннаго порядка: и Арсеній, дитя какой-то неразгаданной тайны, отданъ также въ монастырь бояриномъ Оршею, неизвѣстно почему и для чего; и также не ужился въ обители смиренія и строгаго благочестія. Но тутъ они расходятся: Мцыри бѣжитъ изъ монастыря, дерется съ барсомъ и побѣждаетъ его; однако, израненный, изнуренный теченіемъ крови, и голодомъ, и зноемъ, снова попадаетъ въ монастырь, и тамъ, несмотря на ласку и привѣтливость брата, умираетъ въ ожесточеніи и тоскѣ о

А на страницѣ 140 Арсеній повторяетъ тѣ же самыя стихи безъ всякой перемѣны. Но эти повторенія не единственные въ поэмахъ Лермонтова; мы выписали только тѣ, которыя именно рѣзко бросаются въ глаза; повторенія мыслей, которыя здѣсь можно считать десятками, мы не считаемъ нужнымъ и указывать.

Трудно понять и еще труднѣе объяснить, почему поэтъ заставляетъ своихъ дѣйствующихъ повторять такія длинныя тирады, высказанныя въ другихъ мѣстахъ другими лицами; но почему эти дѣйствующие похожи одинъ на другого,—это понять легко. Всмотритесь внимательно въ характеры этихъ лицъ, что найдете въ нихъ? Какую-то странную смѣсь холодности съ страстью, и, кажется, они хотѣть сказать:

И ненавижимъ мы и любимъ мы случайно,  
Ничѣмъ не жертвуя ни злобѣ ни любви;  
И царствуетъ въ душѣ какой-то холодъ тайный,  
Когда огонь кипитъ въ крови...

Въ самомъ дѣлѣ, въ этомъ длинномъ ряду множества лицъ, кромѣ Зары въ „Измаилъ-Бей“, ни одна душа не согрѣта теплымъ живымъ чувствомъ, кромѣ купца Калашникова, ни одинъ характеръ не отличенъ чертою нравственнаго величія. Это все такія люди, которые въ душѣ своей не имѣютъ никакихъ цѣлей; съ обществомъ они или вовсе не имѣютъ связей, или имѣютъ какія-то только случайныя къ нему отношенія; въ нихъ даже нѣтъ того эгоизма, который бы могъ возбудить къ нимъ отвращеніе или ненависть; эти лица или по самой натурѣ своей намъ совсѣмъ чужія, потому, что они сами чуждаются насъ; или такъ односторонни, что мы видимъ въ нихъ только одну какую-либо черту человѣчества, которая покрываетъ собою въ нихъ все остальное; потому-то, несмотря на всю естественность этой отличительной черты, характеры лицъ, въ общемъ ихъ значеніи, кажутся неестественны, и, несмотря на самую рѣзкую ихъ необыкновенность, они нисколько не удивляютъ и не занимаютъ насъ. Возьмемъ, на примѣръ, характеръ Мцыри, который яснѣ другихъ очерченъ, и ко-

*Арсений:* Ты слушать исповѣдь мою  
Сюда пришелъ? благодарю  
(стр. 134).

*Мицри:* И если бѣ хоть минутный крикъ  
Мнѣ измѣнилъ—клянусь, старикъ,  
Я-бѣ вырвалъ грѣшный мой языкъ.  
(стр. 100).

*Арсений:* И если хоть минутный крикъ  
Измѣнить мнѣ... тогда, старикъ,  
Я вырву слабый мой языкъ.  
(стр. 138).

*Мицри:* Я никому не могъ сказать  
Священныхъ словъ: «отецъ и мать».  
Конечно, ты хотѣлъ, старикъ,  
Чтобъ я въ обители отвыкъ  
Отъ этихъ сладостныхъ именъ,—  
Напрасно: звукъ ихъ былъ рожденъ  
Со мной. Я видѣлъ у другихъ  
Отчизну, домъ, друзей, родныхъ,  
А у себя не находилъ  
Не только милыхъ душъ—могилъ!  
(стр. 88).

*Арсений:* Никто не смѣлъ мнѣ здѣсь сказать  
Священныхъ словъ: отецъ и мать...  
Конечно, ты хотѣлъ...

| такъ далѣе слово въ слово (стр. 136).

*Мицри:* Меня могила не страшить. ❀  
Тамъ, говорятъ, страданье спитъ  
Въ холодной вѣчной тишинѣ;  
Но съ жизнью жаль разстаться мнѣ:  
Я молодъ, молодъ... Зналъ ли ты  
Разгульной юности мечты?  
Или не зналъ, или забылъ,  
Какъ ненавидѣлъ, какъ любилъ;  
Какъ сердце билось живѣй  
При видѣ солнца и полей  
Съ высокой башни угловой,  
Гдѣ воздухъ свѣжъ и гдѣ порой,  
Въ глубокой скважинѣ стѣны,  
Дитя невѣдомой страны,  
Прижавшись, голубь молодой  
Сидитъ, испуганный грозой!..

А на страницѣ 140 Арсеній повторяетъ тѣ же самые стихи безъ всякой перемѣны. Но эти повторенія не единственные въ поэмахъ Лермонтова; мы выписали только тѣ, которыя именно рѣзко бросаются въ глаза; повторенія мыслей, которыя здѣсь можно считать десятками, мы не считаемъ нужнымъ и указывать.

Трудно понять и еще труднѣе объяснить, почему поэтъ заставляетъ своихъ дѣйствующихъ повторять такія длинныя тирады, высказанныя въ другихъ мѣстахъ другими лицами; но почему эти дѣйствители похожи одинъ на другого, — это понять легко. Всмотримся внимательно въ характеры этихъ лицъ, что найдете въ нихъ? Какую-то странную смѣсь холодности со страстью, и, кажется, они хотятъ сказать:

И ненавидимъ мы и любимъ мы случайно,  
Ничѣмъ не жертвуя ни злобѣ ни любви;  
И царствуетъ въ душѣ какой-то холодъ тайный,  
Когда огонь кипитъ въ крови...

Въ самомъ дѣлѣ, въ этомъ длинномъ ряду множества лицъ, кромѣ Зары въ „Измаилъ-Бей“, ни одна душа не согрѣта теплымъ живымъ чувствомъ, кромѣ купца Калашникова, ни одинъ характеръ не отличенъ чертою нравственного величія. Это все такія люди, которые въ душѣ своей не имѣютъ никакихъ цѣлей; съ обществомъ они или вовсе не имѣютъ связей, или имѣютъ какія-то только случайныя къ нему отношенія; въ нихъ даже нѣтъ того эгоизма, который бы могъ возбудить къ нимъ отвращеніе или ненависть; эти лица или по самой натурѣ своей намъ совсѣмъ чужія, потому, что они сами чуждаются насъ; или такъ односторонни, что мы видимъ въ нихъ только одну какую-либо черту челоѣчества, которая покрываетъ собою въ нихъ все остальное; потому-то, несмотря на всю естественность этой отличительной черты, характеры лицъ, въ общемъ ихъ значенія, кажутся неестественныя, и, несмотря на самую рѣзкую ихъ необыкновенность, они нисколько не удивляютъ и не занимаютъ насъ. Возьмемъ, напримѣръ, характеръ Мцыри, который яснѣе другихъ очерченъ, и ко-

того стремленіе выражено опредѣлительнѣе большей части другихъ характеровъ: этотъ дикій сынъ Кавказа взять въ плѣвъ или, лучше сказать, спасенъ отъ голодной смерти русскимъ генераломъ, и отданъ въ монастырь на попеченіе монаховъ; онъ ими воспитанъ, но онъ помнилъ, хотя и темно, дикую жизнь, и къ ней стремился; ясно и понятно, что стремленіе это такъ сильно, что онъ о трехъ дняхъ, проведенныхъ имъ безъ пищи, безъ ночлега, вотъ какъ говорить монаху, который болѣе всѣхъ заботился о немъ:

Ты хочешь знать, что дѣлалъ я  
На волѣ? Жилъ,—и жизнь моя  
Безъ этихъ трехъ блаженныхъ дней  
Была-бъ печальнѣй и мрачнѣй  
Безсильной старости моей.

И это было-бы естественно и понятно, и могло бы быть даже трогательно, если бы этотъ человекъ не описывалъ тутъ же своего отчаянія, которое овладѣвало его душою въ эти блаженные дни.

Онъ говоритъ:

Напрасно въ бѣшенствѣ порой,  
Я рвалъ отчаянной рукой  
Терновникъ, спутанный плющомъ...  
Тогда на землю я упалъ,  
И въ изступленіи рыдалъ,  
И грызъ сырую грудь земли,  
И слезы, слезы потекли...

Такое противорѣчіе разрушаетъ въ читателѣ очарованіе, которое могла-бы произвести въ немъ картина счастья и сила воли, и уничтожаетъ состраданіе, которое онъ могъ бы чувствовать при изображеніи горести и страданій; но это еще не все: лживая хвастливость Мцыри человеко-навистничествомъ даже отталкиваетъ отъ него читателя, такъ что, читая описаніе борьбы его съ барсомъ, вы не принимаете въ немъ никакого участія; вы смотрите на эту картину, какъ на простую звѣриную травлю; кажется, странно, однако, справедливо! Отчего-же?—Оттого, что онъ выросъ, окруженный заботливостью и попеченіемъ людей, которые, кромѣ добра, ничего ему не желали и не дѣлали:

И бьется сердце съ дивной силой,  
 И мысль восторгами кипить?  
 Не все-жъ томиться бесполезно  
 Орлу за кѣткою желѣзной:  
 Онъ свой воздушный прежній путь  
 Еще найдетъ когда-нибудь,  
 Туда, гдѣ снѣгомъ и туманомъ  
 Одѣты темныя скалы,  
 Гдѣ гнѣзда вьютъ одни орлы,  
 Гдѣ тучи бродятъ караваномъ,  
 Тамъ можно крылья развернуть  
 На вольный и роскошный путь!

Какъ понимать это воспоминаніе юности? Съ одной стороны, поэтъ называетъ этотъ возрастъ милымъ, „когда и сердце бьется съ дивной силой, и мысль восторгами горитъ“; съ другой стороны, онъ прошедшее свое называетъ желѣзной кѣткою, а себя молодымъ орломъ, запертымъ въ ней, и въ будущемъ обѣщаетъ летать тамъ, гдѣ *гнѣзда вьютъ одни орлы*, чтобъ тамъ „крылья развернуть на вольный и широкій путь“. Но что же слѣдуетъ за этимъ обѣщаніемъ? Каргина самой отвратительной дѣйствительности, отъ которой *обомлѣла толпа людей*, привыкшихъ ко всѣмъ ужасамъ порока: казначей ставитъ на карту свою жену, и проигрываетъ ее! Чтобъ изображать такую гниль человечества, не нужно имѣть орлиный полетъ и подниматься такъ высоко, гдѣ вьютъ гнѣзда одни орлы! Какіе шумные сборы на такой постыдный праздникъ. Неужели, въ самомъ дѣлѣ, Лермонтовъ, этотъ даровитый, сильный писатель не понималъ такихъ несообразностей?

Нѣтъ, онъ понялъ-бы свои ошибки, если-бы журнальные друзья не восхищались всѣмъ, что выходило изъ-подъ пера его; а можетъ быть, при большей зрѣлости, и эти похвалы не помѣшали бы ему понять себя. Кстати о друзьяхъ литературныхъ, на которыхъ такъ справедливо сѣтовалъ Пушкинъ:

(„Ужъ эти мнѣ друзья, друзья!“).

Они прямо говорятъ, что Лермонтовъ *тѣмъ-же былъ для Россіи, чѣмъ Байронъ для Европы*, и въ доказательство



ва, то мы могли бы убѣдить всякаго въ справедливости всѣхъ этихъ замѣчаній; и для этого даже не нужно глубокихъ соображеній; достаточно простаго обыкновеннаго воззрѣнія, чтобы видѣть вездѣ одинъ и тотъ же недостатокъ терпѣнія, необходимый спутникъ страсти, одну и ту же преувеличенность въ отдѣльныхъ чертахъ изображеній, неполноту или недоконченность въ цѣломъ, презрѣніе къ условіямъ общества, вездѣ нетерпимость къ разномыслию и фанатическую навязчивость съ своими личными желаніями и направленіями.

Всѣ эти недостатки очевидны не только въ собственныхъ произведеніяхъ поэта, которыя онъ самъ задумалъ и выполнялъ по своимъ идеямъ, но даже въ подражаніяхъ; возьмемъ для примѣра „Казначейшу“, этотъ неудачный сколокъ съ „Евгенія Онѣгина“. Здѣсь поэтъ прямо говоритъ, что онъ *пишетъ Онѣгина размахомъ, поетъ на старый ладъ*; и въ самомъ дѣлѣ, здѣсь часто встрѣчаются такіе мѣста, что прямо напоминаютъ повѣсть Пушкина; но при всемъ преднамѣренномъ усилии идти по слѣдамъ своего предшественника, Лермонтовъ скоро сбивается на свой ладъ. Такъ Пушкинъ, въ шестой главѣ Онѣгина, написанной на тридцатомъ году его возраста, и шутя и грустя, вспомнилъ, что прошла его кипучая шумная юность; онъ дружно съ нею прощается, дружески *благодаритъ ее за всѣ ея дары*, довѣрчиво встрѣчаетъ зрѣлый мужескій возрастъ, и смѣло проситъ *прежнее младое вдохновеніе*. чтобы оно не *давало остыть душѣ поэта, ожесточиться, очерствѣть въ мертвящемъ упоеніи свѣта*; и всѣ это онъ говоритъ такъ просто и душевно, такъ игриво и легко, что вѣришь ему отъ души, и, любясь его безпечною юностью, съ довѣрчивою надеждой встрѣчаешь его мужескую зрѣлость; и какъ бы въ оправданіе этой надежды, поэтъ непосредственно за тѣмъ рисуетъ утѣшительныя картины... А Лермонтовъ, въ своей *Казначейшѣ*, вспомнивъ какъ-то не совсѣмъ кстати, что онъ *спѣшилъ жить, исчезъ его милый возрастъ*, когда онъ *искалъ волненій и тревогъ*, — онъ спрашиваетъ:

Ужель исчезъ ты, возрастъ милый,  
Когда все сердцу говорить,

всѣхъ менѣе объ этомъ думалъ. Во-вторыхъ, хотя у Лермонтова были замашки байроновскія, но такъ какъ и между силами и между обстоятельствами этихъ двухъ поэтовъ была цѣлая бездна, то Лермонтовъ и не могъ создать у насъ никакой особой литературной школы: онъ имѣлъ и имѣетъ очень многихъ поклонниковъ; но мы не знаемъ, кого бы можно было назвать послѣдователемъ его. Въ этомъ отношеніи, даже влияніе Марлинскаго было замѣтнѣе, нежели Лермонтова; онъ имѣлъ многихъ подражателей. Впрочемъ, здѣсь рѣчь не о сравненіи двухъ разнородныхъ талантовъ, находившихся въ различныхъ обстоятельствахъ; та это нѣтъ ни мѣрки ни штата, а писатели могутъ имѣть большія достоинства, не имѣя ничего общаго.

При этомъ случаѣ необходимо рождается вопросъ, почему Лермонтовъ долженъ непременно подходить подъ мѣрку Гоголя? Неужели это такое условіе, безъ котораго и талантъ не въ талантъ? Ежели это правда, то жаль, а дѣлать нечего, надобно Лермонтову отказать въ безсмертіи; потому что онъ никакъ не можетъ занять промежутка между „Ревизоромъ“ и „Мертвыми Душами“. Эти два произведенія Гоголя, равно какъ и большая часть другихъ, представляютъ намъ міръ такихъ людей, которые всѣмъ довольны и вездѣ уживутся; переберите ихъ всѣхъ отъ Чичикова, который сумѣлъ изъ мертвыхъ душъ нажать питательнаго соку и нажать, какъ говорится, коку съ сокомъ, до того Петра Ивановича, у котораго зубъ съ свищомъ, и который считаетъ верхомъ благополучія, когда министръ узнаетъ о его существованіи. Не таковы дѣйствователи у Лермонтова: это люди неуживчивые, неумѣренныя, фанатики своихъ убѣжденій и самыхъ неосновательныхъ желаній; они все разрушаютъ, не имѣя силъ создавать. Гоголь, несмотря на пошлость созданнаго имъ міра, въ большей части своихъ произведеній любить его и любитъ совершенствомъ каждаго своего созданія; каждое лицо имѣетъ свой образъ, очерченный вѣрно, отчетливо и съ теплотою отеческой любви. Это нѣжная мать, которая возненавидитъ васъ, ежели вы осмѣлитесь найти въ ея дитяти какой-либо недостатокъ;

Конечно, если мы станемъ сравнивать писателей по отдельнымъ частнымъ чертамъ, разбросаннымъ въ ихъ произведеніяхъ, то можемъ найти сходство между самыми разнхарактерными писателями, даже между такими, которыхъ можно и смѣшно было-бы сравнивать въ общемъ ихъ знаніи. Возьмемъ хоть начало и нѣкоторыя мѣста изъ сѣдины „Пѣснипроцаря Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова“, и сравнимъ характеръ сказа этихъ мѣстъ съ „Словомъ о Полку Игоря“,— тутъ идетъ большое сходство въ этихъ молодецкихъ замашкахъ и приемахъ разсказовъ, но слѣдуетъ ли изъ этого, что Лермонтовъ продолжалъ то, что началъ пѣвецъ Игоря?—

только утверждать, даже опровергать эту мысль было очень странно. На какомъ основаніи мы повѣримъ, что *романтъ для Россіи былъ тѣмъ, чѣмъ Байронъ для Европы*? Во-первыхъ, мы должны сказать, что Байронъ для Россіи былъ тѣмъ же, чѣмъ и для всей Европы; потому что всѣ наши поэты и стихотворцы и даже простые „стихотворцы“ задолго до Лермонтова байронили—каждый по своему, да и до сихъ поръ многіе изъ нихъ продолжаютъ эту традицію, у кого сколько достаетъ силъ; такъ что Пушкинъ, гораздо обыкновенно называютъ подражателемъ Байрона,

какъ дьяволъ, неумолимъ передъ прекрасною плачущею женщиною въ припадкѣ храбрости, которая ему вовсе не къ лицу.

Что это за люди?

Уродливость—не заблужденіе: они неисправимы!

Главное дѣйствующее лицо этой драмы Арбенинъ; онъ списанъ не съ дѣйствительнаго міра, а съ даровитаго актера въ разныхъ роляхъ: то вы видите въ немъ Чацкаго, то Кина, то Гамлета, то Отелло. Арбенинъ сначала является холоднымъ резонеромъ; онъ съ холодною проныцательностью замѣчаетъ пороки общества; съ спокойной стойкостью обыгрываетъ онъ шулеровъ, возвращаетъ князю Звѣздичу всѣ деньги, которые тотъ проигралъ этимъ игрокамъ-ремесленникамъ; уклоняется отъ всякой благодарности, за то потомъ, по подозрѣніямъ въ волокитствѣ князя за его женою, хочетъ убить его соннаго, и только потому не исполняетъ этого намѣренія, что считаетъ такую смерть слишкомъ легкимъ мщеніемъ; коварно затащивъ Звѣздича въ игорный домъ, обыгрываетъ его, вдобавокъ даетъ пощечину и отказывается отъ поединка; отравляетъ ядомъ свою жену, подозрѣваемую въ измѣнѣ; жестоко издѣвается надъ ея предсмертными муками и, съ какимъ-то адскимъ спокойствіемъ даетъ ей такъ умереть, не трогаясь ни простодушными жалобами, ни мольбами, ни угрозами суда Божія. Рядомъ съ той комнатою, гдѣ лежитъ прахъ несчастной жертвы людскаго безумія, разврата и злобы, происходитъ самая оскорбительная комическая сцена. Наконецъ, является князь съ какимъ-то неизвѣстнымъ, который нѣкогда былъ обыгранъ Арбенинымъ и который, какими-то тайными, ему только извѣстными средствами, устроилъ всю эту трагедію. Если бы ихъ сложить обоихъ, то они бы составили нѣчто въ родѣ „Сильвіо“ Пушкина, только пониже.—Они обличаютъ Арбенина въ отравленіи жены, открываютъ искренность и чистоту ея; и—онъ сходитъ съ ума! Впрочемъ, надо признаться, что образъ Арбенина, несмотря на всю преувеличенность и неестественное сочетаніе несогласныхъ чертъ въ лицѣ его, есть самый полный изъ

потому что она, съ могуществомъ сильной природы и пламенной материнской любви, произвела его; для нея и міръ Божій прекрасенъ потому только, что она мать этой красоты міра. Лермонтовъ производилъ и создавалъ, удовлетворяя только необходимой естественной потребности, и не думая, не заботясь о томъ, что произведется. Это нетерпѣливый, безпечный, но гордый отецъ, который любить въ дитяти своемъ самого себя, который хочетъ имъ блистать и удивлять всѣхъ, который готовъ отказаться отъ него и проклясть его, если бы тотъ уронилъ его имя; потому онъ разнѣвается въ своемъ ребенкѣ только такія черты, которыя могутъ поражать, ослѣплять толпу, хотя-бы это дѣлало его нравственнымъ уродомъ и поставляло въ самое неестественное положеніе. Возьмемъ для примѣра драму „Маскарадъ“. Не говоря уже объ общемъ недостаткѣ связности въ дѣломъ, спросимъ всякаго, кто захочетъ намъ противорѣчить: естественны ли эти отношенія лицъ? Возможны-ли эти характеры и положенія ихъ? Начнемъ съ баронессы Штраль: она очень хорошо знаетъ бездушнаго князька Звѣздича, и изъ-подъ маски говоритъ ему ужасныя истины, вовсе не шутя:

Ты—безхарактерный, безнравственный, безбожный,  
Самолубивый, злой, но слабый человекъ...

И этого-то человека, котораго далѣе она изображаетъ самымъ ничтожнымъ существомъ, она такъ любитъ, что рѣшается придти къ нимъ въ домъ непрощенная, неожиданная, и говорить:

.....Я хочу  
Его спасти во что-бы то ни стало,—буду  
Простить и унижаться: обличу  
Себя въ обманъ, преступленія!

И что-же? страсть къ такому человеку, въ нравственной уродливости котораго убѣждена умная, образованная женщина, вовсе не чувственная, а платоническая, она таила, жила, какъ святую до роковой минуты. А этотъ бездушный князекъ—чувствителенъ чуть не до слезъ, безпеченъ и доверчивъ, какъ ребенокъ, но благодаренъ,

какъ дьяволъ, неумолимъ передъ прекрасною плачущею женщиною въ припадкѣ храбрости, которая ему вовсе не къ лицу.

Что это за люди?

Уродливость—не заблужденіе: они неисправимы!

Главное дѣйствующее лицо этой драмы Арбенинъ; онъ списанъ не съ дѣйствительнаго міра, а съ даровитаго актера въ разныхъ роляхъ: то вы видите въ немъ Чацкаго, то Кина, то Гамлета, то Отелло. Арбенинъ сначала является холоднымъ резонеромъ; онъ съ холодною проныцательностью замѣчаетъ пороки общества; съ спокойной стойкостью обыгрываетъ онъ шулеровъ, возвращаетъ князю Звѣздичу всѣ деньги, которые тотъ проигралъ этимъ игрокамъ-ремесленникамъ; уклоняется отъ всякой благодарности, за то потомъ, по подозрѣніямъ въ волокитствѣ князя за его женою, хочетъ убить его соннаго, и только потому не исполняетъ этого намѣренія, что считаетъ такую смерть слишкомъ легкимъ мщеніемъ; коварно затащивъ Звѣздича въ игорный домъ, обыгрываетъ его, вдобавокъ даетъ пощечину и отказывается отъ поединка; отравляетъ ядомъ свою жену, подозрѣваемую въ измѣнѣ; жестоко издѣвается надъ ея предсмертными муками и, съ какимъ-то адскимъ спокойствіемъ даетъ ей такъ умереть, не трогаясь ни простодушными жалобами, ни мольбами, ни угрозами суда Божія. Рядомъ съ той комнатою, гдѣ лежитъ прахъ несчастной жертвы людскаго безумія, разврата и злобы, происходитъ самая оскорбительная комическая сцена. Наконецъ, является князь съ какимъ-то неизвѣстнымъ, который нѣкогда былъ обыгранъ Арбенинымъ и который, какими-то тайными, ему только извѣстными средствами, устроилъ всю эту трагедію. Если бы ихъ сложить обоихъ, то они бы составили нѣчто въ родѣ „Сильвіо“ Пушкина, только пониже.—Они обличаютъ Арбенина въ отравленіи жены, открываютъ искренность и чистоту ея; и—онъ сходитъ съ ума! Впрочемъ, надо признаться, что образъ Арбенина, несмотря на всю преувеличенность и неестественное сочетаніе несогласныхъ чертъ въ лицѣ его, есть самый полный изъ

всѣхъ лицъ.—Итакъ, въ чемъ тутъ согласіе Лермонтова съ Гоголемъ, у котораго каждое лицо видишь передъ собою живымъ, движущимся?

Не ясно-ли послѣ этого, что всѣ произведенія Лермонтова составляютъ развитіе личной его думы? Эта дума болѣе или менѣе отражается почти во всемъ, что онъ создалъ или произвелъ.

Намъ скажутъ: поэтъ изображалъ людей своего вѣка, изображалъ для того, чтобъ дать живой интересъ своимъ произведеніямъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, рѣзкій урокъ современному обществу; но, къ сожалѣнію, онъ достигъ первой цѣли чисто насчетъ второй; потому-то поэтъ, дѣйствуя подъ вліяніемъ вѣка, или, по крайней мѣрѣ, подъ вліяніемъ той идеи, которую онъ воздалъ себѣ о своемъ вѣкѣ, далъ этимъ представителямъ страстей, эгоизма, холоднаго презрѣнія къ добру и равнодушія къ злу и бѣдствіямъ людей какую-то нравственную силу и очарованіе; а тѣ лица, которыя должны бы проливать въ душу теплоту утѣшительную, или оставлять трогательное воспоминаніе, всегда остаются у него на дальнемъ планѣ, въ тѣни, и трогаются только на мигъ; оттого, что въ нихъ нѣтъ нравственной силы, они гибнутъ безъ борьбы; такъ Леила въ „Хаджи Абрекѣ“, Зара въ „Измаиль-Бей“, Нина въ „Маскарадѣ“. Все это показываетъ, что Лермонтовъ или совсѣмъ не имѣлъ творческой силы духа, или духъ его, въ развитіи своемъ, далеко не дошелъ еще до прямого сознанія своей творческой силы, и потому не зналъ законовъ искусства; или, наконецъ, эта сила, увлеченная внѣшними вліяніями жрецовъ современно-вѣковой расчетливости, получила ложное направленіе.

Что сказать о „Героѣ нашего времени?“ Зачѣмъ мы не указали о немъ прежде, чѣмъ о поэзіи?

Вѣдь, это лучшее произведеніе Лермонтова? Оттого-то мы и не говорили о немъ ни слова, что оно лучшее его произведеніе; мы не хотѣли смѣшивать его съ другими. Тамъ, во всѣхъ произведеніяхъ, кромѣ драмы „Маскарадъ“, которой, кажется, нѣ дано послѣдней отдѣлки, не видимъ ни

одного шага къ совершенствованію, искусство огранилось только звучностью стиха и силою выраженія; что, судя по этимъ произведеніямъ, по крайней мѣ вышней отдѣлкѣ ихъ, поэта можно отнести скорѣе к рой школѣ, нежели къ новой. Въ „Герое нашего времени“ Лермонтовъ въ первый разъ обнаружилъ это высокое мненіе къ искусству, эту безкорыстную любовь къ произведенію и выраженіе той художнической любви, рая ищетъ благороднаго наслажденія въ совершенствѣ ихъ созданій; тутъ уже явно открылось его сатирическое направленіе; тутъ мы видимъ людей—представителей ствительнаго міра съ ихъ двойственною натурою, сиюною къ добру и злу, съ ихъ грубою простотою и свѣ испорченностью, съ естественною народною смѣшностью съ лѣнивымъ добрымъ невѣжествомъ, съ утонченными стями, съ рабскою покорностью предразсудкамъ и пренебѣдѣнію и свѣтской образованности. Посмотрите, какъ Максима Максимовича: какъ онъ легко, живо высказался съ своимъ добродушіемъ, съ своими довѣрчивыми, студушными привязанностями, и какъ столкновение ехолоднымъ, безотвѣтнымъ эгоизмомъ посягло въ его довоспріимчивой душѣ сомнѣніе! Изображеніе Печорина полно и всесторонне, что не оставляетъ ничего болѣе лать: вы видите его во всѣхъ положеніяхъ, при всѣхъ возможныхъ отношеніяхъ,—и онъ вездѣ, становясь въ урѣ съ обстоятельствами, остается неизмѣнно вѣренъ екоренному характеру. Хотите ли видѣть въ немъ эе естественное сочетаніе того, что дала ему природа навязать ему деспотизмъ духа времени,—прочтите еддуэль его съ Грушницкимъ: это торжество таланта искусства.

Впрочемъ, и здѣсь не найдете того широкаго, могущаго искусства, которое дается только гению. Истинное генное искусство сосредоточиваетъ все созданіе, какъ бы обширно ни было, на одной идеѣ, даетъ ему единствотереса, и поставляетъ всѣхъ дѣйствующихъ въ такіа шенія, что они, несмотря на большее или меньшее



тіе въ дѣйствіи, по личнымъ своимъ особенностямъ и ному значенію, составляютъ необходимыя условія для оты и стройности цѣлаго. А въ „Героѣ нашего времени“ есть такіа лица, присутствіе которыхъ здѣсь совершенно случайно, такъ, что они могутъ быть и не быть, и сть отъ этого ничего не выигрываетъ и не теряетъ; вихъ здѣсь нѣтъ такого дѣла, которое-бы не могло исполнено другими лицами; оттого и характеры ихъ нѣко не обозначились, и лица остались безъ физіономій. три отдѣльныя повѣсти, которыя имѣютъ свои особензавязки, особенныя развитія и особенныя интересы; въ , главное дѣйствующее лицо одно, но какое отношеніе ть Печоринъ въ Тамани къ Печорину, обольстителю и? Никакого! Итакъ, все доказываетъ, что Лермонтовъ , силачъ, способный поражать, но не возбуждать со- твіе.

*В. Плаксынъ.*

## КРИТИКА КОНЦА ПЯТИДЕСЯТЫХЪ ГОДОВЪ.

\*) По силѣ поэтическаго таланта Лермонтовъ (1814—1841) принадлежитъ къ Пушкинской школѣ, но содержаніе его поэзіи иное. Пушкинъ и послѣдователи его, какъ онъ выразился, были рождены „для вдохновенія, для звуковъ сладкихъ и молитвъ“; стихотворенія Лермонтова, напротивъ, отличаются отрицательнымъ характеромъ, а въ отрицаніи нѣтъ ничего сладкаго. Если элегія Баратынскаго запечатлѣнна безотрадною скорбью, то эта скорбь понятна, какъ слѣдствіе взгляда автора на міръ и на жизнь, — взгляда, сложившагося подъ вліяніемъ внѣшнихъ обстоятельствъ и серьезнаго мышленія. Гоголь изображалъ людскую пошлость, но онъ глубоко скорбѣлъ о ней во имя нравственныхъ требованій отъ человека, долженствующаго возвышаться, совершенствовать свою природу. Мучительная безнадѣжность Байрона, его гордость, скептицизмъ, жажда забвенія вытекали изъ разлада съ дѣйствительностью, изъ стремленія къ лучшему, изъ исканія новыхъ идеаловъ и отъ тоски по недостижимости искомаго. У Лермонтова, больше всѣхъ нашихъ поэтовъ подходившаго къ Байрону и свойствомъ таланта и энергіей словъ, идеаловъ нѣтъ. Ни онъ самъ ни герои, имъ созданные, не показываютъ, во имя чего они дѣйствуютъ, по какимъ причинамъ и побужденіямъ образовалось то духовное состояніе, которое обнаруживается въ ихъ дѣйствіяхъ, чувствахъ и понятіяхъ.

\*) Статья А. Галахова, перепечатанная изъ его „Исторіи русской словесности“. Въ №№ 13, 14 и 16 „Русскаго Вѣстника“ за 1858 г. помѣщено довольно обширное критическое изслѣдованіе о Лермонтовѣ А. Галахова, я не могъ найти указанныхъ №№ этого журнала въ московскихъ библіотекахъ. Полагая, что статья А. Галахова въ его „Исторіи русской словесности“ держитъ въ сжатомъ видѣ тѣ-же взгляды на Лермонтова и его литературу, дѣятельность, которые выражены имъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“, я поѣхалъ помѣщая здѣсь предлагаемую эту статью.

Для знакомства съ характеромъ любимыхъ героевъ Лермонтова надобно обратиться прежде всего къ его произведеніямъ эпическимъ и драматическимъ. Къ эпическимъ относятся стихотворныя повѣсти: Бояринъ Орша, Демонъ, Измаиль-Бей, Мцыри, Сказка для дѣтей, Хаджи-Абрекъ и романъ въ прозѣ „Герой нашего времени“; изъ драматическихъ болѣе замѣчательное—„Маскарадъ“. Главныя лица, выведенныя поэтомъ въ этихъ обоихъ родахъ, представляютъ поразительное между собою сходство, доходящее почти до тождества. Можно сказать, что это одинъ и тотъ же образъ, являющійся въ разныхъ возрастахъ и полахъ, въ разные времена и у разныхъ народовъ, подъ разными именами, а иногда и подъ однимъ именемъ. Такъ Арбенинъ выступаетъ въ трехъ сочиненіяхъ: отрокомъ во „Второмъ отрывкѣ изъ начатой повѣсти“, юношей въ драмѣ „Странный Человѣкъ“ и мужемъ въ драмѣ „Маскарадъ“. Нина (въ „Сказкѣ для дѣтей“) такая же героиня между женщинами, какъ Арбенинъ и Печоринъ (въ „Герое нашего времени“) среди мужчинъ. Эти послѣднія лица, будучи европейцами, служатъ подлинниками для азіатцевъ—Измаила, Хаджи-Абрека, Мцыри, которые въ свою очередь могли бы сдѣлаться образцами для европейцевъ. Бояринъ Орша и Арсеній, люди XVI в., ярко отражаются въ своихъ потомкахъ—Печоринѣ и Арбенинѣ, жителяхъ XIX в., современникахъ Лермонтова. Мало того: герои часто говорятъ одно и то же, выражаются одними и тѣми же словами. Такъ Арсеній и Мцыри, въ разсказахъ о своей жизни, какъ бы повторяютъ другъ друга. Само собою разумѣется, что всѣ эти лица обладаютъ одинаковымъ характеромъ, который обнаруживается въ нихъ съ самаго ранняго возраста и не покидаетъ ихъ до конца жизни. Арбенинъ, едва вышедъ изъ дѣтства, уже выказывалъ повелительность, гордость и презрѣніе. Болѣзнь развила въ шестилѣтнемъ Мцыри „могучій духъ“. Душа Арбенина-мужа ни въ комъ не принимала участія: всѣ ей были чужды, и она—всѣмъ чужая; онъ—въ высшей степени эгоистъ. Орша—страшно истителенъ. Всѣ безъ исключенія страдаютъ сомнѣніемъ,

скукой, жаждой забвенія, безнадежностью. На вопросъ Печорину: „что подѣлывали?“ онъ отвѣчаетъ: „скупалъ“ — Измаиль-Бей въ отчаяніи восклицаетъ: „все въ мірѣ есть — забвенія только нѣтъ“. Но самое отличительное, коренное свойство такихъ исключительныхъ личностей состоитъ въ томъ, что ихъ природа тревожна, что надъ ними властвуетъ какой-то фатумъ. Они сами себя называютъ дѣтьми рока, жертвами судьбы. Эти двѣ силы: природа и судьба и окружили ихъ такою атмосферой, въ которой они претерпѣваютъ страшныя мученія, изъ которой не въ силахъ выйти на свѣжій воздухъ. Вездѣ и всюду присутствуютъ у нихъ или судьба, какъ невѣдомая враждебная сила, или природа, даровавшая имъ неизмѣнныя наклонности, и потому играющая также роль судьбы. „На жизни я своей узналъ печать проклятья“; бываютъ люди, которыхъ бытіе — „причуда злой судьбы“: вотъ что говорятъ Арбенинъ и Измаиль. Но вмѣстѣ съ этимъ такіе люди сами одарены магическою, роковою силою, которую не въ состояніи сдерживать и отъ которой не желаютъ освободиться. Измаиль-Бей „не властенъ падить: его дыханье губить радость“; бурная природа Арбенина сокрушаетъ все на своемъ пути и съ гордымъ презрѣніемъ смотритъ на развалины; вмѣшательство Печорина въ чужую жизнь всегда разрѣшалось бѣдою, трагическимъ крушеніемъ надеждъ и счастья: „Сколько разъ игралъ я роль топора въ рукахъ судьбы! Какъ орудіе казни, я упалъ на голову обреченныхъ жертвъ, часто безъ злобы, всегда безъ сожалѣнія“. Понятно, что при такихъ двигателяхъ, каковы судьба и природа, человѣкъ, управляемый ими, движется невольно: ни измѣнить природу ни побѣдить судьбу невозможно. Невозвратно идетъ онъ туда, куда повела его случайность, какъ сказано въ „Сказкѣ для дѣтей“. О разумныхъ стремленіяхъ, о сознательномъ идеалѣ не можетъ быть и рѣчи. Арбенины, Печорины и всѣ подобныя имъ личности „сами не знаютъ, чего хотятъ“; они не знаютъ самихъ себя: „воспитаніе ли сдѣлало меня такимъ, Богъ ли такъ меня создалъ, не знаю“ (разсуждаетъ Печоринъ); знаю только, что если я причиной несчастья

другихъ, то я самъ не менѣ несчастливъ“. Дѣйствительно, достойны сожалѣнія эти Прометей, существенно отличные отъ своего прототипа тѣмъ, что настоящій Прометей зналъ, отъ чего онъ страдалъ, а они не знаютъ. Одаренные какою-то стихійною силою, большою въ количественномъ отношеніи, но недоброю или пустою въ отношеніи качественномъ, они не представляютъ никакихъ идеаловъ.

Но Лермонтовъ сочувствовалъ имъ, какъ показываютъ его личныя ощущенія, которыя частію проявлялись уже въ указанныхъ повѣстяхъ, но съ особенною силою и блескомъ раскрылись въ стихотвореніяхъ лирическихъ, какъ выраженіи его собственнаго духа. Видно, что герои этихъ повѣстей ему не чужіе, не только какъ автору, съ любовію творящему образы, но и какъ человѣку, распознающему въ нихъ себя самого, свое *я*. Такъ въ „посвященіи“ Демона *Сюж.* прямо говорится, что эта поэма, хотя сюжетъ ея заимствованъ изъ грузинскаго преданія, есть „простое выраженіе тоски, много лѣтъ тяготившей умъ поэта“. Эпиграфъ къ Измаилу-Бекю даетъ знать о внутреннемъ настроеніи поэта, родственномъ настроенію героя: въ немъ Лермонтовъ называетъ свою душу „безжизненною“, грудь „опустошенною тоской“, а вдохновеніе—воспѣвающимъ эту тоску, развалину страстей. Обрисовавъ характеръ Нины (въ „Сказкѣ для дѣтей“) —этой какъ бы родной сестры Арбениныхъ и Печориныхъ,—авторъ замѣчаетъ:

Такія души я любилъ давно  
Отыскивать по свѣту на свободѣ:  
*Я самъ, вѣдь, былъ немножко въ этомъ родѣ.*

Но самымъ лучшимъ подтвержденіемъ сходства между поэтомъ и созданными имъ лицами служить лирика, а въ ней наиболѣе характеристичное стихотвореніе „Парусъ“:

Блѣбеть парусъ одинокій  
Въ туманѣ моря голубомъ...  
Что ищетъ онъ въ странѣ далекой?  
Что кинулъ онъ въ краю родномъ?  
Играютъ волны, вѣтеръ свищетъ,  
И мачта гнется и скрипитъ...

Увы, онъ счастья не ищетъ,  
 И не отъ счастья бѣжить.  
 Подъ нимъ струя свѣтлѣй лазури,  
 Надъ нимъ лучъ солнца золотой;  
 А онъ, мятежный, проситъ бури,  
 Какъ будто въ буряхъ есть покой!

Ничѣмъ инымъ нельзя объяснить душевнаго настроенія-выраженнаго въ этихъ стихахъ, кромѣ врожденной склонности къ тревогѣ. Обстоятельства жизни совершенно благопріятны: и золотые лучи солнца и свѣтло-лазурныя воды. Обвинять ихъ нѣтъ никакого повода. Нельзя также думать, что, по естественной склонности нашего сердца, поэтъ недоволенъ тѣмъ, что имѣетъ, и стремится къ большему, лучшему: „онъ счастья не ищетъ“. Но отсюда, однакожъ, не слѣдуетъ, что счастье найдено: „онъ бѣжить не отъ счастья“. Онъ самъ не даетъ себѣ отчета, зачѣмъ бросилъ родину и направился въ далекій край. Положительныя тому причины имъ не указываются. Причина одна—природа. Мятежно-рожденный проситъ бури, потому что въ него вложенъ инстинктъ мятежа, и ему необходима непогода жизни—грозы и бури. Такъ Печоринъ не уживается съ мирною долею: его душа сроднилась съ битвами и бурями; онъ томится и вздыхаетъ на гостепріимномъ берегу, не прельщаясь ни тѣнистыми рощами ни солнечнымъ свѣтомъ. Такъ и Мцыри готовъ отдать двѣ спокойныя жизни за одну, полную тревогъ и битвъ; ничего не возьметъ онъ взаменъ живой дружбы межъ грозой и бурнымъ сердцемъ: онъ былъ бы радъ обняться съ бурей. Что въ „Парусѣ“ представлено эмблематически, то въ другихъ стихотвореніяхъ выражается непосредственно, безъ помощи аллегорій и символовъ. Въ „Романсѣ къ \*\*\*“ поэтъ уноситъ въ чужую сторону, подъ южное небо, свою „мятежную“ кручину; элегія: „Когда волнуется желтѣющая нива“ указываетъ, какъ иногда, при видѣ красоты природы, смиряется „тревога“ его души. Онъ и въ могилѣ хочетъ сохранить тревожный духъ, память своей тяжелой боли:

Покой, мира и забвенья  
 Не надо мнѣ \*).

\*) Любовь мертвеца.

Ничего онъ не ждетъ и ни о чемъ не жалѣеть:

Ужъ не жду отъ жизни ничего я,  
И не жаль мнѣ прошлаго ничуть \*).

То же чувствовалъ и Демонъ. Волшебный голосъ, утѣшая Тамару, говоритъ объ облакахъ, не оставляющихъ по себѣ слѣдовъ на небѣ:

Имъ въ грядущемъ нѣтъ желанья,  
Имъ прошедшаго не жаль.

Другіе два стиха въ томъ же описаніи облаковъ:

Часть разлуки, часть свиданья  
Имъ не радость, не печаль,

какъ бы повторены въ пьесѣ „Договоръ“:

Была безъ радости любовь,  
Разлука будетъ безъ печали.

Такимъ образомъ мысли, чувства и даже выраженія героевъ повѣстей и драмъ, въ лирическихъ произведеніяхъ относятся къ самому поэту, составляютъ его собственность: тотъ же духъ сомнѣнія, гордости и отчаянія, та же роковая сила судьбы и природы, то же неукротимое волненіе сердца. Отсюда естественно вытекаетъ заключеніе, что томительная душевная тоска поэта, какъ и созданныхъ имъ лицъ, происходитъ отъ пустоты души, отъ безвѣрія, отъ отсутствія идеала и, слѣдовательно, отъ неспособности къ очарованію. Поэзія его, по мѣткому слову Жуковского, есть поэзія „безочарованія“.

Но отчего бы ни болѣла душа поэта—по его ли собственной винѣ или по обстоятельствамъ, въ которыхъ онъ неповиненъ,—эта боль была томительная и тяжелая. Страдающій освобождался отъ нея временно при помощи тѣхъ предметовъ, которые, по своей сущности, противоположны душевной тревогѣ. Мирныя красоты природы, подчиненныя установленнымъ законамъ, тихая пѣсня незнакомаго сосѣда, слова молитвы, дарующей благодатную силу разбитому сердцу, видъ цвѣтущаго ребенка или память о другѣ, сохра-

\*) Элегія: „Выхожу одинъ я на дорогу“.

нившимъ и въ зрѣлыхъ лѣтахъ свойства дѣтскаго возраста... вотъ что умиряетъ внутреннее волненіе, наполняетъ грудь покоемъ, гонитъ сомнѣніе, внушаетъ вѣру. Тогда страдальцу становится легко: онъ можетъ постигать земное счастье и способенъ видѣть въ небесахъ Бога. Это бремя душевной тоски выразилось у Лермонтова превосходными элегіями: „Молитва“ („Въ минуту жизни трудную“), „Ребенку“, „Памяти А. И. Одоевскаго“, „Къ сосѣду“, „Ангель“, „Ребенка милаго рожденіе“..., „Выхожу одинъ я на дорогу“..., „Когда волнуется желтѣющая нива“... и др. Едва ли найдутся въ нашей элегической поэзіи равносильныя стихотворенія, въ которыхъ исповѣданіе печали поражаело бы такою искренностью, давало бы себя такъ сильно чувствовать, настраивалось бы на такой соотвѣтственный тонъ и облекалось бы въ такую изящную рѣчь. При чтеніи ихъ вполне понимаешь, какъ наболѣла душа страдальца, и неотразимо соболѣзнуешь о его душевной боли.

Кромѣ могучаго, титаническаго образа, въ поэзіи Лермонтова есть другой типъ, совершенно ему противоположный—типъ людей мелкихъ, слабодушныхъ и слабовольныхъ, возбуждающій не только сожалѣніе, но и презрѣніе. Таковъ князь Звѣздичъ (въ драмѣ „Маскарадъ“), характериземый однимъ изъ лицъ драмы:

Ты—безхарактерный, безнравственный, безбожный,  
Самолубивый, злой, но слабый человѣкъ;  
*Въ тебѣ одномъ весь отразился вѣкъ,*  
*Вѣкъ нынѣшній, блестящій, но ничтожный.*  
Наполнить хочешь вѣкъ, а ѡбгаешь страстей;  
Все хочешь ты имѣть, а жертвовать не знаешь;  
Людей безъ гордости и сердца презираешь,  
А самъ—игрушка тѣхъ людей.

Съ большею силой изображены черты этого ничтожнаго вѣка въ стихотвореніи „Дума“—прекрасномъ въ отношеніи поэтическомъ, но невѣрномъ по отношенію къ истинѣ. Въ немъ можетъ распознавать себя западный человѣкъ, но до насъ, русскихъ, оно не касается. Благодаря Бога, мы не имѣли и не имѣемъ причины бояться того безнадежнаго ду-



ховнаго состоянія, которое бичуетъ поэтъ. При всѣхъ успѣхахъ въ образованіи и литературѣ, общество наше, современное Лермонтову, заслуживало упреки не въ переарѣлости, а въ недозрѣлости, не во всезнаніи, а въ малознаніи. Мы не могли изсушить свой умъ наукой, потому что плохо, несерьезно ею занимались; она не принесла еще надлежащихъ плодовъ, и только въ этомъ смыслѣ должна быть названа „безплодною“. Если и встрѣчались между современниками Лермонтова субъекты, подобные тѣмъ, которыхъ преслѣдуетъ „Дума-сатира“, то это были единицы, да и тѣ большею частью жили чужимъ опытомъ, думали чужимъ умомъ, вычитаннымъ изъ чужихъ книгъ. Презрѣніе къ нимъ поэта понятно: все его сочувствіе лежитъ на сторонѣ противоположнаго типа, созданнаго подъ вліяніемъ Байрона. Вотъ почему онъ предпочитаетъ предковъ ихъ жалкимъ, хилымъ потомкамъ: предки хотя бросались изъ одного заблужденія въ другое, но имѣли надежду, испытывали опредѣленное, сильное наслажденіе, которое встрѣчаетъ душа въ борьбѣ съ людьми или судьбою; „а мы, потомки, скитающіеся по землѣ безъ убѣжденій и гордости, безъ наслажденія и страха, кромѣ той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбѣжномъ концѣ, мы не способны болѣе къ великимъ жертвамъ ни для блага человѣчества ни даже для собственнаго нашего счастья, потому что знаемъ его невозможность и равнодушно переходимъ отъ сомнѣнія къ сомнѣнію“ \*). Вотъ почему также Лермонтовъ выбиралъ нерѣдко въ своихъ повѣстяхъ мѣстомъ дѣйствія Кавказъ, а дѣйствующими лицами горцевъ—народъ первобытный, не утратившій естественныхъ силъ, и готовый отважно заявить ихъ при каждомъ случаѣ; или же обращался къ годамъ старымъ—къ нашимъ предкамъ, менѣе насъ знавшимъ, но пользовавшимся благами, для насъ заповѣдными.—Но, несмотря на предпочтеніе, оказанное поэтомъ первому типу—породѣ людей могучихъ,—этотъ типъ не можетъ служить вознагражденіемъ за ничтожность лицъ второго типа. Тотъ и дру-

\*) „Герой нашего времени“.

гой, несмотря на ихъ крайнюю противоположность, сходятся: оба равно страдаютъ отъ душевной пустоты, отъ отсутствія идеальныхъ стремленій, отъ безочарованія.

Изъ подражателей нашихъ Байрону Лермонтовъ несомнѣнно стоитъ на первомъ мѣстѣ, что зависѣло отъ родственности ихъ поэтическаго таланта и, можетъ быть, отъ сходства въ личномъ характерѣ. Слѣды подражанія видны во всемъ: въ образахъ героевъ, въ постройкѣ повѣстей, даже въ выраженіи (такъ, напримѣръ, въ „Измаилѣ-Бѣ“ виденъ Лара, сюжетъ „Боярина Орши“ подходитъ къ сюжетамъ „Абидосской невѣсты“ и „Паризины“). Никто до Лермонтова не былъ способенъ и переводить и воспроизводить Байрона. Къ сожалѣнію, герои англійскаго поэта, при переходѣ въ нашу литературу, потерпѣли значительное преображеніе, не къ выгодѣ, а въ ущербъ себѣ. Они сдѣлались или пустоватыми или звѣрскими натурами: Онѣгинъ вышелъ „Москвичомъ въ Гарольдовомъ плащѣ“; Алеко (въ Цыганахъ) поражаетъ Земфиру кинжаломъ; Арбенинъ отравляетъ свою жену; страшно-мстительный Орша запираетъ родную дочь въ башнѣ, гдѣ она медленно умираетъ отъ голода; Печоринъ служитъ орудіемъ казни, топоромъ палача, падающаго на жертву безъ сожалѣнія. Такіе нецивилизованные и цивилизованные варвары не могли долго временно существовать въ литературѣ. Они скоро ниспали съ незаслуженнаго ими высокаго пьедестала. Въ романѣ Авдѣева „Тамаринъ“, главное лицо этого имени, изъ образца своего, Печорина, обратился уже въ существо комическое, въ смѣшного фата, щеголявшаго разочарованіемъ.

Самъ Лермонтовъ, несомнѣнно, отрѣшился бы отъ подражательности Байрону. Онъ сознавалъ, что у него есть силы взойти на высшую ступень поэческаго творчества; и чувствовалъ призваніе быть воспроизводителемъ родной дѣйствительности:

Нѣтъ, я не Байронъ, я другой  
Еще невѣдомый избранникъ,—  
Какъ онъ, гонимый міромъ странникъ,  
Но только съ *русскою душой*.

А что онъ былъ бы дѣйствительно высокимъ мастеромъ на этой ступени, это доказано такими его стихотвореніями, какъ „Пѣсня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалаго купца Калашникова“, „Бородино“, „Валерикъ“, „Родина“, „Споръ“ и др., и такимъ созданіемъ, какъ штабсъ-капитанъ Максимъ Максимычъ. Не надобно забывать, что поэтъ умеръ двадцати шести лѣтъ, въ тотъ періодъ времени, когда другіе едва выходятъ на литературную карьеру. Литература наша понесла въ немъ великую потерю: при его могучемъ талантѣ, въ эпоху его полной зрѣлости, онъ несомнѣнно обогатилъ бы ее капитальными произведеніями. По направленію своего творчества, родственнаго съ направленіемъ Байрона, равно какъ и по языку, Лермонтовъ стоитъ особнякомъ, на почетномъ мѣстѣ въ исторіи нашей поэзіи. Его стихъ, не представляя такой граціи и художественной точности, какъ стихъ Пушкина, имѣетъ самобытное, характеристическое отличіе: силу, энергію. Не даромъ онъ называлъ его „железнымъ, облитымъ горечью и злостью“.

А. Галаховъ.

\* \*

\*) Въ Лермонтовѣ—двѣ стороны. Эти двѣ стороны: Арбенинъ (я беру нарочно самую рѣзкую сторону типа) и Печоринъ. Арбенинъ (или все равно: *Мицыри*, *Арсеній* и т. д.), это—необузданная страстность, рвущаяся на широкій просторъ, почти-что безумная сила, воспитавшаяся въ дикихъ понятіяхъ (припомните воспитаніе Арбенина или Арбеньева, такъ названо это лицо въ извѣстномъ Лермонтовскомъ отрывкѣ), воіюющая противъ всякихъ общественныхъ понятій и исполненная къ нимъ ненависти или презрѣнія, сила, которая сознаетъ на себѣ „печать проклятія“ и гордо носить эту печать, сила отчасти звѣрская, и которая сама въ лицѣ „Мицыри“ радуется братству съ барсами и волками. Пояснить возможность такого настроенія души поэта

\*) Ап. Григорьевъ. „Русское Слово“ 1859 г., № 3.

не можетъ, кажется мнѣ, одно вліяніе музы Байрона. Положимъ, что Лара, Манфредъ обаяніемъ своей поэзіи, такъ сказать, подкрѣпили, оправдали тревожныя требованія души поэта, — но самые элементы такого настроенія могли зародиться только или подъ гнетомъ обстановки, сдавливающей страстные порывы *Мицери* и *Арсенія*, или на дикомъ просторѣ разгула и неистоваго произвола страстей, на которомъ выросли впечатлѣнія *Арбенина*.

Представьте же подобнаго рода, подъ гнетомъ ли, на просторѣ ли развившіяся стремленія — въ столкновеніи съ общежитіемъ, и притомъ съ условнѣйшею изъ условныхъ сферъ его, съ сферою свѣтскою! Если эти стремленія — точно то, за что они выдаютъ себя, или, лучше сказать, чѣмъ они сами себя кажутся, — то они суть совсѣмъ противоположныя общественныя стремленія, не только что противоположныя въ смыслѣ условномъ; и — паденіе или казнь ждутъ ихъ неминуемо. Мрачныя, зловѣщія предчувствія такого страшнаго исхода отражаются во многихъ изъ лирическихъ стихотвореній поэта, и особенно ясно въ стихотвореніи: „Не смѣйся надъ моей пророческой тоскою“. Если же въ этихъ стремленіяхъ есть извѣстная натяжка, извѣстная напряженность, — выросшія опять-таки подъ гнетомъ или на дикомъ просторѣ, среди своевольныхъ беззаконій обстановки, то первое, чтó закрадется въ душу человѣка, тревожимаго ими или встрѣтившаго отпоръ имъ въ общежитіи, будетъ конечно, сомнѣніе, но еще не истинно разумное сомнѣніе въ законности произвола личности, а только сомнѣніе въ силѣ личности, въ средствахъ ея.

Вглядитесь внимательнѣе въ эту нелѣпую, съ дѣтской небрежностью набросанную хаотическую драму: „Маскарадъ“, и слѣдъ такого сомнѣнія увидите вы въ лицѣ *князя Звѣздича*, котораго одна изъ героинь опредѣляетъ такъ:

безнравственный, безбожный,  
Себялюбивый, злой, — но слабый человѣкъ!

Въ созданіи *Звѣздича* — выразилась минута первой схватки разрушительной личности съ условнѣйшею изъ сферъ обще-

житія, схватки, которая кончилась не къ чести дикихъ ребованій и необъятнаго самолюбія. Слѣды этой же пер-ой эпохи, породившей разувѣреніе въ собственныхъ силахъ, отпечатлѣлись во множествѣ стихотвореній, изъ которыхъ одно замѣчательно наиболѣе по строфѣ, опредѣляющей вполнѣ минуту подобнаго душевнаго настроиства:

Любить? но кого же? на время не стоить труда,

А вѣчно любить невозможно!

*Въ себѣ ли заглянши? тамъ прошлаго нѣтъ и слѣда;*

*И радость, и горе, и все тамъ ничтожно!*

И много неудавшихся Арбениныхъ, оказавшихся при столкновеніи съ свѣтскою сферою жизни Соллогубовскими Леонинными, — отозвались на эти строки горькаго, тяжелаго разубѣжденія: одни только Звѣздичи остались собою совершенно довольны.

Между тѣмъ, лицо Звѣздича и нѣсколько подобныхъ стихотвореній—это тотъ пунктъ, съ котораго въ натурѣ нравственной, т. е. крѣпкой и цѣльной, должно начаться правильное, т. е. комическое, и притомъ безпощадно комическое отношеніе къ дикому произволу личности, оказавшемуся несостоятельнымъ. Но гордость рѣдко можетъ допустить такой поворотъ.

Въ стремленіи къ идеалу, или на пути духовнаго совершенствованія, всякаго стремящагося ожидаютъ два подводныхъ камня: отчаяніе съ сознанія своего собственнаго несовершенства, изъ котораго есть еще выходъ, и неправильное, не прямое отношеніе къ своему несовершенству, которое почти совершенно безвыходно. Что человѣку неприятно и тяжело сознать свои слабыя стороны, это, конечно, не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію: задача здѣсь преимущественно въ томъ, чтобы къ этимъ слабымъ сторонамъ своимъ отнестись съ полною, безпощадною справедливостію. Самое обыкновенное искушеніе въ этомъ случаѣ—уменьшить въ собственныхъ глазахъ свои недостатки. Но есть искушеніе несравненно болѣе тонкое и опасное; именно: преувеличить свои слабости до той степени, на которой они получаютъ извѣстную значимость, и пожалуй,

даже, по извращеннымъ понятіямъ современнаго челоѣка—величавость и обаятельность зла. Мысль эта станетъ совершенно понятна, если я напому обаятельную атмосферу, которая разлита вокругъ образовъ, не говорю уже Маяфреда, Лары, Гяура,—но Печорина и Ловласа—психологическій фактъ, весьма нерѣдкій съ тѣхъ поръ, какъ

Британской музы небылицы  
Тревожатъ сонъ отроковицы...

Возьмите какую угодно страсть и доведите ее въ нашемъ представленіи до извѣстной степени энергіи, поставьте ее въ борьбу съ окружающею ее обстановкою—ваше трагическое воззрѣніе закроетъ отъ васъ всѣ мелкія пружины ея дѣятельности. Эгоизму современнаго челоѣка несравненно легче помириться въ себѣ съ крупнымъ преступленіемъ, чѣмъ съ мелкой и пошлою подлостью; гораздо пріятнѣе вообразить себя Ловласомъ, чѣмъ Гоголевскимъ Собакевичемъ, скупымъ рыцаремъ, чѣмъ Плюшкинымъ, Печоринимъ, чѣмъ Меричемъ; даже, ужъ если на то пошло, Грушницкимъ, чѣмъ Милашинымъ Островскаго, потому что Грушницкій хотъ умираетъ эффектно! Сколько лягушекъ надуваются по этому случаю въ волонъ, въ насъ самихъ и вокругъ насъ! Сколько людей *желаютъ* показаться себѣ и другимъ *преступными*, когда они сдѣлали только *пошлость*, сколько гаденькихъ чувственныхъ пополазновеній стремятся припять въ насъ размѣры колоссальныхъ страстей! Хлестаковъ, даже Хлестаковъ, и тотъ зоветъ городничиху „удалиться подъ сѣнь струй“; Меричъ въ „Бѣдной Невѣстѣ“ самодовольно проситъ Марью Андреевну простить его, что онъ „возмутилъ миръ ея невинной души“. Тамаринъ радъ радехонекъ, что его зовутъ демономъ!

Такимъ образомъ, даже и по наступленіи той минуты съ которой въ натурѣ нравственной должно начаться правильное, т. е. комическое отношеніе къ собственной мелочности и слабости, гордость, вмѣсто прямого поворота предлагаетъ намъ изворотъ. Изворотъ же заключается въ томъ, чтобы поставить на ходули безсильную страстности души, признать ея требованія все-таки правыми; пере-

ши минуты презрѣнія къ самому себѣ и къ своей личности, сохранить однако вражду и презрѣніе къ дѣйствительности. Посредствомъ такого изворота, лицо Звѣздича, процессъ Лермонтовскаго развитія, переходить въ типъ юрина. Въ сущности, что такое Печоринъ? Смѣсь Арбескихъ беззаконій съ свѣтскою холодностію и безсовѣстію Звѣздича, котораго всѣ неблестящія и невыгодныя стороны пошли въ созданіе Грушницкаго, существующее въ романѣ исключительно только для того, чтобы юринъ, глядя на него, какъ можно болѣе любовался имъ, и чтобы другіе, глядя на Грушницкаго, болѣе любили Печорина. Что такое Печоринъ?—существо совершенно двойственное, человѣкъ, смотрящійся въ зеркало едѣ дуэлью съ Грушницкимъ, и рыдающій, почти грызущій землю, какъ звѣренокъ „Мцыри“, послѣ тщетной оны за Вѣрою. Что такое Печоринъ?—Поставленное на ули безсиліе личнаго произвола! Арбенинъ съ своими бузданно самолюбивыми требованіями *провалился* въ называемомъ свѣтѣ: онъ явился снова въ костюмѣ юрина, искупенный сомнѣніемъ въ самомъ себѣ, болѣе хитрый, чѣмъ заносчивый,—и такъ называемый свѣтъ поклонился...

Ап. Григорьевъ.

## КРИТИКА ШЕСТИДЕСЯТЫХЪ ГОДОВЪ.

\*) Спѣшимъ порадовать нашихъ читателей очень пріятною новостью: въ Петербургѣ вышло въ свѣтъ полное собраніе „Сочиненій Лермонтова“, изданное г. Глазуновымъ подъ редакціей г. Дудышкина. Мы получили первый томъ этого прекраснаго изданія (всѣхъ томовъ будетъ два), съ портретомъ Лермонтова (гравированъ профессоромъ Иорданомъ) и двумя снимками съ почерка поэта. Представляя библиографамъ оцѣнить специально библиографическое достоинство изданія, считаемъ не лишнимъ сдѣлать выписку изъ примѣчаній г. Дудышкина къ первому тому. Слѣдующее примѣчаніе познакомитъ нашихъ читателей съ самыхъ характеромъ изданія:

„Первый вопросъ, который задаетъ себѣ каждый, конечно, будетъ состоять въ слѣдующемъ: чѣмъ отличается это изданіе отъ предшествовавшихъ?

„Удовлетворяемъ этому требованію.

„Въ прежнее время, издавая полное собраніе сочиненій какого-нибудь автора, издатели обыкновенно брали на себя трудъ, по своему усмотрѣнію, разбить произведенія поэта на множество отдѣловъ, раздѣленій и подраздѣленій: элегій, одъ, сатиръ, посланій, поэмъ, антологическихъ стихотвореній и пр. и пр. Невольно рождался вопросъ: съ какою цѣлю производилось это насильственное размежеваніе, и кому отдавали издатели отчетъ въ этихъ схоластическихъ категоріяхъ? Дѣлалось все это съ цѣлю возвысить автора, о которомъ можно было сказать, что онъ пишетъ во всѣхъ родахъ: сатиры и элегій, оды и посланія, комедіи и трагедіи, драмы и повѣсти.

„Эта форма изданій пала вслѣдствіе того, что теорія поэзіи признала только три главные рода поэтическихъ произведеній: лирику, эпическій разсказъ и драму.

\*) „Московскія Вѣдомости“ 1860 г., № 87. „Библиографическое извѣстіе“.



„Но и эта форма изданій, истинная въ теоретическомъ отношеніи, оказалась на практикѣ мало удобною, потому что не всегда объясняла автора, а въ этомъ, мы полагаемъ, и состоитъ главная цѣль хорошаго изданія. Авторъ могъ быть преимущественно драматургомъ, могъ писать во всѣхъ родахъ, но имѣть значеніе поэта лирическаго. Какъ быть: лирика признается теоріей, какъ низшая ступень искусства, вѣнецъ котораго въ драмѣ. Авторъ могъ начать свою дѣятельность поэмами или драмами (случай съ Лермонтовымъ) и окончить ее лирическими произведеніями: на основаніи теоріи трехъ отдѣловъ пришлось бы, къ концу книги, а повидимому, и дѣятельности поэта, печатать самыя незрѣлыя и дѣтскія произведенія.

„Въ этомъ случаѣ здравый смыслъ указывалъ на хронологическій порядокъ, а исторія литературы указывала на необходимость его какъ единственнаго средства для уясненія развитія таланта. Мы приняли этотъ порядокъ при изданіи Лермонтова, хотя въ примѣненіи къ нашему поэту и здѣсь нужно было нѣсколько измѣненій, на основаніи слѣдующихъ соображеній.

„Для поясненія развитія какого-нибудь таланта, начали отыскивать всюду и все, что онъ писалъ; это повело къ тому, что издатели включали въ полное собраніе стихотворенія, которыя самъ авторъ при жизни не печаталъ, считая ихъ слабыми и недостойными явиться въ свѣтъ. Потомъ начали отыскивать и печатать всѣ юношескія упражненія и даже дѣтскія сочиненія авторовъ... матеріалы, изъ которыхъ впоследствии выработались, можетъ быть, два-три стихотворенія. Эти матеріалы совершенно загромождали то небольшое, но уже отдѣланное, что уже составило имя автору; вмѣсто поясненія писателя, часто затемняли смыслъ его, потому что относили произвольно къ тому или другому году стихотвореніе первой молодости, отрывокъ, недоконченную картину.

„Все это дѣлалось и дѣлается съ самою похвальною цѣлю; только результатъ не оправдываетъ этихъ стараній. Пока, напр., Лермонтовъ былъ живъ, онъ былъ извѣстенъ

публикѣ по тоненькой книжкѣ перваго изданія его стихотвореній и по „Герою нашего времени“. Публика была въ восторгѣ отъ его поэзіи, отъ его стиха и прозы. Личность Лермонтова рисовалась необыкновенно рельефно на нашемъ литературномъ горизонтѣ, и публика вѣрила, что каждый его стихъ, если является въ печати, то былъ достоинъ того. Такъ приучилъ ее поэтъ, пять лѣтъ—только пять лѣтъ!—печатавшій свои произведенія въ журналахъ и подъ своимъ именемъ. Выборъ пьесъ его былъ строгъ. Такъ онъ не внесъ въ первое изданіе своихъ стихотвореній: цѣлыя тетради лирическихъ произведеній, „Казначейшу“ и „Хаджи-Абрека“, уже печатанныхъ безъ его вѣдома, „Измаилъ-Бей“, „Боярина Оршу“, поэму „Ангель Смерти“, „Маскарадъ“ и другія драмы, уже написанныя имъ, но которыя онъ тщательно скрывалъ. Вдругъ, со смертью Лермонтова, начинается чуть не наводненіе его стихотвореній, сначала достойныхъ печати, которыя онъ самъ присылалъ съ Кавказа, или которыя были найдены въ его записной книжкѣ, потомъ юношескихъ произведеній 1831—1834 годовъ, произведеній, отысканныхъ въ его тетрадяхъ. Эти юношескія поэмы, драмы и другія стихотворенія совершенно поглотили тѣ отдѣльные произведенія, которыми дорожилъ самъ поэтъ, и которыя составляли его славу... Юношескія произведенія Лермонтова!.. да онъ умеръ почти юношей, потому что ему тогда (въ 1841 г.) было только двадцать седьмой годъ.

„Такимъ образомъ, въ хронологическомъ порядкѣ стихотвореній Лермонтова, оказалось необходимымъ сдѣлать два главныхъ подраздѣленія: то, что самимъ Лермонтовымъ было напечатано, что онъ считалъ достойнымъ явиться въ печати, отдѣлить отъ того, что напечатано послѣ его смерти, изъ его раннихъ произведеній.

„Подраздѣленіе на лирическія стихотворенія, повѣсти и драмы, нейдетъ къ Лермонтову, потому что драмы его принадлежать къ юношескимъ произведеніямъ, тогда какъ въ теоріи драма есть вѣнецъ искусства. Лермонтовъ—лирикъ по преимуществу, вездѣ лирикъ, и въ повѣсти и въ

драмѣ. Художническій элементъ, такой сильный въ немъ, что видно изъ „Сказки о купцѣ Калашниковѣ“, изъ „Бородина“, изъ „Сказки для дѣтей“, изъ мастерства въ рисункѣ характеровъ, каковы: Максимъ Максимычъ, Бѣла,—изъ картинности пейзажей—все-таки былъ всюду заглушенъ исключительнымъ лиризмомъ. Годы, нѣтъ никакого сомнѣнія, взяли бы свое, отрезвили бы этотъ исключительный потокъ лирическаго порыва; но Лермонтову не суждено было достигнуть зрѣлой поры творчества: онъ палъ на дуэли въ то время, когда, если можно судить по „Сказкѣ для дѣтей“, прежніе идеалы начинали казаться ему дѣтскими. Къ чему же, въ такомъ случаѣ, подраздѣленіе на лирическія стихотворенія, повѣсти и драмы?

„Вслѣдствіе всего этого порядокъ, принятый нами въ изданіи, хронологическій, какъ сказано выше. Мы болѣе всего хлопотали надъ восстановленіемъ этого порядка. Потомъ мы его подраздѣлили на два главные отдѣла. Первый отдѣлъ (и первый томъ) заключаетъ все то, что самъ Лермонтовъ печаталъ или признавалъ годнымъ къ печати; второй отдѣлъ (и томъ) будетъ заключать всѣ стихотворенія Лермонтова, отъ первыхъ попытокъ до полного образованія Лермонтовскаго стиха и прозы. Найденныя нами тетрадки Лермонтова и многія новыя стихотворенія дѣлаютъ весь художническій постепенно развивающійся трудъ Лермонтова почти нагляднымъ, и во многихъ случаяхъ замѣняютъ недостаточныя біографическія свѣдѣнія о поэтѣ“.

*Изъ „Московскихъ Вѣдомостей“ 1860 г.*

\*  
\* \*

\*) Выписываемъ это заглавіе не для того, чтобы разбирать художественное и общественное значенія поэзіи Лермонтова, чтобы опредѣлять степень его важности и вліянія въ русской литературѣ и въ русской жизни. Такая задача

---

\*) „Русское Слово“ 1860 г., № 5. О сочиненіяхъ Лермонтова. („Сочиненія Лермонтова, приведенныя въ порядокъ и дополненныя С. С. Дудышкинымъ“).

несовмѣстима съ тѣсными предѣлами библиографической замѣтки. Мы хотимъ сказать нѣсколько словъ лишь о достоинствахъ и недостаткахъ новаго изданія.

До сихъ поръ Лермонтовъ былъ изданъ крайне плохо, безъ всякаго критическаго размѣщенія текста, какъ попало. Сочиненія зрѣлой его поры, отдѣланныя имъ и назначенныя къ печати, смѣшивались съ дѣтскими опытами, которыхъ онъ никогда не хотѣлъ печатать; ошибки и опечатки одного изданія повторялись слѣдующимъ и т. под. Такъ въ стихотвореніи „Изъ Гёте“ стихъ: „Горныя вершины“ чуть-ли не въ трехъ изданіяхъ читался: „Гордыя вершины“.

Къ несчастію Лермонтовъ былъ не единственною жертвою небрежности и невниманія русскихъ издателей. Стыдно сказать, а между тѣмъ это правда: *ни одного* изъ нашихъ писателей до Пушкина не издано у насъ хоть мало-мальски порядочно. Смирдинское „Полное собраніе русскихъ авторовъ“ только перепортило текстъ и отерочило хорошія изданія, будучи напечатано въ очень значительномъ количествѣ экземпляровъ. До сихъ поръ у насъ нѣтъ сносныхъ изданій не только второстепенныхъ писателей, какъ, напримеръ, Дмитріева, Богдановича, но и главныхъ свѣтильницъ литературы, Ломоносова, Карамзина. Мы говоримъ только о настоящемъ времени, ибо въ прошломъ столѣтіи и въ началѣ нынѣшняго были для своей поры прекрасныя изданія. Такъ ничто до сихъ поръ не замѣняетъ еще, по поправности текста и изяществу, перваго изданія сатиръ Кнутамира; лучшія изданія Ломоносова принадлежатъ тоже прошлому вѣку.

Въ послѣднее время явилось, впрочемъ, съ легкой руки П. В. Анненкова, образцово издаваемаго Пушкина, нѣсколько тщательныхъ и выполненныхъ съ знаніемъ дѣла изданій. Типоно исавковское изданіе „Сочиненій Пушкина“, которое цѣлѣмъ анненковскаго, могло бы быть, впрочемъ, и болѣе правильно въ корректурномъ отношеніи; таково изданіе в. Кулиша „Сочиненій и писемъ Гоголя“; таково, наконецъ, изданіе „Сочиненій Лермонтова“, приготовленное в. Дудышкинымъ.

Одна изъ главныхъ особенностей новаго изданія это—распредѣленіе всей массы оставшихся послѣ Лермонтова произведеній на двѣ половины. Къ первой (которая и составила содержаніе перваго, теперь вышедшаго тома) г. Дудышкинъ отнесъ все, что Лермонтовъ печаталъ при жизни и признавалъ годнымъ къ печати. Вторая половина, изъ которой будетъ состоять второй и послѣдній томъ, заключаетъ въ себѣ всѣ остальные стихотворенія Лермонтова, отъ первыхъ попытокъ до полнаго образованія его стиха и прозы.

Въ „Отечественныхъ Запискахъ“ прошлаго года (№№ 10 и 11) г. Дудышкинъ помѣстилъ разборъ бывшихъ у него въ рукахъ „Ученическихъ тетрадей Лермонтова“. Эти тетради, а также и многія новыя стихотворенія, помѣщенные въ этомъ изданіи, дѣлають, по словамъ издателя, весь художническій, постепенно развивающійся трудъ Лермонтова почти нагляднымъ и во многихъ случаяхъ замѣняютъ недостаточныя біографическія свѣдѣнія о поэтѣ.

Нынѣ вышедшій томъ начинается статьею г. Дудышкина „Вмѣсто предисловія“, въ которой, въ немногихъ словахъ, но точно и ярко обрисована литературная личность Лермонтова и его отношенія къ Байрону, съ которымъ у него было много родственнаго и въ самомъ характерѣ, независимо отъ вліянія произведеній англійскаго поэта. Въ упомянутыхъ выше статьяхъ г. Дудышкина мы нашли одну очень характеристическую замѣтку пятнадцатилѣтняго Лермонтова въ одной изъ его черновыхъ тетрадей. „Есть сходство въ жизни моей съ лордомъ Байрономъ“, замѣчаетъ онъ. „Его матери, въ Шотландіи, предсказала старуха, что онъ будетъ *великій человекъ* и будетъ два раза *женатъ*; про меня, на Кавказѣ, предсказала то же самое старуха моей бабушкѣ. Дай Богъ, чтобы и надо мной сбылось, хотя бы я былъ также несчастливъ, какъ Байронъ“.

Стихотворенія начинаются съ *Ангела* („По небу полуночи ангелъ летѣлъ“), написаннаго въ 1831 году. Къ нему прибавлена въ выноскѣ неизвѣстная, самимъ Лермонтовымъ уничтоженная и не замѣчательная строфа. Далѣе слѣдуетъ *Демонъ*, занимавшій мысль Лермонтова съ 1829 по 1834 годъ.

Второй томъ (котораго ожидаемъ съ нетерпѣніемъ), вмѣстѣ съ немногими біографическими свѣдѣніями, дополнить, какъ говорить издатель, исторію этого быстро развившагося и скоро оставившаго русскую литературу громаднаго таланта.

Наружный видъ изданія очень изященъ: хорошая бумага, прекрасно гравированный портретъ, два факсимиле, одно съ черновой рукописи „Сказки для дѣтей“, а другое съ перебѣленного стихотворенія „Журналистъ, читатель и писатель“... тогда какъ про прежнія изданія Лермонтова можно было сказать его же стихами:

„Во-первыхъ,—сѣрая бумага;  
Она, быть можетъ, и чиста,  
Да какъ-то страшно безъ перчатокъ...  
Читаешь—сотни опечатокъ!“

*Изъ «Русскаго Слова» за 1860 г., статья М. Л.*

\* \*

\*) Десять лѣтъ тому назадъ, именно въ 1852 году, вышелъ въ Берлинѣ нѣмецкій переводъ всѣхъ лучшихъ стихотвореній Лермонтова, сдѣланный однимъ изъ самыхъ даровитыхъ современныхъ поэтовъ Германіи, Фридрихомъ Боденштедтомъ. Сколько помнится, въ нашихъ журналахъ было тогда два-три коротенькихъ извѣстія объ этомъ переводѣ; въ нихъ, какъ водится, въ общихъ фразахъ отдавалась честь добросовѣстности и старательности нѣмецкаго переводчика, его отличному знанію русскаго языка, столь рѣдкому въ европейскомъ литераторѣ, и т. д. Все это совершенно справедливо, и переводъ Боденштедта дѣйствительно превосходный переводъ, но, кромѣ литературнаго достоинства этого труда, которое, конечно, очень пріятно для нѣмцевъ, но для насъ, русскихъ, дѣло довольно постороннее—кромѣ литературнаго достоинства, два нѣмецкихъ тома сочиненій Лермонтова представляютъ нѣсколько очень любопытныхъ матеріаловъ для біографіи и характеристики на-

\*) „Современникъ“ 1861 г., № 2. Стр. 317. „Замѣтка о Лермонтовѣ.“ (Статья Л.).

Въ пьесѣ: *И скучно и грустно*, тоже странно видѣть неправильный стихъ:

„А годы проходятъ—*всѣ* лучшіе годы!“

Не „*всѣ* лучшіе годы“, а „*все* лучшіе годы“.

Еще одинъ недосмотръ, въ которомъ, можетъ быть, впрочемъ, издатель и не виноватъ. Въ предисловіи, между прочимъ, сказано: „За Байрономъ послѣдовалъ въ эту область и Лермонтовъ въ своемъ *Демонѣ*, восточной сказкѣ, съ „эпиграфомъ изъ *Каина*“. Развертываемъ „Демона“: эпиграфа не оказывается.

Изъ числа другихъ стихотвореній въ первомъ томѣ новаго изданія слѣдуетъ указать еще на впервые вошедшее въ собраніе сочиненій Лермонтова стихотвореніе *На смерть Пушкина*. Оно теперь напечатано цѣликомъ, за исключеніемъ лишь одной строки, которую слѣдовало бы отмѣтить—между стихомъ: „Игрою счастья униженныхъ рабовъ“ и стихомъ: „Свободы, генія и славы палачи!“

Въ число стихотвореній послѣдняго года жизни Лермонтова (1841) г. Дудышкинъ помѣстилъ и нѣкоторыя недодѣланныя пьесы и нѣкоторые отрывки. Они какъ-то нарушаютъ стройное развитіе таланта поэта, за которымъ мы слѣдимъ постепенно по всей книгѣ. Не надо было-бы забывать, что инныя изъ помѣщенныхъ пьесъ и отрывковъ лишь черновые наброски. Таковы, по нашему мнѣнію, горская легенда *Бѣглецъ*, „Не смѣйся надъ моею пророческой тозкой“. Ихъ лучше бы отнести ко второму отдѣлу, тѣмъ болѣе, что въ первомъ не помѣщено и довольно стройныхъ уже пьесъ: „Какъ мальчикъ кудрявый рѣзва“ и *Посвященіе къ „Демону“*.

При стихотвореніи *Видъ горъ изъ степей Козлова* слѣдовало бы отмѣтить, что это подражаніе одному изъ „Крымскихъ Сонетовъ“ Мицкевича. Не замѣчено также, что пьесы *Сосна* и „Они любили другъ друга такъ долго и нѣжно“ взяты у Гейне.

Первый томъ заключается „Героемъ нашего времени“ и примѣчаніями издателя, гдѣ изложенъ планъ, которому онъ слѣдовалъ.

себѣ труда даже объяснить въ нихъ кое-что, бросающее въ глаза благомыслящихъ людей тѣнь на убѣжденія поэта. Именно это обстоятельство заставило насъ вспомнить книгу Боденштедта и привести изъ нея то, чего не представляет новое русское изданіе.

„Произведенія Лермонтова—его біографія“, замѣчаетъ Боденштедтъ. Такъ смотритъ на нихъ отчасти и русскій издатель, но онъ забываетъ, что недостаточно выставить надъ страницей цифру года, чтобы объяснить, почему стихотвореніе, напечатанное на этой страницѣ, противорѣчитъ духу всѣхъ другихъ страницъ книги. Дѣйствительно, въ произведеніяхъ Лермонтова предстаетъ намъ, какъ живая, его личность; но вы печатаете стихотвореніе, которое совсѣмъ нарушаетъ представленіе, составленное нами о поэтѣ. Скажите же, по крайней мѣрѣ, что это такое: шутка, пародія или безсознательное еще, дѣтское повтореніе съ чужого голоса чужихъ словъ?

Если не за прямымъ отвѣтомъ на этотъ вопросъ, то за объясненіемъ личнаго и литературнаго характера Лермонтова не мѣшаетъ обратиться къ книгѣ Боденштедта. Мы приведемъ въ возможно полномъ изложеніи его прекрасную характеристику.

„Немногіе поэты“, говоритъ Боденштедтъ, „сумѣли подобно Лермонтову, остаться во всѣхъ обстоятельствахъ жизни вѣрными искусству и самимъ себѣ.“

„Выросшій среди общества, гдѣ лицемеріе и ложь считаются признаками хорошаго тона, Лермонтовъ, до послѣдняго вздоха, остался чуждъ всякой лжи и притворства.“

„Несмотря на то, что онъ много потерпѣлъ отъ ложныхъ друзей, а тревожная кочевая жизнь не разъ вырывала его изъ объятій истинной дружбы, онъ оставался неизмѣнно вѣренъ своимъ друзьямъ и въ счастіи и въ несчастіи;—но за то былъ непримиримъ въ ненависти. А онъ имѣлъ право ненавидѣть; имѣлъ его болѣе нежели кто-либо!“

„Что внутренне возвышало его, было орудіемъ противъ него извнѣ. Но онъ не переставалъ чтить Бога, жившаго въ его сердцѣ... Оскорбленный въ томъ, что казалось ему



шего поэта. Объ этомъ, кажется, ничего не говорилось въ краткихъ извѣстіяхъ русскихъ журналовъ о переводѣ Боденштедта. Русскимъ издателямъ Лермонтова, должно быть, онъ былъ совершенно неизвѣстенъ,—не исключая и г. Дудышкина, который съ такою тщательностью пересмотрѣлъ бумаги, оставшіяся послѣ Лермонтова, и составилъ изъ этихъ приговорительныхъ, черновыхъ работъ, признанныхъ самимъ поэтомъ недостойными печати, цѣлый томъ, чуть не вдвое толще того тома, гдѣ собрано все, одобренное имъ для печати. Жалуясь въ предисловіи на скудость печатныхъ біографическихъ свѣдѣній о Лермонтовѣ, издатель ни полусловомъ не намекаетъ на Боденштедта, который заслуживаетъ, по нашему мнѣнію, по малой мѣрѣ, такого же вниманія, какъ и немногія русскія извѣстія о Лермонтовѣ, найденныя г. Дудышкинымъ въ нашихъ журналахъ за послѣдніе годы. Фактовъ біографическихъ въ предисловіи и послѣсловіи Боденштедта къ своему переводу не много; но гдѣ же это богатство фактовъ у насъ, чтобы пренебрегать такими свѣдѣніями? Боденштедтъ зналъ Лермонтова лично, и притомъ настолько близко, что получилъ отъ него самого нѣсколько въ высшей степени любопытныхъ стихотвореній, неизвѣстныхъ у насъ и по имени. Мы покажемъ дальше, какимъ важнымъ документомъ должны служить эти стихотворенія для характеристики направленій и убѣжденій Лермонтова.

Напечатанная Боденштедтомъ въ концѣ его перевода статья о значеніи Лермонтова въ русской жизни и литературѣ, несмотря на свою краткость, гораздо полнѣе и лучше объясняетъ намъ его поэтическую личность, чѣмъ длинныя разсужденія о преимуществахъ извѣстныхъ литературныхъ направленій, къ которымъ можно на живую нитку пристегнуть направленіе Лермонтова. Надо сказать правду, въ нашихъ критическихъ статьяхъ о Лермонтовѣ гораздо болѣе говорилось о байронизмѣ и Байронѣ, чѣмъ о немъ. У г. Дудышкина было въ рукахъ много матеріаловъ для характеристики и литературной оцѣнки Лермонтова; но онъ почти всѣ эти матеріалы напечаталъ въ сыромъ видѣ и не далъ

себѣ труда даже объяснить въ нихъ кое-что, бросающее въ глаза благомыслящихъ людей тѣнь на убѣжденія поэта. Именно это обстоятельство заставило насъ вспомнить книгу Боденштедта и привести изъ нея то, чего не представляет новое русское изданіе.

„Произведенія Лермонтова—его біографія“, замѣчаетъ Боденштедтъ. Такъ смотритъ на нихъ отчасти и русскій издатель, но онъ забываетъ, что недостаточно выставить надъ страницей цифру года, чтобы объяснить, почему стихотвореніе, напечатанное на этой страницѣ, противорѣчитъ духу всѣхъ другихъ страницъ книги. Дѣйствительно, въ произведеніяхъ Лермонтова предстаетъ намъ, какъ живая, его личность; но вы печатаете стихотвореніе, которое совсѣмъ нарушаетъ представленіе, составленное нами о поэтѣ. Скажите же, по крайней мѣрѣ, что это такое: шутка, пародія или безсознательное еще, дѣтское повтореніе съ чужого голоса чужихъ словъ?

Если не за прямымъ отвѣтомъ на этотъ вопросъ, то зѣвая объясненіемъ личнаго и литературнаго характера Лермонтова не мѣшаетъ обратиться къ книгѣ Боденштедта. Мы приведемъ въ возможно полномъ изложеніи его прекрасную характеристику.

„Немногіе поэты“, говоритъ Боденштедтъ, „сумѣли подобно Лермонтову, остаться во всѣхъ обстоятельствахъ жизни вѣрными искусству и самимъ себѣ.“

„Выросшій среди общества, гдѣ лицемеріе и ложь считаются признаками хорошаго тона, Лермонтовъ, до послѣдняго вздоха, остался чуждъ всякой лжи и притворства.“

„Несмотря на то, что онъ много потерпѣлъ отъ ложныхъ друзей, а тревожная кочевая жизнь не разъ вырывала его изъ объятій истинной дружбы, онъ оставался неизмѣнно вѣренъ своимъ друзьямъ и въ счастіи и въ несчастіи;—но за то былъ непримиримъ въ ненависти. А онъ имѣлъ право ненавидѣть; имѣлъ его болѣе нежели кто-либо!“

„Что внутренне возвышало его, было орудіемъ противъ него извнѣ. Но онъ не переставалъ чтить Бога, жившаго въ его сердцѣ... Оскорбленный въ томъ, что казалось ему

вятымъ, въ разладѣ со всѣмъ окружающимъ; преслѣдуемый, когда начиналъ говорить; подозрѣваемый, когда молчалъ; окруженный со всѣхъ сторонъ непріязнью, и неспособный подавлять надолго свои мысли и чувства, онъ могъ вполне беззавѣтно довѣряться только поэзіи. Она утѣшала и ознаграждала его за житейскія разочарованія и лишенія.

„Онъ былъ счастливъ только, когда творилъ; а творить онъ могъ только въ минуты вдохновенія, что бы ни вдохновляло его: — радость, горе, негодованіе, отчаяніе или гордое сознаніе своей силы. Но безъ этого побужденія, безъ истиннаго душевнаго порыва, онъ никогда не бросался въ объятія музыки, — такъ что всѣ его произведенія могутъ называться написанными на случай, *Gelegenheits-Gedichte* въ томъ смыслѣ, какой придавалъ этому названію Гёте.

„Неопредѣленные, заоблачные сны фантазіи были ему совершенно чужды; куда ни обращалъ онъ глазъ, къ небу или къ аду, онъ всегда отыскивалъ прежде всего твердую точку опоры на землѣ.

„Вотъ этимъ-то свойствомъ, да кромѣ того тѣмъ, что ермонтовъ въ совершенствѣ владѣлъ языкомъ и былъ одаренъ тонкою наблюдательностью, объясняется необыкновенная вѣрность, точность и жизненная свѣжесть его изображеній въ эпическихъ стихотвореніяхъ. Тою же самою художественною правдою проникнуты и его лирическія изліянія, всегда служащія вѣрнымъ отраженіемъ настроенія его души. Вдохновеніе врывалось внезапно, какъ солнечный лучъ въ его мрачную жизнь, соединяло въ одномъ фокусѣ мысль его и чувство, и вспыхивали чудные стихи.

„Это приближеніе вдохновенія, страду этихъ минутъ и облегченіе, слѣдующее за ними, онъ нерѣдко выражалъ въ своихъ стихахъ; такъ, напримѣръ, въ началѣ „Измаильскія“, онъ говоритъ:

Опять явилось вдохновеніе  
Душѣ безжизненной моей.  
И превращаетъ въ пѣснопѣны  
Тоску, развалину страстей...—

„Итакъ“, продолжаетъ Боденштедтъ: „если подводить

Лермонтова подлѣ литературную классификацію, то, по всему сказанному, его слѣдуетъ причислить къ субъективнымъ поэтамъ, такъ какъ главнымъ содержаніемъ всѣхъ его поэтическихъ созданій—его собственная нравственная личность и, за немногими исключеніями, даже тамъ, гдѣ онъ изображаетъ постороннія лица и обстоятельства, повсюду легко узнать его собственные мысли и чувства. Впрочемъ, въ отношеніи Лермонтова, слово „субъективный“ въ школьномъ значеніи, какое придаютъ ему наши эстетики, вовсе не можетъ служить окончательнымъ опредѣленіемъ. Хотя онъ и выдавалъ вполне самого себя въ лирическихъ стихотвореніяхъ, со всѣми темными и свѣтлыми сторонами своего характера, хотя и изображалъ, въ своихъ повѣствовательныхъ произведеніяхъ большею частью такихъ героевъ, которыхъ могъ надѣлать своими собственными мыслями и чувствами, какъ, на примѣръ, въ „Мцыри“, въ „Измаиль-Бей“ и, частію, въ „Демонъ“, — но довольно уже одной его „Пѣсни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова“, чтобы убѣдиться, въ какой степени Лермонтовъ могъ быть и поэтомъ объективнымъ.

„Къ сожалѣнію, въ бурной и короткой жизни его было ему для этого слишкомъ мало времени и покоя.

„Онъ никогда, впрочемъ, не могъ противостоять своимъ художественнымъ порывамъ и стремленіямъ, точно такъ же, какъ никогда не могъ подавлять своего справедливаго негодованія и скрывать свои воззрѣнія на жизнь и людей, развитыя въ немъ его судьбою и не находившія сочувствія. Все это естественно привело его къ тому смѣшанному роду поэзіи, гдѣ эпическое и лирическое, шутка и серьезное, дѣйствіе и рефлексія, античное чувство изящнаго и разорванность и ѣдкая иронія современнаго человѣка — идутъ рука объ руку, тотъ родъ поэзіи, первымъ верховнымъ жрецомъ котораго былъ Байронъ...

„Много было говорено о вліяніи Байрона на Лермонтова.

„Отрицать это вліяніе невозможно: оно отразилось не

только на Лермонтовѣ, но уже и на великомъ его предшественникѣ, Пушкинѣ, какъ и вообще на всей новѣйшей славянской поэзіи.

„Одинъ русскій критикъ очень много говоритъ по этому поводу: „Близкое знакомство съ сильною симпатическою натурою не можетъ не произвести на насъ впечатлѣнія и не сдѣлать насъ зрѣлѣе. Одно уже подтвержденіе того, что живетъ въ нашемъ сердцѣ, дорогою для насъ личностью, сообщаетъ намъ болѣе силы, болѣе увѣренности. Но отъ этого вліянія, отъ этого естественнаго вoadѣйствія одного великаго поэта на другого—до подражанія—цѣлая бездна.

„Въ Лермонтовѣ демоническій элементъ поэзіи объясняется естественнѣе, нежели въ Байронѣ...

„Байрону предстояло бороться только съ тою ложью, съ фѣмъ лицемѣріемъ, надъ которыми плакались мудрецы и пророки всѣхъ странъ и временъ. Онъ могъ громко возвыситься противъ нихъ свой голосъ; могъ бороться съ безуміемъ, срывать личину съ лицемѣрія, и поражать ложь стрымъ мечомъ истины.

„Но Лермонтовъ съ своимъ врожденнымъ стремленіемъ къ прекрасному, которое безъ добра и истины не можетъ существовать, очутился совершенно одинъ въ чуждомъ ему мірѣ... Окружавшіе его люди не понимали его или не смѣли понимать, и, такимъ образомъ, онъ находился въ постоянной опасности ошибиться въ самомъ себѣ или въ челоуѣствѣ...

„Случайности жизни Лермонтова не должны быть упущаемы изъ вида при точной оцѣнкѣ его произведеній. Ими многое объясняется и многое оправдывается. Поэтический тонъ подъ вліяніемъ обстоятельствъ производитъ на насъ ювсѣмъ иное впечатлѣніе, нежели бьющая на эффектъ вѣюта скучающаго рюемача или чувствительныя лебединыя гѣсни плаксивыхъ ханжей.

„Не спору, что въ сильныхъ строфахъ Лермонтова звунать, по временамъ, диссонансы; что не одно жестокое слово, не одинъ рѣзкій образъ могли бы быть выпущены изъ нихъ. Но гдѣ же такой садъ поэзіи, гдѣ не росло-бы сорныхъ травъ?“

Кромѣ этихъ, упоминаемыхъ Боденштедтомъ, диссонансовъ въ собственно-художественной сторонѣ произведеній Лермонтова, намъ кажутся непріятными (и еще болѣе непріятными) диссонансами нѣкоторыя, хотя и немногія его произведенія по самымъ мыслямъ, внушившимъ ихъ. Такова, напримѣръ, пьеса: „Послѣднее Новоселье“, съ ея страннымъ благоговѣніемъ къ Наполеону и пристрастнымъ взглядомъ на его политическую роль. Впрочемъ, это пристрастіе и благоговѣніе могутъ быть объяснены хоть чѣмъ-нибудь, — хоть тѣмъ обаяніемъ, которое производила сначала громоносная, а потомъ страдальческая личность покорителя свѣта даже на такихъ людей, какъ Беранже, какъ Гейне. Но, признаваясь, ничѣмъ не можемъ мы ни объяснить ни оправдать стихотворенія, напечатаннаго въ первый разъ въ новомъ изданіи, безъ заглавія, на стр. 131 второго тома.

Въ числѣ отрывковъ и небольшихъ бѣглыхъ пьесъ, переведенныхъ Боденштедтомъ съ рукописи, есть такія строки:

Ein einziges Wort der Gnade,  
Ein einziges Wort der Reue,  
Eröffnete mir die Pfade  
Der alten Gunst auf's Neue.

Doch lieber zusammenbräche  
Ich hier in Kerker und Ketten,  
Eh' ich ein Wort nur spräche  
Durch Lüge mich zu retten.

Эти восемь строкъ составляютъ цѣлую особую пьесу. Для незнающихъ нѣмецкаго языка переведемъ ихъ: „Одно милостивое слово“, говоритъ поэтъ: „одно слово раскаянія открыло бы мнѣ путь къ старой благосклонности. Но скорѣе я умру, чѣмъ скажу хоть одно слово, чтобы ложью спасти себя“.

Намъ приходитъ на мысль, не было ли стихотвореніе, о которомъ мы упомянули выше, шуточною пробою сказать такое слово и показать, можетъ быть, какъ легко ему сказать его въ шутку. Иначе какъ понять такое противорѣчіе въ человѣкѣ, остававшемся такъ постоянно вѣрнымъ себѣ

мъ? Г. Дудышкинъ помѣстилъ эту странную пьесу слѣ стихотвореній, написанныхъ въ 1830—1831 году. Торжественная ода Пушкина, подавшая къ ней появилась въ концѣ 1831 года, но едва-ли стихи Лермонтова одновременны съ нею, какъ это кажется намъ изъ строкъ.

ренность, съ которою высказывается Лермонтовъ, на издателя его сочиненій обязанность или объяснить происхожденіе помянутаго стихотворенія или совѣмъ утъ его, если такого объясненія нѣтъ. Наконецъ, ало бы еще разрѣшить, точно-ли пьеса принадлежитъ нтову. Сколько помнимъ, она была напечатана съ енемъ; но былъ ли у г. Дудышкина рукописный ляръ ея, вѣренъ ли самый источникъ, откуда она по- ц,—все это вопросы, по нашему, очень важные для фіи Лермонтова и требующіе тщательнаго разбора. должаемъ нашу выписку изъ Боденштедта:

праведливость требуетъ замѣтить“, говоритъ онъ, „что ѣны недостатки стиховъ Лермонтова рѣдко могутъ поставлены въ упрекъ самому поэту, потому что и тлыя и мрачныя минуты вдохновенія, онъ искалъ словъ, чтобы излить его, вовсе не думая выходить мъ на судъ публики.

тихи:

.....Кто съ гордою душою  
Родился, тотъ не требуетъ вѣнца:  
Любовь и пѣсни—вотъ вся жизнь пѣвца;  
Безъ нихъ она пуста, бѣдна, уныла,  
Какъ небеса безъ тучъ и безъ свѣтила!“

исъ у него изъ глубины души.

мъ Лермонтовъ издалъ, какъ извѣстно, относительно самую малую часть своихъ произведеній, да и тѣ можно сказать, вырваны у него его друзьями, чтобы въ печать. Всѣхъ причинъ этого упрямства никто ѣ бы объяснить...

стоянныя неудачи въ жизни производятъ совершенно ное дѣйствіе на твердые и на слабые характеры...

„.....Такъ тяжкій млатъ,  
Дробя стекло, куетъ булатъ....“

„Характеръ Лермонтова былъ самаго крѣпкаго закала, и чѣмъ грознѣе падали на него удары судьбы, тѣмъ болѣе становился онъ твердымъ.

„Онъ не могъ противостоять преслѣдовавшей его судьбѣ; но въ то же время не хотѣлъ ей покоряться. Онъ былъ слишкомъ слабъ, чтобы одолѣть ее; но и слишкомъ гордъ, чтобы позволить одолѣть себя.

„Вотъ причина того пылкаго негодованія, того бурнаго безпокойства во многихъ стихотвореніяхъ его, въ которыхъ отражаются—какъ въ кипящемъ подъ грозою морѣ, при свѣтѣ молній—и небо и земля.

„Вотъ причина также и его раздражительности и желчи, которыми онъ, въ своей жизни, часто отталкивалъ отъ себя лучшихъ друзей, и давалъ поводъ къ дуэлямъ. Первая изъ этихъ дуелей привела его къ долгому заключенію; а послѣдняя къ преждевременной смерти.

„Не берусь рѣшить, что именно подало поводъ къ этой послѣдней дуэли; неосторожныя-ли остроты и шутки Лермонтова, какъ говорятъ нѣкоторые, вызвали ее, или, какъ утверждаютъ другіе, то ли, что противникъ его принялъ на свой счетъ нѣкоторые намеки въ романѣ „Герой нашего времени“, и оскорбился ими, какъ касавшимися притомъ и его семейства. Въ этомъ послѣднемъ смыслѣ слышалъ я эту исторію отъ секунданта Лермонтова, г. Г., который и закрылъ глаза своему убитому другу.

„Очень вѣроятно, что Лермонтовъ, обрисовавшій себя немножко яркими красками въ главномъ героѣ этого романа, списалъ съ натуры и другихъ дѣйствующихъ лицъ, такъ что прототипамъ ихъ не трудно было узнать себя.

„Книга написана прекрасною прозою, полна глубокой мысли и представляетъ превосходный комментарий къ стихамъ „Думы“.

„Печально я гляжу на наше поколѣнье:  
Его грядущее иль пусто иль темно“.

„Въ концѣ этого романа описывается дуэль, въ которой



отъ, кому первому приходится подвергнуться выстрѣлу противника, долженъ стать на краю обрыва, чтобы, въ случаѣ раны, немедленно упасть туда на вѣрную смерть: по странному сближенію, почти такимъ же образомъ умеръ послѣдствіи и самъ Лермонтовъ.

„У него была твердость заклеить дуэль, какъ отвратительнѣйшее порожденіе человѣческой глупости, но не достало твердости отказаться отъ этой глупости. Онъ ея не искалъ, но и не уклонился отъ нея, отъ этой отваги „дерзости слѣпой“. Онъ предпочелъ, впрочемъ, сознательно выказывать такую слѣпую дерзость, чѣмъ отстраниться отъ мнѣній и толковъ людей, которыхъ презиралъ отъ всей души. Въ жизни его было много подобныхъ странностей, но всѣ онѣ истекаютъ изъ одного источника—изъ его страданій, болѣею частію, могутъ быть оправданы ими.

„Невозможно, чтобы человѣкъ, при подобныхъ обстоятельствахъ, не сбивался иногда съ дороги. Проницательный и указывающій мудрецу людскія глупости, но не всегда предостерегающій его отъ нихъ, и не можетъ совершенно беречь его отъ вліяній окружающей среды.

„Произнося судъ надъ умомъ, выходящимъ изъ ряда обыкновенныхъ умовъ, слѣдуетъ брать мѣриломъ не то, что въ немъ есть общаго съ толпою, которая стоитъ ниже его, а то, что отличаетъ его отъ этой толпы и возвышаетъ надъ нею.

„Недостатки Лермонтова были недостатками всего свѣтлаго молодого поколѣнія въ Россіи; но достоинствъ его не было ни у кого. Вѣрнѣйшее изображеніе его личности все-таки останется намъ въ его произведеніяхъ, гдѣ онъ вызывается вполне такимъ, какимъ былъ, тогда какъ въ жизни онъ былъ лишь тѣмъ, чѣмъ хотѣлъ *казаться*. Не надо понимать этого въ дурномъ смыслѣ: если Лермонтовъ надѣвалъ маску, то надѣвалъ не съ злымъ намѣреніемъ. Онъ былъ несчастливъ, но слишкомъ гордъ, чтобы высказывать свое несчастіе,—и потому пряталъ свои страданія подъ личиною веселости, и самыя вѣдкія остроты его отзываются солью слезъ.

„Klagt nicht ob meinen Leiden  
In diesen Kerkermauern!  
Ich lasse euch eure Freuden  
Ich schenke euch euer Bedauern!“

Намъ приходится опять переводить стихи Лермонтова съ нѣмецкаго на русскую прозу. Вотъ что значить это четверостишіе, помѣщенное Боденштедтомъ въ числѣ XII небольшихъ случайныхъ пьесъ и замѣтокъ (Kleine Einfälle und Ausfälle). „Не жалѣйте о моихъ страданіяхъ въ этой тюрьмѣ! Я предоставляю вамъ ваши радости, я дарю вамъ наше состраданіе!“

Боденштедтъ познакомился съ Лермонтовымъ въ Москвѣ, незадолго передъ послѣднимъ отъѣздомъ его на Кавказъ. Это было зимой 1841 года, а въ іюль того же года Лермонтова уже не существовало. Мы позволяемъ себѣ предположить, что отрывки, сообщаемые Боденштедтомъ, принадлежать именно къ этой порѣ. Въ нихъ, насколько можно судить по нѣмецкому переводу, выразилось то настроеніе, въ какомъ долженъ былъ находиться Лермонтовъ особенно передъ отъѣздомъ своимъ въ кавказскую глушь и даль.

Въ этихъ стихотвореніяхъ, отъ негодованія на пустоту окружающаго общества онъ не разъ переходитъ къ мыслямъ о смерти, которая скоро положила конецъ его тревожной жизни. „Вы не хотѣли понимать меня“, говоритъ онъ въ одномъ мѣстѣ: „вы все у меня отняли,—не отняли только гордости моей и силы! Поколѣнья смѣняются поколѣньями, и смѣна эта—благо!... Пройдете и вы, и другіе заступать ваше мѣсто, съ новою, болѣе чистою кровью въ жилахъ,—и поймутъ они меня, если услышатъ мое слово,—и благо имъ будетъ!“

Дальше мы скажемъ еще нѣсколько словъ объ этихъ замѣчательныхъ отрывкахъ, которые, судя по другимъ переводамъ Боденштедта, съ извѣстныхъ намъ подлинниковъ, должны быть тоже переданы имъ по нѣмецки вѣрно и добросовѣстно; теперь же обратимся къ его разсказу о знакомствѣ съ Лермонтовымъ.

„Чтобы дать хотя слабое понятіе“, говоритъ онъ, „о

томъ впечатлѣніи, какое производила личность Лермонтова, я хочу рассказать о моихъ первыхъ встрѣчахъ съ нимъ, насколько онъ сохранился у меня въ памяти. Къ сожалѣнію, мнѣ рѣдко удавалось вести правильный дневникъ, во время моего пребыванія въ Россіи: не удавалось, во-первыхъ, потому, что я пишу кропотливо и тяжело, и мнѣ нужно не мало досуга для собранія воедино своихъ впечатлѣній; во-вторыхъ, потому, что моя, можетъ быть, излишняя осторожность оставляла въ моей записной книжкѣ лишь самую слабую помощь моей памяти, только имена и числа.

„Зимой 1840—41 года, въ Москвѣ, передъ послѣднимъ отъѣздомъ Лермонтова на Кавказъ, случилось мнѣ обѣдать, въ одинъ пасмурный хотя и праздничный день, съ Павломъ О., очень умнымъ молодымъ русскимъ. Обѣдали мы въ одномъ французскомъ ресторанѣ, который посѣщала въ то время вся знатная московская молодежь.

„Во время обѣда къ намъ присоединилось еще нѣсколько знакомыхъ и, между прочимъ, одинъ молодой князь замѣчательно-красивой наружности и довольно ограниченнаго ума, но большой добрякъ. Онъ позволялъ потѣшаться надъ собою и добродушно сносилъ всѣ остроты, которыя другіе отпущали на его счетъ.

„Легкая шутливость, искрящееся остроуміе, быстрая смѣна противоположныхъ предметовъ въ разговорѣ—однимъ словомъ, весь такъ называемый *esprit français*, такъ же свойственъ большей части знатныхъ русскихъ, какъ и французскій языкъ.

„Мы были уже за шампанскимъ. Снѣжная пѣна лилась черезъ край стакановъ, и черезъ край лились изъ устъ моихъ собесѣдниковъ то плохія, то мѣткія остроты. Въ то время мнѣ не было еще двадцати двухъ лѣтъ; я былъ свѣжимъ и толстощекимъ, довольно неловкимъ и сентиментальнымъ юношей, и больше слушалъ, чѣмъ говорилъ, и, вѣроятно, казался нѣсколько страннымъ среди этой блестящей, уже порядочно пожившей молодежи.

„—А! Михаилъ Юрьевичъ! вскричали двое - трое изъ моихъ собесѣдниковъ, при видѣ только что вошедшаго молодого офицера.

„Онъ привѣтствовалъ ихъ короткимъ: „здравствуйте“, слегка потрепалъ О. по плечу и обратился къ князю со словами:

„—Ну, какъ поживаешь, умникъ?“

„У вошедшаго была гордая, непринужденная осанка, средній ростъ и замѣчательная гибкость движеній. Вынимая, при входѣ, носовой платокъ, чтобы обтереть мокрые усы, онъ выронилъ на полъ бумажникъ или сигарочницу и, при этомъ, нагнулся съ такою ловкостью, какъ будто былъ все безъ костей, хотя плечи и грудь были у него довольно широки.

„Гладкіе, бѣлокурые, слегка вьющіеся по обѣимъ сторонамъ волосы оставляли совершенно открытымъ необыкновенно высокій лобъ. Большіе полные мысли глаза, казалось, вовсе не участвовали въ насмѣшливой улыбкѣ, игравшей на красиво очерченныхъ губахъ молодого человѣка.

„Одѣтъ онъ былъ не въ парадную форму: на шеѣ небрежно повязанъ черный платокъ; военный скюртукъ не новъ и не до верху застегнутъ, и изъ-подъ него виднѣлось ослѣпительной свѣжести бѣлье. Эполетъ на немъ не было.

„Мы говорили до тѣхъ поръ по французски, и О. представлялъ меня на томъ же діалектѣ вошедшему. Обмѣнявшись со мною нѣсколькими бѣглыми фразами, офицеръ сѣлъ съ нами обѣдать. При выборѣ кушаньевъ и въ обращеніи къ прислугѣ онъ употреблялъ выраженія, которыя въ большомъ ходу у многихъ, —чтобъ не сказать у всѣхъ— русскихъ, но которыя въ устахъ новаго гостя непріятно меня поражали. Поражали потому, что гость этотъ былъ— Михаилъ Лермонтовъ. Эти выраженія иностранецъ прежде всего выучиваетъ въ Россіи, потому что слышитъ ихъ повсюду и безпрестанно; но ни одинъ порядочный человѣкъ—кромѣ развѣ грека или турка, у которыхъ у самихъ въ ходу точь въ точь такія выраженія,—не рѣшится написать ихъ въ переводѣ на свой родной языкъ.

„Во время обѣда я замѣчалъ, что Лермонтовъ не пряталъ подъ столъ своихъ нѣжныхъ, выхоленныхъ рукъ. Онъ вѣдавъ нѣсколько кушаньевъ и осушивъ два стакана вина, онъ сдѣлался очень разговорчивъ и, надо полагать, мно—

остриль, такъ какъ его слова нѣсколько разъ были прерываемы громкимъ хохотомъ. Къ сожалѣнію, для меня его остроты оставались непонятными, такъ какъ онъ нарочно говорилъ по-русски и къ тому же очень скоро, а я въ то время не достаточно хорошо понималъ русскій языкъ, чтобы слѣдить за разговоромъ. Я замѣтилъ только, что остроты его часто переходили въ личности; но, получивъ два раза мѣткій отпоръ отъ О., онъ расчелъ за лучшее упражняться надъ молодымъ княземъ.

„Нѣкоторое время тотъ добродушно переносилъ шпильки Лермонтова, но, наконецъ, и ему уже стало не въ мочь, и онъ съ достоинствомъ умѣрилъ его пылъ, показавъ, что при всей ограниченности ума, сердце у него тамъ же, гдѣ и у другихъ людей.

„Казалось, Лермонтова искренно огорчило, что онъ обидѣлъ князя, своего товарища, и онъ всѣми силами старался помириться съ нимъ, въ чемъ скоро и успѣлъ.

„Я уже зналъ и любилъ тогда Лермонтова по собранію его стихотвореній, вышедшему въ 1840 г., но въ этотъ вечеръ онъ произвелъ на меня столь невыгодное впечатлѣніе, что у меня пропала всякая охота поближе сойтись съ нимъ. Весь разговоръ, съ самаго его прихода, звенѣлъ у меня въ ухахъ, какъ будто кто-нибудь скребъ по стеклу.

„Я никогда не могъ, можетъ быть ко вреду моему, сдѣлать первый шагъ къ сближенію съ задорнымъ человѣкомъ, какое-бы онъ ни занималъ мѣсто въ обществѣ; никогда не могъ извинить шалостей знаменитыхъ и геніальныхъ людей, только во имя ихъ знаменитости и геніальности. Я часто убѣждался, что можно быть основательнымъ ученымъ, поэтомъ или писателемъ и, въ то же время, невыносимымъ человѣкомъ въ обществѣ. У меня правило основывать мое мнѣніе о людяхъ на первомъ впечатлѣніи; но въ отношеніи Лермонтова мое первое непріятное впечатлѣніе вскорѣ совершенно изгладилось пріятнымъ.

„Не далѣе, какъ на слѣдующій же вечеръ, встрѣтивъ снова Лермонтова въ салонѣ г-жи М., я увидѣлъ его въ самомъ привлекательномъ свѣтѣ. Лермонтовъ исполнѣ умѣлъ быть милымъ.

„Отдаваясь кому-нибудь, онъ отдавался отъ всего сердца; только едва ли это съ нимъ часто случалось. Въ самыхъ близкихъ и прочныхъ дружественныхъ отношеніяхъ находился онъ съ умною графинею Растопчиной, которой было бы, поэтому, легче, нежели кому-либо, дать вѣрное понятіе о его характерѣ.

„Людей же, недостаточно знавшихъ его, чтобы извинять его недостатки за его высокія, обязательныя качества, онъ скорѣе отталкивалъ, нежели привлекалъ къ себѣ, давая слишкомъ много воли своему нѣсколько колкому остроумію. Впрочемъ, онъ могъ быть въ то же время кротокъ и нѣженъ, какъ ребенокъ, и вообще въ характерѣ его преобладало задумчивое, часто грустное настроеніе.

„Серьезная мысль была главною чертою его благороднаго лица, какъ и всѣхъ значительнѣйшихъ его твореній, къ которымъ его легкія, шутливыя произведенія относятся, какъ его насмѣшливый, тонко-очерченный ротъ къ его большимъ, полнымъ думы глазамъ.

„Многіе изъ соотечественниковъ Лермонтова раздѣляли съ нимъ его пророческую участь, но ни у одного изъ нихъ страданія не вырвали такихъ драгоцѣнныхъ слезъ, которыя служили ему облегченіемъ при жизни и дали ему неувядаемый вѣнокъ по смерти“.

Съ критическою оцѣнкой сочиненій Лермонтова, представляемою Боденштедтомъ, можно не всегда соглашаться въ частностяхъ, но въ цѣломъ она кажется намъ вполне вѣрною, и мы рѣшились привести ее почти цѣликомъ. Говоря о Лермонтовѣ въ отношеніи къ русской литературѣ, наша критика никогда не задавала себѣ вопроса, какой интересъ и какое значеніе можетъ имѣть поэзія Лермонтова для другихъ образованныхъ народовъ.

„Чтобы точнѣе опредѣлить значеніе Лермонтова въ русской и во всемірной литературѣ“, говоритъ Боденштедтъ: „слѣдуетъ прежде всего замѣтить, что онъ выше всего тамъ, гдѣ становится наиболѣе народнымъ; и что высшее проявленіе этой народности (какъ „Пѣсня о царѣ Иванѣ Васильевичѣ“) не требуетъ ни малѣйшаго комментарія, чтобы

быть понятною для всѣхъ. Это тѣмъ замѣчательнѣе, что описываемые въ ней нравы и частности столь же чужды для нерусскихъ, какъ и выбранный поэтомъ стихотворный размѣръ стиха, сдѣлавшійся извѣстнымъ въ Германіи только по нѣкоторымъ моимъ переводнымъ опытамъ, а въ Россіи имѣющій почти то же значеніе, какъ у насъ строфа „Пѣсни о Нибелунгахъ“.

„Поэма Лермонтова, въ которой видна поистинѣ гомеровская вѣрность, сила и простота, произвела сильнѣйшее впечатлѣніе во многихъ германскихъ городахъ, гдѣ ее читали публично“.

Здѣсь Боденштедтъ приводитъ мнѣніе о „Пѣснѣ про царя Ивана Васильевича“, высказанное Шевыревымъ. Мы его опускаемъ, и замѣтимъ только, что, приводя слова бывшаго московскаго профессора, Боденштедтъ хотѣлъ показать, какъ думаютъ о „Пѣснѣ“ Лермонтова въ Россіи даже люди, вовсе не сочувствующіе поэту: извѣстно, что г. Шевыревъ, превозносившій до небесъ г. Бенедиктова и называвшій его „поэтомъ мысли“ по преимуществу, видѣлъ въ Лермонтовѣ не больше, какъ искуснаго версификатора и ловкаго подражателя.

„Изъ другихъ произведеній Лермонтова“, продолжаетъ Боденштедтъ: „русскіе критики отдаютъ преимущество „Мцыри“, котораго и нашъ Робертъ Прутцъ справедливо считаетъ „драгоцѣннымъ перломъ поэзіи“. Странно, что Боденштедтъ отдаетъ преимущество передъ „Мцыри“ — „Измаилъ-Бегъ“. Можетъ быть, послѣдняя поэма и дѣйствительно шире по своей задачѣ и богаче внутреннимъ содержаніемъ; но въ ней ни стихъ ни мысли не достигли еще той, можно сказать, кристальной ясности, которая такъ поражаетъ и такъ глубоко дѣйствуетъ на насъ въ „Мцыри“, произведенія уже болѣе зрѣлыхъ годовъ поэта.

Далѣе Боденштедтъ говоритъ:

„Лермонтовъ имѣетъ то общее съ великими писателями всѣхъ временъ, что творенія его вѣрно отражаютъ его время, со всѣми его дурными и хорошими особенностями, со всею его мудростью и глупостью, и что они имѣли въ

виду бороться съ этими дурными особенностями и съ этою глупостью.

„Но нашъ поэтъ отличается отъ своихъ предшественниковъ и современниковъ тѣмъ, что далъ болѣе широкій просторъ въ поэзіи картинамъ природы, и въ этомъ отношеніи онъ стоитъ на недосыгаемой высотѣ.“

„Онъ рѣшилъ своими изображеніями трудную задачу удовлетворить въ одно и то же время и естествоиспытателя и эстетика.“

„Рисуешь ли онъ передъ нами исполинскія горы многовершиннаго Кавказа, гдѣ взоръ, подымаясь кверху, теряется въ снѣжныхъ облакахъ и, опускаясь внизъ, тонетъ въ безднѣ; или горный потокъ, то клубящійся подъ утесомъ, на которомъ страшно стоятъ дикой козѣ, то свѣтло ниспадающій, „какъ согнутое стекло“ въ пропасть гдѣ сливается съ новыми ручьями и вновь выходитъ на свѣтъ; описываетъ ли онъ намъ горныя аулы и лѣса Дагестана, или испещренныя цвѣтами долины Грузіи; указываетъ ли намъ на облака, бѣгущіе „степью лазурною, цѣпью жемчужною“, или на коня, несущагося по синей, безконечной степи; воспѣваетъ ли онъ священную тишину лѣсовъ или буйный громъ битвы,—онъ всегда и во всемъ остается вѣренъ природѣ до малѣйшихъ подробностей. Всѣ эти картины возстаютъ передъ нами въ жизненно-ясныхъ краскахъ, и въ то же время отъ нихъ вѣетъ какою-то таинственною поэтическою прелестью, какъ будто дѣйствительнымъ благоуханіемъ и свѣжестью этихъ горъ, цвѣтовъ, луговъ и лѣсовъ.“

„Борьба Мцыри съ тигромъ, кулачный бой на Москвѣ-рѣкѣ, сцены битвы въ „Измаилѣ Бѣ“, картины, въ родѣ слѣдующей:

„Шумить Аргуна мутною волной;  
Она коры не знаетъ ледяной;  
Цѣпей зимы и хлада не боится.  
Серебряной покрыта пеленой,  
Она сама между снѣговъ родится,  
И тамъ, гдѣ даже серна не промчится,  
Дитя природы, съ дѣтской простотой,



Она, рѣзвясь, играетъ и катится!  
 Порою, какъ согнутое стекло,  
 Межъ длинныхъ травъ, прозрачно и свѣтло  
 Но гладкимъ камнямъ въ бездну ниспадая,  
 Теряется во мракѣ, и надъ ней  
 Съ прощальнымъ воркованьемъ вьется стая  
 Пугливыхъ, сизыхъ, вольныхъ голубей...  
 Зеленымъ можжевельникомъ покрыты,  
 Надъ мрачной бездной гробовыя плиты  
 Висятъ и ждутъ, когда замолкнетъ вой,  
 Чтобы упасть и все покрыть собой.  
 Напрасно ждутъ онѣ! Волна не дремлетъ,  
 Пусть темнота кругомъ ее объемлетъ,  
 Прорветъ Аргупа землю гдѣ-нибудь,  
 И снова полетитъ въ далекій путь“.

Или:

„Погасъ, блѣднѣя, день осенній;  
 Свернувъ душистые листы,  
 Внушаютъ сонъ безъ сновидѣній  
 Полузавядшіе цвѣты;  
 И въ часъ урочный молчаливо  
 Изъ-подъ камней ползетъ змѣя,  
 Играетъ, тѣщится лѣниво,  
 И серебрится чешуя  
 Надъ перегибистой спиною“, и т. д.

Или такія мѣста, какъ то, когда Хаджи Абрекъ вскакиваетъ на коня съ окровавленной головой Леилы:

„Послушный конь его, объятый  
 Внезапно страхомъ неземнымъ,  
 Храпитъ и пѣнится подъ нимъ;  
 Щетиной грива, ржетъ и пышетъ,  
 Грызетъ стальные удила,  
 Ни словъ ни повода не слышитъ,  
 И мчится въ горы, какъ стрѣла“...

и безчисленное множество другихъ мѣстъ изъ его кавказскихъ стихотвореній,—все это высочайшія красоты поэзіи.

„Два замѣчательнѣйшихъ ученыхъ новѣйшаго времени—Александръ Гумбольдтъ въ своемъ „Космосѣ“ и Христіанъ Эрстедъ въ своемъ разсужденіи объ отношеніи естествознанія къ поэзіи—указываютъ, какъ на настоящее тре-

бованіе нашего времени, на болѣе обширное приложеніе въ области изящнаго современныхъ открытій и изслѣдованій природы.

Гумбольдтъ говоритъ:

„Если такъ называемая „описательная“ поэзія, какъ отдѣльная и самостоятельная форма искусства, заслуживаетъ справедливаго порицанія, то это еще не значитъ, чтобы такое же порицаніе вызывали серьезныя старанія обобщать, посредствомъ изобразительной силы поэтическаго слова, результаты новѣйшаго, богатаго глубокимъ интересомъ изученія природы. Неужто мы пренебрежемъ средствомъ, которое можетъ намъ представить живую картину отдаленныхъ другими изслѣдованныхъ странъ, и даже доставить намъ часть того наслажденія, какое находимъ мы въ непосредственномъ созерцаніи природы? Метафора арабовъ, говорящихъ, что лучшее описаніе есть то, которое „превращаетъ слухъ нашъ въ зрѣніе“, полна смысла. Наше время страждетъ несчастною склонностью къ реторической, лишенной содержанія, прозѣ, къ пустотѣ такъ-называемыхъ чувствительныхъ изліяній, склонностью, обуявшею разомъ, во многихъ странахъ, достойныхъ путешественниковъ и естествоиспытателей. Изображенія природы, повторяю, могутъ оставаться научно точными и вполне опредѣленными, не теряя оживляющей ихъ силы воображенія“.

„Стоитъ прочесть цѣликомъ упомянутыя сочиненія, чтобы убѣдиться, что Лермонтовъ выполнилъ въ своихъ стихотвореніяхъ большую часть того, что эти великіе ученые признаютъ потребностью нашего времени, и чего такъ живо желаютъ.“

„Пусть назовутъ мнѣ хоть одно изъ множества толстыхъ географическихъ, историческихъ и другихъ сочиненій о Кавказѣ, изъ котораго можно бы живѣе и вѣрнѣе познаться съ характеристическою природою этихъ горъ и ихъ населенія, нежели изъ какой-нибудь поэмы Лермонтова, гдѣ мѣсто дѣйствія происходитъ на Кавказѣ“.

Переходя къ объясненію отношеній между поэзіей Лермонтова и поэзіей Пушкина, Боденштедтъ жалѣетъ, что о

геніи послѣдняго нѣмцы могутъ получить лишь очень слабое понятіе по тѣмъ переводамъ, которые у нихъ есть.

Это было писано въ 1852 году. Вскорѣ послѣ изданія на нѣмецкомъ языкѣ стихотвореній Лермонтова, Боденштедтъ принялся за переводъ Пушкина, и переводъ этотъ, передающій съ замѣчательнымъ совершенствомъ всѣ внутреннія и внѣшнія достоинства подлинника, теперь совсѣмъ оконченъ. Нѣмецкая литература богата очень хорошими переводами: но такихъ переводовъ, какъ переводъ Лермонтова и Пушкина, сдѣланный Боденштедтомъ, и въ ней не много.

Вотъ какъ объясняетъ Боденштедтъ въ немногихъ словахъ общія родственныя черты обоихъ этихъ поэтовъ, и гочки, на которыхъ они расходятся:

„Поэтическій геній Пушкина выразился въ его зрѣлѣйшихъ произведеніяхъ съ такою мощью и такъ самостоятельнымъ народно, что молодые поэты не могли не подчиниться его обаятельному вліянію, и оно было тѣмъ сильнѣе, чѣмъ каровитѣе была натура поэта, какъ, напримѣръ, у Лермонтова.

„Лермонтовъ явился достойнымъ послѣдователемъ своего великаго предшественника: онъ сумѣлъ извлечь пользу, для себя и для народа, изъ его богатаго наслѣдства, не впадая въ рабское подражаніе. Онъ выучился у Пушкина простотѣ выраженія и чувству мѣры; онъ подслушалъ у него тайну поэтической формы. Нѣкоторыя изъ его первыхъ лирическихъ стихотвореній, какъ наприм., „Вѣтка Палестины“, — невольно напоминаютъ Пушкина; нѣкоторое внѣшнее сходство съ Пушкинымъ представляютъ и два-три другихъ стихотворенія, въ особенности „Казначейша“. Но противоположности между характерами обоихъ поэтовъ гораздо ярче и опредѣленнѣе этого сходства. Сходство въ нихъ скорѣе случайное, внѣшнее, условное, тогда какъ то, въ чемъ они расходятся, составляетъ самую сущность ихъ личностей. Поэтическія средства обоихъ были почти одинаковы, точно такъ же, какъ и обстоятельства, при которыхъ они развивались; только самое развитіе было различно.

„Обрѣмъ пришлось дорого заплатить за первые поэтиче-

скіе порывы свои. Пушкинъ вернулся изъ изгнанія; Лермонтовъ и умеръ вдали отъ родины.

„Пушкинъ сумѣлъ въ послѣдствіи примириться и сжиться съ людьми и обстоятельствами, на которыхъ вначалѣ такъ горячо ополчился, которымъ клялся въ непримиримой враждѣ. — Лермонтовъ никогда не могъ и не хотѣлъ дойти до такого примиренія, потому что оно не могло бы быть полнымъ, а половинныхъ мѣръ онъ не терпѣлъ.“

„Пушкинъ, по словамъ одного русскаго критика, былъ прежде всего художникъ и, огородивъ себя мирный уголокъ, гдѣ бы онъ могъ спокойно жить со своимъ искусствомъ, онъ уже не такъ строго смотрѣлъ на все остальное.“

„У Лермонтова, напротивъ того, искусство и жизнь были нераздѣльны; онъ никогда не могъ отдѣлить художника отъ человѣка. Вотъ въ чемъ великая между ними разница!“

„Лермонтова упрекали, будто онъ, въ гордомъ ослѣпленіи, чуждался своей отчизны и не любилъ ея. Онъ отвѣтилъ на это чуднымъ стихотвореніемъ, которое начинается такъ:

„Люблю отчизну я, но странною любовью;  
Не побѣдитъ ея разсудокъ мой.  
Ни слава, купленная кровью,  
Ни полный гордаго довѣрія покой,  
Ни темной старины заветныя преданья  
Не шевелятъ во мнѣ отраднаго мечтанья“.

„Пушкинъ сумѣлъ вдохновляться этою славой, этимъ „полнымъ гордаго довѣрія покоемъ“; онъ воспѣвалъ ихъ въ своихъ стихахъ. У Лермонтова также есть художественныя картины битвъ, но онъ вдохновлялся ими лишь настолько, насколько нужно художнику, чтобы что-либо воспроизвести. Его точка зрѣнія выше Пушкинской. Онъ оканчиваетъ слѣдующимъ размысленіемъ неподражаемыя боевыя сцены въ „Валерикѣ“:

„Я думалъ: „Жалкій человѣкъ!  
Чего онъ хочетъ?.. Небо ясно,  
Подъ небомъ мѣста много всѣмъ;  
Но безпрестанно и напрасно  
Одинъ враждуетъ онъ... зачѣмъ?“

„О томъ, какъ свято чтить Лермонтовъ искусство, мы можемъ судить по его пѣснѣ: „На смерть Пушкина“, по драматической сценѣ: „Поэтъ, читатель и журналистъ“, по превосходнымъ стихотвореніямъ: „Пророкъ“, „Поэтъ“ и по множеству всюду разбросанныхъ мыслей.

„О томъ же, какъ глубоко зналъ онъ сердце человѣка, какъ вѣрно постигалъ свое время и какъ нераздѣльно слиты были въ немъ поэзія и жизнь, лучше всего свидѣтельствуегъ его полная божественнаго огня „Дума“, начинающаяся словами:

„Печально я гляжу на наше поколѣнье!  
Его грядущее иль пусто иль темно,  
Межъ тѣмъ, подъ бременемъ познанья и сомнѣнья,  
Состарится безвременно оно“.

„Говорить ли мнѣ“, заключаетъ замѣтки свои Боденштедтъ, „что-либо еще о воспитаніи и познаніяхъ Лермонтова? Подробности его дѣтства въ точности мнѣ неизвѣстны. У всѣхъ, писавшихъ о немъ, было мало точныхъ и положительныхъ свѣдѣній и указаній объ этой эпохѣ его жизни. Вѣроятно, этотъ недостатокъ слѣдуетъ приписать сочею его жизни и ранней кончинѣ, которыя не дали ни ему ни другимъ времени и случая отмѣтить кой-какія біографическія черты. Кому можетъ придти въ голову освѣдомляться о школьной жизни и дѣтскихъ похожденіяхъ только что выступающаго поэта? Конечно, всѣ эти частности могутъ быть для многихъ интересны, но для оцѣнки Лермонтова, какъ поэта, можно обойтись и безъ нихъ. Что былъ бы это за поэтъ, если бъ ему было нужно засвидѣтельствовать свою ученость и образованіе школьными аттестатами и учеными цитатами?

„Извѣстно, что Лермонтовъ училъ въ школѣ все, что требовалось къ экзамену, и что въ послѣдствіи, по собственному побужденію, онъ основательно изучалъ исторію міра и природы. При этомъ, онъ, какъ и слѣдовало русскому аристократу, зналъ французскій и нѣмецкій языки, какъ свой собственный, а по итальянски и по англійски настолько хорошо, чтобы понимать любого писателя.

„Къ Лермонтову, какъ нельзя лучше, примѣняется то, что Гете замѣчаетъ относительно всѣхъ вообще людей, одаренныхъ художественными способностями, а именно, что они обязаны бывають своимъ образованіемъ главнымъ образомъ природѣ и самимъ себѣ. „Вамъ, педагоги“, говоритъ онъ: „никогда не создать искусственно такого разнообразнаго поприща, на которомъ бы гений всегда находилъ достаточно мѣста для дѣятельности своихъ силъ и для наслажденія“. Онъ же говоритъ, что „для гения правила вреднѣе примѣровъ“.

Вотъ все, на что мы нашли излишнимъ указать въ статьѣ Боденштедта. Намъ казалось, что не мѣшаетъ послушать и посторонняго голоса въ дѣлѣ, касающемся насъ. Не говоря уже о серьезности изученія нашей литературы и о любви къ ней нѣмецкаго переводчика Лермонтова, Пушкина и Кольцова, голосъ его заслуживаетъ вниманія и потому, что онъ изучалъ и видѣлъ русскую жизнь не изъ однихъ только книгъ, а на мѣстѣ. Онъ прожилъ нѣсколько лѣтъ въ Россіи и на Кавказѣ. Когда онъ говоритъ о вѣрности изображеній кавказской природы и жизни въ произведеніяхъ Лермонтова, ему, не только временному жителю Кавказа, но и автору двухъ превосходныхъ сочиненій о его бытѣ и природѣ, нельзя не повѣрить. Намъ кажется, что онъ безпристрастнѣе нашихъ критиковъ отнесся и къ байронизму Лермонтова.

Если мы отложимъ въ сторону второй томъ новаго изданія „Сочиненій Лермонтова“, въ которомъ нѣтъ почти ничего, назначеннаго самимъ авторомъ въ печать, мы во все не увидимъ въ Лермонтовѣ такого покорнаго подражателя Байрону, какого хотятъ во что бы то ни стало видѣть въ немъ. Демонъ, Печоринъ и Мцыри объясняются настолько же, если не болѣе, жизнью и личностью самого Лермонтова, насколько вліяніемъ Байрона и его героев. Знать, какъ и чему учился Лермонтовъ въ дѣтствѣ, дѣйствительно не особенно важно для того, чтобы понимать и оцѣнивать его; въ этомъ нельзя не согласиться съ Боденштедтомъ. Но въ высшей степени было бы любопытно

и важно для справедливой оцѣнки его направленія узнать подробности обстоятельства, которыя имѣли на него вліяніе въ дѣтствѣ. Въ небольшомъ примѣчаніи, помѣщенномъ въ выноскѣ къ почти-дѣтской драмѣ: „Странный челоуѣкъ“, Лермонтовъ намекаетъ, что съ самыхъ раннихъ лѣтъ онъ былъ свидѣтелемъ семейныхъ страданій, несправедливостей и враждебныхъ отношеній, которыя не могли не ожесточить его противъ законовъ, правящихъ обществомъ, и противъ общества, признающаго подобные законы.

При томъ необыкновенномъ размѣрѣ силъ, какимъ наделила его природа, при полной невозможности употребить ихъ въ дѣло, при пустотѣ среды, успѣвшей привить къ нему много своихъ недостатковъ, отъ которыхъ онъ еще не вполне освободился и наканунѣ смерти, Лермонтовъ не могъ стать ничѣмъ инымъ, чѣмъ какимъ мы его видимъ. Вліяніе Байрона могло и не быть: можетъ быть, стремленія и скорби его вылились бы тогда только въ нѣсколько иной формѣ. Лермонтовъ въ правѣ былъ пророчески сказать о себѣ:

„Нѣтъ, я не Байронъ; я другой,  
Еще невѣдомый изгнанникъ,—  
Какъ онъ, гонимый міромъ странникъ,  
Но только съ русскою душой“.

Что совершилъ бы Лермонтовъ, если бы молодая жизнь его не кончилась такъ трагически въ самомъ цвѣтѣ,—гадать бесполезно; но все говорить въ его послѣднихъ произведеніяхъ, что въ немъ погибла одна изъ тѣхъ великихъ силъ, которыя, при полномъ и свободномъ развитіи своемъ, законно властвуютъ думами многихъ грядущихъ поколѣній.

Мы не брали на себя трудной задачи разбирать дѣятельность и жизнь Лермонтова; намъ хотѣлось только указать нашимъ издателямъ на матеріалы, которыхъ нельзя упустить изъ виду, если хочешь добиваться библиографической полноты. Намъ кажется, что одно указаніе на существованіе въ нѣмецкомъ переводѣ болѣе десятка стихотвореній

Лермонтова, неизвѣстныхъ русскимъ читателямъ и чрезвычайно важныхъ для его характеристики, было бы полезнѣе перепечатки нѣкоторыхъ безсознательныхъ грѣховъ юности, которыхъ онъ вѣроятно стыдился впоследствии, и притомъ перепечатки безъ всякихъ объясненій.

Кромѣ двѣнадцати пьесъ, озаглавленныхъ у Боденштедта названіемъ: „Kleine Einfälle und Ausfälle“, изъ которыхъ мы привели два-три, мы находимъ въ его книгѣ еще характеристическое стихотвореніе Лермонтова, въ отвѣтъ на обвиненіе его въ недостаткѣ патріотизма, и пьесу, родственную по мотиву стихотворенію „Бѣлѣтъ парусъ одинокій“.

Въ изданіи „Сочиненій Лермонтова“, вызвавшемъ эти замѣтки, мы встрѣтили между прочимъ пропускъ, на который укажемъ. Начало стихотворенія: „На буйномъ пиршествѣ задумчивъ онъ сидѣлъ“ безъ заглавія не совсѣмъ понятно. Сколько намъ помнится, въ бывшей у насъ рукописи этого стихотворенія оно было озаглавлено: „Казотъ“.

Послѣ Лермонтова едва-ли осталось много писемъ: но собрать ихъ было бы очень любопытно. Онъ вѣрно высказывался въ нихъ откровеннѣе, чѣмъ изустно. Чтѣ бы заняться этимъ кому-нибудь изъ нашихъ извѣстныхъ „библіографовъ“: они сдѣлали бы полезное дѣло и вмѣстѣ съ тѣмъ избавились бы отъ насмѣшекъ, кромѣ которыхъ ничего не дождешься за изданіе „Ванекъ Каиновъ“ съ библиографическими примѣчаніями, за изслѣдованіе тайнствъ Авиньонскаго Братства, за жизнеописаніе фрейлинъ Гамильтонъ, и за тому подобныя прелести.

*Изъ „Современника“ за 1861 г. Статья Л.*

\* \* \*

\*) Нельзя не благодарить г. Дудышкина за прекрасное изданіе сочиненій Лермонтова, тѣмъ болѣе, что ни одинъ изъ писателей нашихъ не появлялся въ такихъ безобразныхъ сборникахъ, какими были три предыдущія изданія

\*) „Библіограф. Записки“ 1861 г., № 3. „По поводу послѣдняго изданія сочиненій Лермонтова“. Статья П. Ефремова.



Лермонтова.—Отсутствіе всякой системы въ размѣщеніи, пропускъ цѣлыхъ строфъ, намѣренное искаженіе стиховъ какими-то непрошенными „поправляльщиками“, наконецъ, цѣлая масса опечатокъ, нерѣдко извращающихъ смыслъ не только стиха, но и всего стихотворенія,—вотъ коротенькая характеристика названныхъ изданій.

Все это теперь устранено, и мы не обинуясь можемъ сказать, что Лермонтовъ, наконецъ, изданъ болѣе достойнымъ образомъ. Но чѣмъ лучше и чѣмъ удовлетворительнѣе это изданіе, тѣмъ неохотнѣе указываемъ мы на кое-какіе, къ счастью весьма немногіе, недосмотры и опущенія.

Прежде всего мы не можемъ не указать на недостатокъ общаго алфавитнаго оглавленія. Конечно, всѣ сочиненія Лермонтова помѣстились въ двухъ книжкахъ и, на первый взглядъ, казалось бы, легко отыскивать все, что понадобится; но на дѣлѣ выходитъ иное. Свѣряя помѣщенные въ этихъ двухъ книжкахъ стихотворенія съ напечатанными въ первыхъ трехъ изданіяхъ и съ появившимися въ разныхъ журналахъ прежняго и настоящаго времени, а отчасти и съ рукописями, мы должны были почти каждый разъ пересматривать не только сполна оглавленія обоихъ томовъ, но и самыя книги, не надѣясь, чтобы подъ какимъ-нибудь лаконическимъ названіемъ (напр., романсъ къ\*\*\*, К. Д. и пр.) находилось то стихотвореніе, которое мы отыскивали. Да и вообще, не зная года, въ которомъ написана отыскиваемая пьеса, надо много потратить времени на просмотръ оглавленія, расположеннаго по годамъ. По нашему мнѣнію, не надо-бы было оставлять безъ вниманія примѣръ указателя, приложеннаго къ VI т. сочиненій Пушкина, изд. г. Анненкова.

Затѣмъ останавливаетъ бѣдность сообщаемыхъ настоящимъ изданіемъ біографическихъ свѣдѣній о поэтѣ и чрезвычайная скудость примѣчаній. Въ матеріалахъ для біографіи мы не встрѣтили (кромѣ 2, 3 фактовъ) ничего новаго, противъ напечатаннаго въ разныхъ журнальныхъ статьяхъ за послѣднее пятилѣтіе, а примѣчаній такъ немного (14 на 1000 страницъ), и всѣ они до того бѣдны,

что появленіе ихъ кажется только дѣломъ случая: что попало подъ руку, то и внесено. Имѣя передъ собою образчикъ въ богатыхъ примѣчаніяхъ, которыми снабжено изданіе сочиненій Пушкина, право, можно бы было потратить не много времени на подобный же трудъ.

Переходимъ теперь къ полнотѣ всего изданія и каждому изъ сообщаемыхъ въ немъ произведеній, ограничиваясь стихотвореніями. Замѣтимъ при этомъ, что, по отзыву г. Дудышкина, въ обоихъ томахъ должно заключаться совершенно все, что вышло изъ-подъ пера Лермонтова, и что мы не станемъ упоминать о стихотвореніяхъ, дополненныхъ или исправленныхъ, а остановимся только на тѣхъ, гдѣ встрѣтимъ пропуски или недосмотры противъ напечатаннаго прежде.

Пробѣловъ, встрѣчавшихся чуть-ли не цѣлыми страницами въ прежнихъ изданіяхъ, мы уже не находимъ въ новомъ: они или замѣщены полными стихами („Демонъ“, „Сказка для дѣтей“), или замѣщены не вполне („Измаиль-Бей“, „Бояринъ Орша“), или откинута безъ замѣщенія „Казначейша“, „Изъ альбома Карамзиной“).

Обращаемся къ первому тому.

Въ стихотвореніи: „На смерть Пушкина“ (стр. 61—63) кажется страннымъ, почему конецъ пьесы напечатанъ другимъ шрифтомъ, въ видѣ добавки, тогда какъ онъ, по замѣчанію самого издателя (т. 2, стр. XIX) составляетъ неотъемлемую принадлежность пьесы. Притомъ 12-й стихъ (снизу), который долженъ стоять передъ выпущеннымъ, начинающимся:

„Вы жадною толпой стоящіе“ и пр.

напечатанъ ошибочно, ибо во всѣхъ спискахъ встрѣчается да и по смыслу стихотворенія слѣдуетъ читать:

Игрою счастья униженныхъ родовъ...

а не рабовъ, какъ напечатано.

При стихотвореніи „Памяти А. И. Одоевскаго“, (стр. 104—107) не приведены два варианта, напечатанные въ Библиогр. Запискахъ 1859 г., № 12, стр. 383, тогда какъ варианты при другихъ стихотвореніяхъ приводятся.

Въ стихотвореніи „Бѣглець“ (стр. 179—183) не исправленъ только одинъ стихъ, противъ поправокъ, сообщенныхъ Библ. Записками“ (1859 г. № 12); именно на стр. 182 слѣдуетъ читать:

Сквозъ пули русскія безвредно  
Пришелъ къ тебѣ...

Стихотвореніе „На буйномъ пиршествѣ“ (стр. 185) было первоначально напечатано подъ названіемъ „Отрывокъ“ и имѣетъ окончаніа въ № 1 „Современника“ 1854 г. Но въ № 10 „Современника“ 1857 г. оно перепечатано, подъ названіемъ „Казоть“, съ добавкою четырехъ заключительныхъ стиховъ и съ небольшимъ измѣненіемъ во второмъ стихѣ. Издатель, вѣроятно, не имѣлъ въ виду послѣдней редакціи и перепечаталъ съ первой.—Въ № 10 „Современника“ 1857 г. второй стихъ читается:

„Одинъ, покинутый базумными друзьями“...

конецъ стихотворенія:

Онъ говорилъ: ликуйте, о друзья!  
Что вамъ судьбы дряхлѣющаго міра?  
Надъ вашей головой колеблется сѣкира,  
Но что-жъ?.. Изъ васъ одинъ ее увижу я...

Впрочемъ, и при этой редакціи окончанія, повидимому, недостаетъ.

Въ стихотвореніяхъ „Дума“ (стр. 93), „Любовь Мертвеца“ (стр. 153) и „Валерикъ“ (стр. 191) пропуски остались прежніе, исключая первой пьесы, въ которой одинъ стихъ добавленъ.

Переходимъ ко 2 тому.

Мы не станемъ говорить: надо или не надо было печатать первоначальныя произведенія поэта и черновые наброски, но опять взглянемъ: съ какою полнотою напечатано, что помѣщено въ этомъ томѣ, и спросимъ, отчего пропущены нѣкоторыя пьесы, когда другія (гораздо слабѣйшія) внесены.

Отрывки изъ „Первыхъ очерковъ Демона“ (стр. 37—42 47—63) были помѣщены въ „Библ. Запискахъ“ (1859 г.

№ 12). Противъ этихъ отрывковъ мы встрѣчаемъ въ новомъ изданіи нѣкоторыя измѣненія и неполноты, которыя и отмѣтимъ.

Стихи на стр. 39:

Угрюмо жизнь его текла,  
Какъ жизнь развалинъ. Безконечность  
Его тревожить не могла,  
Онъ хладнокровно видѣлъ вѣчность.

имѣють соответствующіе въ „Библ. Запискахъ“ (1859 г., № 12, стр. 379).

Уныло жизнь его текла  
Въ пустынь міра. Безконечность  
Жилище для него была,  
Онъ равнодушно видѣлъ вѣчность.

Вмѣсто 3-го стиха на стр. 40, въ „Библ. Зап.“ (стр. 380) читаемъ:

Все то, къ чему не прикасался.

10 стихъ снизу, на этой же страницѣ, читается въ „Библ. Зап.“ стр. (380):

Стѣна обители святой.

На стр. 41 2-ой стихъ снизу и потомъ на 57-ой, послѣдній читается, по рукописямъ:

Святыни здѣшней не нарушу!

На стр. 48, вмѣсто стиха:

Холодной гордостью полна,  
читаемъ въ „Библ. Запискахъ“ (стр. 380):

Хладна, какъ прежде и темна.

Стихамъ же 15 и 16-му соответствуютъ въ „Библ. Зап.“ (стр. 380).

Онъ зрѣть божественныя книги,  
Лампаду, четки и вериги.

А вмѣсто 19 и 20 стиха:

Она сидѣла  
Съ испанской лютнею въ рукахъ,

читаемъ:

Она сидѣла  
На ложѣ съ лютнею въ рукахъ,  
что намъ кажется болѣе сообразнымъ, ибо едва-ли бы перенесъ Лермонтовъ испанскую лютню (?) на Кавказъ, въ Грузію.

На стр. 50 послѣднему стиху соотвѣтствуетъ въ рукописи стихъ:

Ужъ не изгладить ничего.

На стр. 51 стиху пятому и шестому:

И съ любопытствомъ прочиталъ  
Онъ монастырскія преданья.

На стр. 52 стиху 4-му:

Въ ледяной (?) гротъ переселился.

На стр. 52 стихамъ 9 и 10:

Стѣну обители святой,  
И башни бѣлыя, и келью.

На стр. 54, въ „Пѣснь Монахини“, въ 3 строфѣ есть пропускъ, который въ нѣкоторыхъ рукописяхъ читается:

Но видитъ душа, наконецъ,  
Что другое готовилось ей.

На стр. 56 стихъ 12-ый говорить о демонѣ:

Кипитъ онъ, ревностью пылая.

Затѣмъ, черезъ 2 стиха, во многихъ спискахъ мы встрѣчали большую вставку въ 21 стихъ, которой, однако, въ нѣкоторыхъ спискахъ не находится:

Но, впрочемъ, онъ перемѣниться  
Не могъ-бы: это былъ лишь сонъ,  
И рано-ль, поздно-ль пробудиться  
На вѣки долженъ былъ-бы онъ.  
Успѣло зло укорениться  
Въ его душѣ съ давнишнихъ дней:  
Добро не ужилося-бы въ ней;  
Его присвоить, имъ гордиться  
Не могъ-бы демонъ никогда;  
Оно въ немъ было-бы чужое,

И сталь-бы онъ несчастнѣй вдвое.  
 Взгляните на волну; когда  
 Въ ней отражается звѣзда;  
 Какъ разсыпаются чудесно  
 Вокругъ серебристыя струи!  
 Но что-же?—блескъ тотъ—блескъ небесный,  
 Не завладѣютъ имъ они.  
 Ихъ лучъ звѣзды той не согрѣетъ,  
 Онъ гаснетъ,—и волна темнѣетъ!  
 Злой духъ недолго размышлялъ:  
 Онъ не впервые отомщаль!  
 Онъ образъ *смертный* принимаетъ и пр.

а не *смерти*, какъ напечатано.

На стр. 58, послѣ ст. 26 встрѣчается пропускъ, причемъ не обозначено, что выпущенное мѣсто напечатано цѣликомъ въ окончательной редакціи Демона на стр. 35—36 перваго тома, за исключеніемъ 3 стиховъ изъ послѣдняго (на стр. 36) отвѣта Демона, которыхъ въ окончательной редакціи дѣйствительно нѣтъ, но въ черновыхъ наброскахъ они читаются:

Мы станемъ жить, любя, страдая,  
 И адъ намъ будетъ стоять рая;  
 Мнѣ рай вездѣ, гдѣ я съ тобой!

На стр. 59, послѣ стиховъ о колокольномъ звонѣ, въ нѣкоторыхъ рукописяхъ читаемъ замѣтку:

Куда зоветъ отшельницъ онъ?

На стр. 61 мѣсто, соответствующее началу строфы, читается въ „Библ. Зап.“ (стр. 381).

Съ тѣхъ поръ промчалось много лѣтъ,  
 Пустьѣла древняя обитель,  
 И время, общій разрушитель и пр.

и вмѣсто стиховъ 13—21 читаемъ (ст. 382):

Не разъ, сбѣжавъ со скалъ крутыхъ,  
 Сайгакъ иль серна, дочь свободы,  
 Приютъ отъ зимней непогоды  
 Искали въ кельяхъ, и порой  
 Забытой утвари паденье  
 Среди развалины глухой

Ихъ приводило въ изумленье:  
Но въ наше время ничему  
Нельзя нарушить тишину“.

Это чтеніе, на нашъ взглядъ, болѣе правильно, чѣмъ приведенное въ изданіи.

Наконецъ, замѣтимъ, что на страницахъ 49, 55, 56 и 60, въ стихахъ: 10, 25, 29 и 26 опущено наименованіе монахини, которое мы читаемъ въ „Библ. Зап.“ (стр. 381).

При стихотвореніи „Прелестницѣ“ (стр. 83) не указано на окончательную редакцію этого стихотворенія въ 1 томѣ, на стр. 169.

На стр. 85, 86 и 89 помѣщены стихотворенія: „Черноокой“, „Благодарность“, „Свершилось“ и пр., съ уничтоженіемъ помѣтъ, которыя находились при нихъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ 1857 г., № 18 (стр. 398, 399 и 407), а именно: при 1-мъ Средниково, 12 августа 1830, при 2-мъ та-же самая и при 3-мъ 2 октября 1830 г.

На стр. 87 напечатано стихотвореніе: „Зови надежду сновидѣньемъ“. Во всѣхъ рукописяхъ, которыя намъ встрѣчалось видѣть, эта пьеса читается съ такими измѣненіями:

Не вѣрь хваламъ и увѣреньямъ,  
Неправдой истину зови,  
Зови надежду сновидѣньемъ,—  
Но вѣрь, о вѣрь моей любви!  
Такой любви нельзя не вѣрить,  
А взоръ не скроетъ ничего;  
Ты неспособна лицемѣрить,  
Ты слишкомъ ангелъ для того?

При стихотвореніяхъ, напечатанныхъ на стр. 128 и 135, мы не находимъ помѣтъ, которыя встрѣчаются въ рукописяхъ: 1) Желаніе (Средниково. Вечеръ на бельведерѣ 29 іюля) и 2) 7 августа. Въ деревнѣ, на холмѣ у забора.

Въ поэмѣ „Ангелъ Смерти“ мы встрѣтили нѣсколько, впрочемъ, весьма незначительныхъ, варіантовъ противъ рукописей, какъ, напр.,

Гдѣ дня не нужно вовсе намъ (стр. 146)  
Въ долину пылъ клубится тучей (стр. 152) и т. п.

Стих., напечатанное на стр. 226—228, по нѣкоторымъ спискамъ, имѣетъ еще 5 заключительныхъ стиховъ:

Безумный, ты не зналъ, что былъ любимъ,  
И ты о томъ провѣдалъ лишь тогда,  
Какъ потерялъ ея любовь на вѣки,  
И удалось привлечь другому лестью  
Всѣ, всѣ желанья дѣвы легковѣрной!

Кромѣ того, въ этомъ стихотвореніи есть нѣсколько вариантовъ съ рукописью, но по незначительности самого стихотворенія, мы ихъ не приводимъ.

На стр. 266—267 напечатано стихотвореніе, которое представляетъ только перепечатку помѣщенного на стр. 169—170, съ измѣненіемъ, во 2 стихѣ, слова мятежную, на глубокую. Между тѣмъ изъ статьи г. Шестакова: Юношескія произведенія Лермонтова (Русскій Вѣстн. 1857 г. № 11, стр. 331) видно, что въ этомъ мѣстѣ драмы „Странный человѣкъ“, въ рукописи, помѣщенъ весьма интересный вариантъ (приведенный г. Шестаковымъ) стихотворенія, напечатаннаго въ окончательной отдѣлкѣ на стр. 159 перваго тома настоящаго изданія.

Въ поэмѣ „Измаиль-Бей“ большая часть огромныхъ пропусковъ замѣщена вполне, и весьма многіе стихи исправлены, такъ что поэма принимаетъ совсѣмъ иной видъ. Недостатки не пополнены только въ строфахъ: 1-ой части—VIII и IX (302), XVII (307), 2-й части—XXI (послѣ 20-го стиха, 338), и 3-й части—XXIX (369).

Кромѣ того, измѣнены 2 строфы противъ прежнихъ изданій, а именно: части 2-й строфа XII (331) въ изданіи Смирдина (1847 г., стр. 343) оканчивалась:

Пора! кипятъ они досадой...

.....

Части 3-й строфа II (348) въ изданіи Смирдина 1847 г., стр. 362 оканчивалась:

За поцѣлуемъ вслѣдъ звучить кинжалъ,  
Отпрянуть грозный, захрапѣлъ и палъ!  
„Отмсти, товарищъ!“ и въ одно мгновеніе



(Достойное за смерть убійцы мщенье)  
Простая сакля, веселя ихъ взоръ,  
Горить,—черкесской вольности костеръ!...

Затѣмъ, въ самомъ концѣ поэмы, какъ будто недостаетъ чего-то, такъ что послѣдній стихъ остается безъ риѣмующаго ему.

Въ poemъ „Бояринъ Орша“ мы замѣтили пропуски на страницахъ 539 (послѣ 4-го ст.), 547 (передъ послѣднимъ) и 551 (передъ 5-мъ снизу).

Въ „Казначейшѣ“ не сдѣлано ни малѣйшей добавки, и остались тѣ-же самые пропуски. (Въ строфахъ: I (556), IV (567), XIV (572), XVI (два, 573), XVII (573), XXV (557), XXXI (580), XXXIII (два, 581) и XLIV (586).

На стр. 602 стихотвореніе: „А. О. Смирновой“ напечатано безъ измѣненія противъ прежнихъ изданій. Между тѣмъ въ „Библ. Запискахъ“ (1858 г., № 6, ст. 182) оно сообщено въполнѣ и заключаетъ 16 стиховъ, вмѣсто 8 напечатанныхъ, да и эти отчасти измѣнены такъ, что помѣщеніе сказаннаго варіанта вовсе не было бы лишнимъ.

Въ стихотвореніи: „Изъ альбома С. Н. Карамзиной“ (стр. 605), попрежнему недостаетъ окончанія.

Стихотвореніе: „Увы! какъ скученъ этотъ городъ!“ (стр. 622)—напечатано съ прежними пропусками, послѣ второго (два) и послѣ третьяго (три) стиховъ; а равно и слѣдующее за тѣмъ стихотвореніе: „По произволу дикой власти“ (стр. 623) осталось безъ окончанія.

Въ заключеніе укажемъ на тѣ стихотворенія Лермонтова, которыя вовсе не вошли въ настоящее изданіе.

Изъ напечатаннаго въ „Библіогр. Запискахъ“, мы не встрѣчаемъ:

1) „Посреди небесныхъ тѣлъ“ (1858 г., № 20, стр. 634—635). Оно списано съ автографа Лермонтова, слѣдовательно принадлежность его поэту несомнѣнна.

2) „Quand je te vois sourire“ (1859 г., № 1, ст. 23).

3) Экспромтъ М. И. Ц. (тамъ же), напечатанный сверхъ того въ „Атенеѣ“ 1858 г., № 48.

4) Отрывокъ изъ описанія Петергофскаго праздника (1859 г., № 12, ст. 374).

5) Къ кн. Л. Г—ой (тамъ же, ст. 383). При этомъ мы замѣтимъ, что стихотвореніе это въ рукописяхъ постоянно встрѣчается между тѣми двумя, которые напечатаны во 2 томѣ, на стр. 161, нынѣшняго изданія.

Изъ указанныхъ въ „Библ. Зап.“ (1859 г., № 12) стихотвореній, помѣщенныхъ въ разныхъ изданіяхъ, мы не встрѣтили:

1) Изъ „Библіотеки для Чтенія“ 1844 г., № 5 „Еврейской мелодіи“. Потомъ, не имѣя подъ руками № 6 „Библ. для Чтенія“ того же года, мы не могли провѣрить, какія изъ 6 помѣщенныхъ тамъ стихотвореній внесены въ изданіе г. Дудышкина.

2) Изъ „Русскаго Вѣстника“ 1856 г., № 14, стр. 323—326, не внесены три стихотворенія. На одно изъ нихъ, еще въ 1859 г., изъяснена была претензія г. Розенгеймомъ. Интересно бы узнать, не имѣлъ ли г. Дудышкинъ положительныхъ указаній, что и два остальныхъ стихотв. Лермонтову не принадлежатъ.

3) Тотъ же вопросъ можно предложить и о трехъ весьма плохихъ стихотв., напечатанныхъ съ именемъ Лермонтова въ 3 т. Сборника лит. статей въ пользу семейства А. Ф. Смирдина.

4) Изъ „Русск. Вѣстн.“ 1857 г., № 18 не внесены двѣ замѣтки, напечатанныя на стр. 407 и 408.

5) Наконецъ, изъ „Русскаго же Вѣстника“, 1860 г. № 8 не внесена весьма граціозная замѣтка, сообщенная М. И. Лонгиновымъ (стр. 387).

Графиня Эмилиа  
Прекрасна какъ лилія:  
Такой станъ и талія,  
Конечно, не встрѣтится,  
И небо Италіи  
Въ глазахъ ея свѣтится,  
Но сердце Эмилии  
Подобно Бастиліи.

Неужто г. издатель счелъ недостойнымъ помѣстить эту замѣтку, помѣстивъ множество другихъ, въ родѣ такой т. 2, стр. 74):

Не даромъ она, не даромъ  
Съ отставнымъ гусаромъ.

Изъ изданія Смирдина (1847 г.) мы не встрѣтили: 1) „Небо и звѣзды“ (стр. 304), 2) „Элегіи“ (стр. 305) и 3) „Изъави Богъ“... Впрочемъ, послѣдняя далеко хуже даже приведенной: „Не даромъ“.

Изъ „Библиографическихъ Записокъ“ 1861 г. Статья П. Ефремова.

\* \* \*

\*) Недавно мнѣ посчастливилось пріобрѣсти рукописный сборникъ, составленный преимущественно изъ сочиненій Пушкина и Лермонтова. Сборникъ этотъ состоитъ изъ трехъ книгъ, весьма почтенныхъ размѣровъ, и заключаетъ въ себѣ много интереснаго, какъ въ стихотворномъ, такъ и въ прозаическомъ отдѣлахъ своихъ. Оставляя до времени полный обзоръ его, я ограничиваюсь на первый разъ извлеченіями только изъ той части, которая касается Лермонтова; тѣмъ болѣе, что стихотворенія этого поэта въ спискахъ встрѣчаются чрезвычайно рѣдко, а подлинныхъ автографовъ—и не увидишь. Видно лица, владѣющія ими, ревниво хранятъ ихъ отъ любопытныхъ взоровъ библиографовъ, соображая, что „возьмутъ-де, да и напечатаютъ дополненія“. Но почему же они сами не рѣшаются подѣлиться печатью этимъ добромъ. Библейскій рабъ зарываетъ свои таланты, а вы зарываете чужіе. Какую же пользу принесутъ они, лежа въ щикахъ вашихъ столовъ? Вѣдь это, какъ говорится, ни себѣ ни людямъ.

Въ отдѣлѣ стихотвореній Лермонтова собраны мелкія стихотворенія ранней эпохи, поэмы (за исключеніемъ „Монсо“ и „Казначейши“) и немногія стихотворенія послѣдней поры

\*) „Библиографическія Записки“ 1861 г., № 16. „Поправки и дополненія къ сочиненіямъ Лермонтова“. Статья П. Ефремова.

дѣятельности поэта, а въ отдѣлѣ прозы помѣщены только драма „Странный Человѣкъ“.

Проходя молчаніемъ тѣ пьесы, которыя не представляютъ ничего несходнаго съ печатными, укажу только имѣющія варианты или добавки, причѣмъ буду дѣлать ссылки на печатный экземпляръ сочиненій Лермонтова, изданныхъ подъ редакціей г. Дудышкина. Замѣчу, что изданіе это (по отзыву книгопродавцевъ), почти все раскуплено, и потому, вѣроятно, скоро надо будетъ ожидать новаго. Желательно, чтобы приводимыя теперь поправки были тогда приняты въ соображеніе г. издателемъ.

„Бояринъ Орша“ (т. 2, стр. 525—561).

Пропусковъ и поправокъ противъ печатнаго въ этой поэмѣ нѣтъ. Поэтому въ „Библ. Запискахъ“ нынѣшняго года (№ 3) неправильно было указано, что она напечатана не вполнѣ. Точки поставлены были самимъ Лермонтовымъ.

Измаиль-Бей (т. 2, стр. 295—374).

На 302 стр. строфа VIII оканчивается такъ:

Черкесь удалый въ битвѣ правой  
Умѣеть умереть со славою,  
И у жены его молодой  
Спаситель есть — кинжалъ двойной; —  
И страхъ насильства и могилы  
Не могъ-бы изъ родныхъ степей  
Ихъ удалить: позоръ цѣпей  
Несли къ нимъ вражескія силы!  
Мила черкесу тишина,  
Мила родная сторона,  
Но вольность, вольность для героя  
Милѣй отчизны и покоя.  
„Въ насмѣшку дерзкимъ и въ укоръ  
„Оставимъ мы утесы горъ;  
„Пусть на тебя, Бешту суровый,  
„Попробуютъ надѣть оковы!“  
Такъ думалъ каждый, и Бешту  
Теперь ихъ мысли понимаетъ,  
На *дерзкихъ* робко онъ взираетъ  
И облаками одѣваетъ  
Вершинъ кудрявыхъ красоту.

той-же стр. IX строфа читается:

Межъ тѣмъ летять за годомъ годы,  
 Готовять мщеніе народы,  
 И пятый годъ ужъ настаетъ,  
 А кровь джяуровъ не течетъ.  
 Въ необитаемой пустынѣ  
 Черкесъ бродящій отдохнулъ,  
 Построенъ новый былъ аулъ  
 (Его слѣдовъ не видно нынѣ).  
 Старикъ и воинъ молодой  
 Кипять отвагой и враждой.  
 Ужъ Рослаббекъ съ береговъ Кубани  
 Князей союзныхъ поджидаль;  
 Лезгинецъ, слыша голосъ брани,  
 Готовить стрѣлы и кинжалъ;  
 Скопилась месть ихъ роковая  
 Въ тиши надъ дремлющимъ врагомъ:  
 Такъ лѣтомъ глыба снѣговая,  
 Цвѣтами радуги блистая,  
 Виситъ, прохладу общая,  
 Надъ беззаботнымъ табуномъ.

н. 307, послѣ стиха послѣдняго:

Ужели отдыхаетъ мщенье?  
 Аулъ, гдѣ дѣтство онъ провелъ,  
 Мечети, кровы мирныхъ селъ,—  
 Все уничтожилъ дерзкій воинъ,—  
 Нѣтъ, нѣтъ, не будетъ онъ спокоенъ,  
 Пока изъ бѣлыхъ ихъ костей,  
 Въкамъ грядущимъ въ поученье,  
 Онъ не воздвигнетъ мавзолеей  
 И такъ отмститъ за униженіе  
 Любезной родины своей.  
 „Я зналъ васъ“, онъ шепчетъ, „знаю!  
 „И вы узнаете меня;  
 „Давно ужъ васъ я презираю;  
 „Но вашу кровь пролить желаю  
 „Я только съ нынѣшняго дня!“

н. 331, ст. 24.

Пора! кипять они досадой,  
 Что русскихъ нѣтъ, имъ крови надо!

н. 335, стихъ предпослѣдній:

Причуда злой судьбы—ихъ бытіе.

Эти два мѣста пропущены въ новомъ изданіи, вѣроятно, по недосмотру, по крайней мѣрѣ, въ изданіи 1847 г. и слѣдующихъ за нимъ встрѣчаются и стихъ 24-ый, стр. 331, и стихъ предпоследній, стр. 335.

Стр. 338, ст. 23 (въ строфѣ XXI):

За то, что бѣдны мы, и волю  
И степь свою не отдадимъ  
За злато роскоши нарядной!  
За то, что мы боготворимъ,  
Что презираете вы хладню!  
Не бойся и пр.

Стр. 348, ст. послѣдній.

„Отпрянулъ русскій“ и проч. (смотри въ изданіи 1847 г., т. 1, стр. 362).

На стр. 369, строфа XXXIX имѣетъ еще 4 заключительные стиха, но мы ихъ не приводимъ, потому что въ нашей рукописи они записаны съ ошибками противъ размѣра и, кажется, искажены.

На стр. 374 поэма оканчивается такъ:

— И кто-бы отгадалъ?—Джяуръ проклятый!  
Нѣтъ, ты не стоишь лучшаго конца;  
Нѣтъ, мусульманинъ вѣрный—Измаилу  
Отступнику не выраемъ могилу!..  
Того, кто презиралъ людей и рокъ,  
Кто смертію игралъ такъ своеюравно,  
Лишь ты извергнуть смѣлъ, святой пророкъ!..  
Пусть не оплаканъ, онъ сгніетъ безславно,  
Пусть кончитъ жизнь, какъ началъ, одинокъ!“...

„Маскарадъ“ (т. 2, стр. 395—523).

На стр. 402, послѣ 1-го стиха, въ изданіи 1860 г., есть вставка, которой не было въ прежнихъ и которую, повидимому, замѣнено прежнее чтеніе. Въ нашей рукописи мы читаемъ:

Казаринъ.

Почти... Онъ изъ полка былъ выгнанъ за дуэль  
Или за то, что не былъ на дуэли,  
Боялся быть убійцей, да и мать

Къ тому жъ строга; потомъ, дѣтъ черезъ пять  
 Былъ вызванъ онъ опять,  
 И тутъ дрался ужъ въ самомъ дѣлѣ.

гр. 409, ст. 23.

Вѣдь, нынче праздники и, вѣрно, маскарадъ  
 У Энгельгардта?

гр. 412, послѣ ст. 12.

И также, можетъ быть, что эта же краса  
 Къ вамъ завтра вечеромъ прійдетъ на полчаса.

гр. 415, послѣ стиха:

И слезъ, ни просьбъ, ни пламенныхъ рѣчей... въ на-  
 рукописи строка пропущена и прямо читается:

Но клятву дай оставить всѣ старанья.

а стр. 436, въ ст. 21 слово „прекрасный“ замѣнено  
 омъ „небесный“.

а стр. 456, въ ст. 3 добавлено: у обѣдни.

р. 471, послѣ ст. послѣдняго:

Баронесса.

О, Боже мой!

Арбенинъ.

Я говорю безъ лести...

А сколько платять вамъ всѣ эти господа?

Баронесса (упадаетъ въ кресла).

Но вы безчеловѣчны!

Арбенинъ.

Да,

Ошибся, виновать, вы служите изъ чести!

(Хочетъ идти).

а стр. 489, въ послѣднемъ стихѣ, вмѣсто „ужасный“  
 , поставлено „свой страшный судъ“.

а стр. 491, ст. 14 читается:

Но я не Богъ, и не прощаю.

а стр. 516, послѣ ст. 21, слѣдуетъ:

Который сотворить одинъ такую могъ.

*Уланша.*

Извѣстія объ этой поэмѣ помѣщены въ статьяхъ г. Меринскаго въ „Библ. Запискахъ“ 1858 и 1859 г. и въ „Атеней“ 1858, гдѣ былъ приведенъ изъ нея отрывокъ (№ 48), а также въ статьяхъ г. Лонгинова, въ Русскомъ Вѣстникѣ 1860 г.

Приводимъ нѣсколько отрывковъ, въ связи съ сообщеннымъ г. Меринскимъ, который здѣсь тоже выписываемъ:

## I.

Идетъ нашъ пестрый эскадронъ  
Шумящей, пьяною толпою;  
Повѣсь усталыхъ клонить сонъ.  
Ужъ поздно. Темной синевою  
Покрылось небо; день угасъ.  
Повѣсы ропщутъ!

„Эдакъ насъ

Прогонять черезъ всю Европу!  
Ужель Ижорки не видать?  
Ты, братецъ, отдалилъ мнѣ ногу!..  
Дай вправо!.. тише!..  
Вотъ подняли опять тревогу!  
Но вотъ Ижорка, слава Богу!  
Пора раскланяться съ конемъ“...  
Какъ должно, вышелъ на дорогу  
Уланъ съ завернутымъ значкомъ;  
Онъ по квартирамъ важно, чинно  
Повелъ начальниковъ съ собой,  
Хотя, признаться, запахъ винный  
Изобличалъ его порой.

Сказать вамъ имя квартиргера?  
То былъ Лафа, буянъ лихой,  
Съ чьей молодецкой головой  
Ни допель-кюмель, ни мадера,  
Ни даже шумное ан  
Ни разу сладить не могли.

.....

## II.

Шумя, какъ бѣсъ, онъ въ избу входитъ,  
Шинель сама спадаетъ съ плечь,



Кругомъ онъ дико взоры водить  
 И мнить, что видитъ сотни свѣтъ.  
 Въ избѣ-жъ всего одна лучина:  
 Треща, дымясь горить она;  
 Но что за дивная картина  
 Ея лучемъ озарена?  
 Сквозь дымъ волшебный, дымъ пріятный  
 Мелькаютъ лица...  
 Пируютъ... Въ ихъ кругу туманномъ  
 Дубовый столъ и ковшъ на немъ,  
 И пуншъ въ ушатъ деревянномъ  
 Шылаетъ синимъ огонькомъ.

. . . . .

### III.

Идутъ... и разъярясь, какъ звѣри,  
 Всѣ кинулись они, и вдругъ  
 Съ тяжелой и замкнутой двери  
 Какъ разъ слетѣлъ желѣзный крюкъ...  
 Они въ пылу самозабвенья,  
 Ни слезъ, ни жаркаго моленья,  
 Ни тяжкихъ воплей не поймутъ...  
 Они идутъ! пришли! О, Боже!  
 Но скоро, скоро страхъ исчезъ...

. . . . .

### IV.

На утро дневное свѣтило  
 Взошло сквозь сѣрыхъ облаковъ  
 И кровли спящія домовъ  
 Своимъ лучомъ позолотило,  
 Вдругъ слышенъ крикъ: вставай скорѣй!  
 Ужъ сборъ пробили барабаны,  
 И полусонные уланы  
 Зѣвая, сѣли на коней...

. . . . .

### V.

Съ тѣхъ поръ прошло ужъ много дней  
 Но справедливое преданье  
 Навѣки сохранило ей  
 Уланши грозное прозванье.

(1834).

Изъ отдѣла мелкихъ стихотвореній укажемъ:

Въ стихотвореніи: „1831 года, іюня 11“,—строфы 28, 29 и 30 (стр. 113—114) читаются:

Я предузналъ мой жребій, мой конецъ,  
И грусти ранняя на мнѣ печать;  
И какъ я мучусь, знаетъ лишь Творецъ;  
Но равнодушный міръ не долженъ знать.  
И не забыть умру я. Смерть моя  
Ужасна будетъ, чуждые края  
Ей удивятся, а въ родной странѣ  
Всѣ проклянутъ и память обо мнѣ.

Всѣ! нѣтъ, не всѣ! Созданье есть одно,  
Способное любить, хотъ—не меня;  
До этихъ поръ не вѣрить мнѣ оно,  
Однако сердце полное огня  
Не увлечется мнѣньемъ, и мое  
Пророчество припомнить умъ ея,  
И взоръ, теперь веселый и живой,  
Напрасно отуманится слезой.

Кровавая меня могила ждетъ,  
Могила безъ молитвъ и безъ креста  
На дикомъ берегу ревушихъ водъ  
И подъ туманнымъ небомъ; пустота  
Кругомъ... и пр.

Сентября 28.

(1830—1831?)

Опять, опять я видѣлъ взоръ твой милый!

Я говорилъ съ тобой!

И мнѣ бывшее, взятое могилой,

Напомнилъ голосъ твой.

Бъ чему? Другой лобзаетъ эти очи

И руку жметъ твою,

Другому голосъ твой во мракѣ ночи

Твердить: люблю, люблю!

Откройся мнѣ: ужели непритворны

Лобзанія твои?

Они правамъ супружескимъ покорны,

Но не правамъ любви.

Онъ для тебя не созданъ: ты родилась

Для пламенныхъ страстей;

Отдавъ ему себя, ты не спросилась

У совѣсти своей!

Онъ чувствовалъ ли трепеть потаенный  
 Въ присутствіи твоёмъ!  
 Умѣлъ ли презирать онъ міръ презрѣнный,  
 Чтобъ мыслить объ одномъ?  
 Встрѣчалъ ли онъ съ молениемъ и слезами  
 Привѣтъ холодный твой?  
 И лучшими-ль онъ жертвовалъ годами  
 Свиданію съ тобой.  
 Нѣтъ! я увѣренъ: твоего блаженства  
 Не можетъ сдѣлать тотъ,  
 Кто красоты наружной совершенства  
 Одни въ тебѣ найдетъ.  
 Такъ!.. ты его не любишь!.. Тайной властью  
 Прикована ты вновь  
 Къ душѣ печальной, незнакомой счастью,  
 Но нѣжной, какъ любовь.

Это стихотвореніе я выписалъ для образца, такъ какъ подобныхъ ему находится въ моемъ сборникѣ до десяти, но списывать ихъ я не рѣшился, потому что, кромѣ назван-  
 ой рукописи, нигдѣ не встрѣчалъ ихъ съ именемъ Лер-  
 нтова.

Замѣчательно еще слѣдующее стихотвореніе, какъ *подра-  
 заніе* или *переводъ* изъ Байрона, но этого нельзя прямо  
 назвать, такъ какъ я не имѣю теперь подъ руками байро-  
 вскаго „Мавепы“.

Ахъ, нынѣ я не тотъ совѣмъ,  
 Меня друзья бы не узнали.  
 И на челѣ тогда моемъ  
 Власы сѣдые не блитали.  
 Я былъ еще совѣмъ не старъ,  
 А изсушилъ мнѣ сердце жаръ  
 Страстей, явились морщины  
 И ненавистныя сѣдины;  
 Но и теперь преклонныхъ лѣтъ  
 Я презираю тяготѣнье.  
 Я зналъ еще души волненье—  
 Любви минувшей грозный слѣдъ.  
 Но говорю: краса Терезы...  
 Теперь среди полночной грезы  
 Мнѣ кажется: идетъ она  
 Между каштановъ и черешень...

Катится по небу луна...  
 Какъ я доволенъ и утѣшенъ!  
 Я вижу кудри!.. взоръ живой,  
 Горячей влагою одѣлся...  
 Какъ жемчугъ перси бѣлизной...  
 Такъ живо образъ дорогой  
 Въ моемъ умѣ напечатлѣлся!  
 Станъ невысокій помню я  
 И азіатскія движенія,  
 Уста пурпурныя ея,  
 Стыда румянецъ и смятеніе...  
 Но полно! полно! я любилъ,  
 Я чувствъ своихъ не измѣнилъ!..

.....  
 Любовь сокрывшись въ сердцѣ дикомъ,  
 Въ однихъ лишь крайностяхъ горитъ,  
 И вѣчно (тщетно рокъ свирѣпый  
 Возсталъ) меня не охладить,  
 И тѣнь минувшаго бѣжить  
 Понинѣ всюду за Мазепой...  
 .....

*П. Ефремовъ.*

\* \*  
 \*

\*) Въ отдѣлѣ изъ находящихся у меня рукописныхъ сборниковъ, о которыхъ я упоминалъ въ статьѣ, напечатанной въ № 16 „Библ. Записокъ“ нынѣшняго года, есть отдѣлъ, озаглавленный: „Списокъ съ черновой тетради М. Ю. Лермонтова“ Въ этомъ списокѣ, кромѣ нѣкоторыхъ извѣстныхъ стихотвореній Лермонтова, находятся черновые наброски стихотвореній, не являвшихся въ печати и, вѣроятно, такъ и оставшихся неотдѣланными.

Не вдаваясь ни въ какія соображенія по поводу достоверности этого списка и т. п., я ограничиваюсь только передачею содержанія его, въ полной надеждѣ, что лица, владѣющія той черновой тетрадью, въ которой онъ сдѣланъ, не откажутся подать и свой голосъ, чтобы объяснить: на-

\*) „Библиографическія Записки“ 1861 г., № 16. Еще по поводу изданія сочиненій Лермонтова. Статья Ефремова.

лько достовѣрнымъ можно считать этотъ списокъ, а  
ке—къ какому времени относится подлинная тетрадь  
уществуетъ-ли она теперь.—Я, съ своей стороны, отно-  
ее къ 1839 или 1840 году, такъ между прочимъ въ  
находятся черновые очерки стихотворенія „Памяти А.  
Одоевскаго“, а извѣстно, что Александръ Ивановичъ  
евскій умеръ 10 октября 1839 года. Сдѣлаю еще за-  
ку: въ „спискѣ“ встрѣчаются слова и цѣлые стихи,  
гавленные въ скобки, при чемъ оговорено, что они за-  
януты Лермонтовымъ; потомъ замѣчено, что точки, по-  
зленные во многихъ мѣстахъ, обозначаютъ неразобран-  
или вовсе недописанные стихи и слова.

Списокъ начинается слѣдующими четырьмя строфами, по-  
не имѣющими помарокъ.

Свои записки нынѣ пишуť всѣ,  
И тотъ, кто славно жилъ и умеръ славно,  
И тотъ, кто кончилъ жизнь на колесѣ;  
И каждый лжетъ, хоть часто слишкомъ явно,  
Чтобъ выставить себя во всей красѣ.  
Увы!—дѣла ихъ, чувства, мнѣнья  
Погибнуть безъ слѣда въ волнахъ забвенья.  
Ни модный слогъ, ни модный фронтисписъ—  
Ихъ не спасетъ отъ плѣсени и крысъ.  
Но хоть пути предшественниковъ склизки,  
И я хочу издать мои записки!

## 2.

Нашъ вѣкъ ужасно страненъ. Все пиши  
Ему про добровольныя изгнанья,  
Про темныя волненія души,  
И только слышны—муки да страданья.  
Такія вещи хороши  
Тому, кто мало спитъ, кто думать любитъ,  
Кто жизнь свою въ воспоминаньяхъ губитъ.  
Впадалъ я прежде въ эту слабость самъ,  
Но видя отъ нея лишь вредъ глазамъ,  
Минувшее свое, безъ дальней справки,  
Я схоронить рѣшилъ въ книжной лавкѣ.

## 3.

Печальныхъ много будетъ тутъ вещей,  
И васъ онѣ заставятъ разсмѣяться.—

Когда, уставъ отъ дѣлъ, отъ ласкъ друзей,  
Отъ ласкъ жены, случится вамъ остаться  
Однимъ, то книжкою моею  
Займитесь чинно. Кликните Петрушку;  
Онъ дастъ вамъ трубку, мягкую подушку  
Вамъ за спину положить; и потомъ,  
Раскрывъ на серединѣ первый томъ,  
Любезный мой, вы можете свободно  
Уснуть или читать, какъ вамъ угодно.

## 4.

Видѣнья сна замѣнять мой рассказъ,  
Запутанный и, какъ они, неясный.  
И еслибъ могъ я спать, то въ этотъ часъ,  
Съ перомъ въ рукахъ, я-бъ на яву напрасно  
Не бредилъ... Правда, мнѣ не въ первый разъ  
Просиживать въ мечтахъ о томъ, что было,  
Мучительныя ночи... Тайной силой  
Я былъ лишень отъ первыхъ дѣтскихъ лѣтъ  
Забвенья жизни и забвенья бѣдъ...

И даже сны упорно повторяли  
Моей души протекшія печали:—  
Сонъ—благо, даръ небесъ, когда онъ тихъ  
Безропотно, какъ смерть, какъ отдыхъ рая,—  
Но признаюсь я, часто для иныхъ  
Карикатура жизни...  
Не лучше... полная нѣмыхъ  
И безпокойныхъ образовъ другого  
Таинственного міра, не земного;  
Смущенная душа раздѣлена  
Между... и призраками сна  
Блуждаетъ въ мірѣ вымысла безъ пищи  
Какъ лазарони, а по-русски—нищій...

Далѣе слѣдуетъ коротенькая замѣтка, отдѣленная отъ  
этого и слѣдующаго очерка черточками:

..... имя это  
Дано по волѣ одного корнета.

Потомъ начинается набросокъ, повидимому, уже другого  
стихотворенія, а можетъ быть, это дальнѣйшія строфы пер-  
ваго наброска. Рѣшить трудно.

## 1.

Подъ рубищемъ простымъ она росла  
Въ невѣжествѣ, какъ травка полевая,  
Прохожимъ не замѣчена,—ни зла  
Ни гордой добродѣтели не зная.  
Но часъ насталъ, пора любви пришла—  
Ей кто-то улынулся,—простодушно  
Она своихъ покинула, послушна  
Какъ агнецъ.—Но, увы, прошло пять дней—  
Любовникъ глупый ужъ наскучилъ ей,  
И съ этихъ поръ, чтобъ выбирать по волѣ,  
Она взяла ихъ пять, шесть, семь и болѣ.

## 2.

Мечты умчались, какъ ночной туманъ,  
Но сердце (у) Терезы.. все осталось то же  
.....  
Быль это знакъ тоски нѣмой сердечной..

## 3.

Безвѣстная печаль смѣнилась вдругъ  
Какою-то веселостью недужной  
(Дай Богъ, чтобъ всѣхъ томилъ такой недугъ).  
Волной вставала грудь и пламень южный  
Въ ланитахъ рдѣлся—бѣлый полукругъ...  
.....

## 4.

Когда шалунья на кровать,  
Шутя, рѣзвясь, роскошно упала—  
Не спору: мудрено ее понять—  
Она сама себя не понимала.  
Ей было трудно сердцу приказать,  
Какъ баловню ребенку: надо было  
Кому-нибудь съ невѣдомою силой  
Явиться, и притягливой душой  
Ее согрѣть... Явился-ли герой  
Или вотще—остались... ожидали...  
Все это мы со временемъ узнали.

## 5.

Теперь къ подругѣ перейдемъ,  
Чтобъ выполнить начатую картину.

Онѣ недавно жили тутъ вдвоемъ,  
 Но души ихъ сливались воедино,  
 И мысли ихъ встрѣчались во всемъ.  
 О, еслибъ знали, сколько въ этомъ званьи  
 Сердечъ отлично-добрыхъ!.. но вниманье  
 Увлечено блистаньемъ модныхъ дамъ—  
 Вдыхая мы бѣжимъ по ихъ слѣдамъ...  
 Увы, друзья!.. а наведите справки—  
 Вся прелесть ихъ—въ кредитъ изъ модной лавки!..

Послѣ этого опять двѣ отрывочныя замѣтки:

6.

Она была свѣжа, была кругла,  
 Какъ снѣжный шарикъ...

7.

..... перекрестился въ Парашу.

Затѣмъ продолжается:

8.

Предъ нагорѣвшей сальной свѣчой  
 Красавицы задумчиво сидѣли,  
 И занималъ вниманье ихъ порой  
 Печальный свистъ играющей метели,  
 И—какъ и вамъ, читатель милый мой,—  
 Имъ было скучно. Вдругъ на мѣсто знака  
 Условнаго—залаяла собака,  
 И у калиткибрякнуло кольцо...  
 Вотъ чей-то голосъ... идутъ на крыльцо...  
 Параша потянулася и зѣвнула,  
 Такъ что едва не уронила стула...

Изъ 9 строфы есть только замѣтка:

Но... быстро выбѣжала вонъ...

10, 11, 12 и 13 строфы вовсе нѣтъ.

14.

Но кто же этотъ гость? Сейчасъ, сейчасъ!  
 Разбѣянность... pardon!.. рекомендую:  
 Герой мой, другъ мой—Саша. Жаль для васъ,  
 Что случай свелъ въ минуту васъ такую



..... Вѣрьте, я не разъ  
 Ему твердилъ, что эти посѣщенья  
 О немъ дадутъ весьма дурное мнѣнье.  
 Я говорилъ,—онъ слушалъ, онъ былъ весь  
 Вниманье,—глядь, а вечеромъ ужъ здѣсь,  
 И я нашелъ, что мнѣ его исправить  
 Труднѣе въ прозѣ, чѣмъ въ стихахъ прославить.

За этимъ слѣдуетъ набросокъ новаго стихотворенія, а  
 можетъ быть, новыя варіаціи только-что выписаннаго.

## 1.

Но, несмотря на это, мы взойдемъ...  
 Вы знаете—для музъ и для поэта,  
 Какъ для хромого бѣса, каждый домъ  
 Имѣетъ дверь особую... Секрета  
 И запрещенья нѣтъ для насъ ни въ чемъ...  
 У круглаго стола, въ углу свѣтлицы  
 Сидѣли двѣ, дѣвицы не дѣвицы—  
 Красавицы. ....  
 Чѣмъ выгоднѣй,—узнать прошу васъ  
 Отъ нашихъ дамъ въ деревнѣ и столицѣ,—  
 Красавицею быть или дѣвицей?—

## 2.

Красавицы сидѣли за столомъ,  
 Раскладывали карты и гадали  
 О будущемъ... И умъ ихъ видѣлъ въ немъ  
 Надежды (то, что и мы всѣ видали).  
 Свѣча горѣла трепетнымъ огнемъ,  
 И часто, вспыхнувъ, лучъ ея мгновенный  
 Вдругъ обдавалъ и потолокъ и стѣны  
 Въ углу переднемъ фольга...  
 Тогда мѣняла тысячу цвѣтовъ,  
 И верба, наклоненная падъ ними,  
 Блистала вдругъ листьями золотыми.

## 3.

Одна изъ нихъ—красавицъ—не вполне  
 Была прекрасна... Но за то другая!  
 О! мы такихъ видали лишь во снѣ...  
 И то заснувъ, о небесахъ мечтая!  
 Головку преклонивъ къ стѣнѣ

И устремивъ на столикъ взоръ прилежный,  
Она сидѣла молча и небрежно...  
Въ отвѣтъ на рѣчь подруги иногда  
Изъ устъ ея пустое *нѣтъ* и *да*  
Съ улыбкой вырывались... наконецъ, рукою  
Она смѣшала карты предъ собою.

## 4.

Она была затѣйливо мила,  
Какъ польская затѣйливая панна.  
Но вмѣстѣ съ этимъ гордый видъ чела  
Казался ей приличенъ. Какъ Сусанна  
Она-бъ подъ судъ неправедный пришла  
Съ лицомъ холоднымъ и горящимъ взоромъ.  
Такая смѣсь не можетъ быть укоромъ,  
И вы должны повѣрить мнѣ въ кредитъ,  
Тѣмъ болѣе, что отецъ ея былъ жидъ,  
А мать, какъ слышалъ, краковская полька,—  
И страннаго по мнѣ тутъ нѣтъ нисколько.

## 5.

Когда Суворовъ Прагу осаждалъ,  
Ея отецъ служилъ у насъ шпиономъ;  
И разъ, когда украдкой онъ гулялъ  
Въ мундирѣ вдоль по бастионамъ—  
Неловкій выстрѣлъ въ лобъ ему попалъ,  
И онъ былъ радъ, что умеръ не подъ палкой,  
Что, признаюсь, мнѣ право очень жалко.  
Его жена, пять мѣсяцевъ спустя  
Произвела на Божій свѣтъ дитя—  
Хорошенькую (дочь) Терезу... имя это  
Дано по волѣ одного корнета...

Послѣ этого слѣдуютъ первоначальные наброски стихотворенія: „Памяти А. И. Одоевскаго“.—Варианты изъ этихъ набросковъ были помѣщены въ „Библ. Запискахъ“ 1859 г., № 12. Замѣтимъ, что съ А. И. Одоевскимъ Лермонтовъ познакомился уже на Кавказѣ, гдѣ Одоевскій служилъ, съ 7 ноября 1837 года, въ Нижегородскомъ драгунскомъ полку, на лѣвомъ флангѣ кавказской линіи, тамъ онъ и умеръ 10 октября 1839 года.

Затѣмъ опять написана строфа, неизвѣстно откуда. Ей предшествуетъ стихъ, котораго нельзя разобрать:

.....  
 Балитки скрипѣ. Дворъ грязный. Подошли.  
 Идти неловко. Вотъ на силу сѣни  
 И лѣстница, но снѣгомъ по мѣстамъ  
 Занесена. Дрожащія ступени  
 Грозятъ мгновенно измѣнить ногамъ.  
 Взошли. Толкнули дверь, и свѣтъ огарка  
 Ударилъ въ очи. Толстая кухарка,  
 Прищурясь, заграждаетъ путь гостямъ  
 И вопрошаетъ: что угодно вамъ?  
 И услыхавъ отвѣтъ краснорѣчивый,  
 Захлопнувъ дверь, бранится неучтиво.

Потомъ слѣдуетъ еще совершенно отдѣльная строфа:

Я—врагъ Невы и неvesкому туману:  
 Тамъ новый вѣкъ развилъ свою чуму—  
 ..... вредны русскому карману,  
 Занятія вредны русскому уму;  
 Тамъ жизнь тяжка, пуста и молчалива,  
 Какъ плоскій берегъ финскаго залива;  
 Москва не то! Покуда я живу—  
 Клянусь, клянусь не разлюбить Москву!  
 (Тамъ я впервые, въ дни надеждъ и счастья,  
 Былъ боленъ отъ любви и. . . . .).

Послѣ этого помѣщена *Молитва* („Я, мать Божія, нынѣ съ молитвою...), при чемъ третья строфа (печатныхъ экземпляровъ) поставлена прежде первыхъ. Поправки неразборчивы.

За „Молитвою“ слѣдуетъ стихотвореніе: „Ахъ, нынѣ я не тотъ совсѣмъ!“ приведенное мною въ статьѣ, напечатанной въ № 16 „Библ. Записокъ“. Списокъ съ черновой тетради оканчивается стихотвореніемъ: „Онъ былъ въ краю святомъ“, которое также было напечатано въ „Библ. Запискахъ“ нынѣшняго года (см. № 1).

П. Ефремовъ.

\*) Лермонтовъ, Демонъ, Печоринъ! Сколько чувства возбуждаютъ эти слова въ голубиныхъ душахъ провинціальныхъ барышень, сколько слезъ пролито по ихъ поводу, сколько вздоховъ было обращено къ лунѣ мечтательными служителями Марса, львами губернскихъ городовъ и помещичьихъ кружковъ! Много значенія было въ этихъ словахъ для всѣхъ этихъ лицъ, составлявшихъ то, что, по аналогіи съ другими государствами, можно было назвать російскимъ образованнымъ обществомъ. Какое громадное множество экземпляровъ Демона было переписано въ чистенькія тетрадки, завязанныя розовыми ленточками, и подарено чувствительными кузенами своимъ еще болѣе чувствительнымъ кузинамъ! Сладко спалось въ то время въ этомъ обществѣ, сладко ѣлось и еще слаще мечталось! И хотя это блаженное время уже нѣсколько лѣтъ назадъ кануло въ вѣчность, хотя служители Марса и невинныя дѣвы, которыя восхищались Печоринымъ, давно отбросили поэзію жизни и, обращаясь къ ея прозѣ, занимаются ревностно службою или хозяйствомъ, и жирѣютъ; хотя замѣнившее ихъ новое поколѣніе гражданъ и гражданокъ толкуетъ о сословномъ антагонизмѣ и самоуправленіи—несмотря на это, слова Лермонтова не померкли, и если прошло увлеченіе имъ, то его не смѣнило разочарованіе. И теперь еще издаются за границей или ходятъ въ рукописи нѣкоторые его произведенія, и эта таинственность поддерживаетъ славу поэта.

Г. Дудышкинъ, издавъ *все* сочиненія Лермонтова, выводитъ изъ заблужденія тѣхъ, которые ожидали чего-нибудь особенно замѣчательнаго отъ него. Въ составъ изданныхъ г. Дудышкинымъ произведеній нашего Байрона вошли даже такія произведенія, какъ „Петергофскій Праздникъ“, „Уланша“, „Монго“, которыя, хотя и испещрены точками, не потому, что безъ нихъ годились бы скорѣе для украшенія „Физиологіи брака“ г. Дебе, чѣмъ для полного собранія сочиненій русскаго Байрона.

Странное впечатлѣніе производятъ эти сочиненія на че-

\*) „Русское Слово“ 1863 г., № 6. „Сочиненія Лермонтова, приведенныя въ порядокъ С. С. Дудышкинымъ“. (Статья В. Зайцева?).

а, не читавшаго ихъ со времени счастливыхъ дней юности. Впечатлѣніе это можно сравнить развѣ съ которое производить на взрослого домъ, который онъ илъ ребенкомъ, а возвратился взрослымъ. Его дѣтскому наженію казались огромными, великолѣпными эти комнаты, которыя онъ находить теперь такими жалкими и пустыми. Темные коридоры, мрачные высокіе потолки, говорившіе ему прежде о чемъ-то таинственномъ, страшномъ, представляются ему теперь грязными, закопченными, сырыми, и не таинственный трепетъ, а скуку возбуждаетъ имъ видъ того, что нѣкогда ему казалось прекраснымъ.

и сочиненія Лермонтова. Полными чудной гармоніи, поэтическихъ образовъ, живого интереса, высокой поэзіи, а также полными мыслей и ума казались они тому поколѣнію, которое въ своемъ развитіи дальше Рудина не пошло. Яркимъ восторгъ овладѣвалъ имъ при чтеніи „Демона“, ихъ память крѣпко западали необыкновенно звучные, быстрые, плавные стихи поэта, такъ крѣпко, что при малейшемъ поводѣ, а часто и безъ всякаго повода, принимали они декламировать ихъ. Выйдетъ, на примѣръ, барышня на крыльцо, увидитъ дворъ, окруженный надворными растениями, на дворѣ двухъ собакъ и бабу, развѣшивающую белье: кажется, чего бы тутъ такого найти, что бы образы поэтическіе вызывало. А барышня стоитъ и говорить:

... но гордый духъ  
Презрительнымъ окинулъ окомъ  
Творенье Бога своего,  
И на челѣ его высокомъ  
Не отразилось ничего.

посмотритъ барышня въ окно, увидитъ луну,—если луны, то, замѣтивъ, съ какой стороны увидала, вздохнетъ и скажетъ:

Въ пространствѣ синяго эфира,  
Одинъ изъ ангеловъ святыхъ  
Летѣлъ на крыльяхъ золотыхъ.

услышитъ, что отецъ-помѣщикъ щиплетъ за вихоръ на затылку, сейчасъ пропоетъ речитативомъ:

Отецъ, отецъ: оставь угрозы! и пр.

Или читаетъ, напримѣръ, юноша „Героя нашего времени“, и встрѣчаетъ такого рода поученье:

„Я сказалъ одну изъ тѣхъ фразъ, которыя у всякаго должны быть заготовлены на подобный случай“.

— „Ахъ“, думаетъ юноша, „я то и не зналъ объ этомъ!“

Идолго потомъ ломаетъ голову, изобрѣтая одну изъ фразъ, которыя *должны* быть заготовлены для такого казуса. Какая разница между этими впечатлѣніями и тѣми, которыя производятъ Лермонтовъ на человѣка, привыкшаго искать мысли и значенія въ литературномъ произведеніи! Но здѣсь мнѣ необходимо прежде всего поговорить о предисловіи, на писанномъ г. Дудышкинымъ къ собранію сочиненій Лермонтова.

„Въ стихахъ пятнадцатилѣтняго Лермонтова, говоритъ г. Дудышкинъ, мы отыскиваемъ уже главный мотивъ его поэзіи, которому онъ не измѣнялъ до конца жизни. Инстинктъ поэта указалъ ему самому, большому недугами и *шалостями* общества, на больную сторону тогдашняго человѣка,—и всю жизнь свою онъ только больше и больше уяснялъ себѣ эту болѣзнь. Замѣчательная черта многихъ великихъ людей повторилась на нашемъ Лермонтовѣ: онъ въ дѣтствѣ почувалъ эту идею, которой остался вѣренъ до конца жизни. Это главное. Отсюда появленіе одного и того же лица въ его созданіяхъ, подъ разными именами, начинаемая Демономъ и кончая „героемъ нашего времени“; отсюда происходитъ и то однообразіе и та настойчивость въ этомъ однообразіи, которая проходитъ черезъ всѣ стихотворенія. Если и встрѣчаются уклоненія отъ главнаго настроенія, то это не что иное, какъ ложная мечтательность, внѣшняя сторона того, что крыло подъ собой силу. Такъ онъ плѣнялся внѣшнимъ колоссальнымъ величіемъ Наполеона, давившаго народъ, и воспѣвалъ островъ Св. Елены; такъ есть стихотворенія („Опять народные вѣтѣи“), внушенные ему внѣшней силой, физической громадностью Россіи и недоброжелательствомъ къ врагамъ этой силы; таково стихотвореніе „Два Великана“. Поклоненія этой внѣшности очень

много и въ „Печоринѣ“. Только имъ можно объяснить стихъ „Думы“, обращенный къ тогдашнему обществу:

„.... подъ бременемъ познанья и сомнѣнья  
Въ бездѣйствіи состарится оно“.

Что-же это такое за мотивы? спросить читатель. Но г. Дудышкинъ, какъ искусный составитель похвального слова Лермонтову, прибегаетъ къ объясненію мотивовъ къ концу, такъ что нужно прочесть всѣ 69 страницъ введенія, и только на послѣдней изъ нихъ открывается, что мотивы эти суть:

„Негодование за то, что мысль преслѣдуется, что истинному чувству нѣтъ простора, что гражданской дѣятельности нѣтъ мѣста, что право сильнаго живетъ еще въ обществѣ, какъ звѣрь въ лѣсу...“

И такъ, вотъ мотивы лермонтовской лиры, по словамъ г. Дудышкина, идея, проходящая черезъ всѣ эти созданія и являющаяся въ главныхъ герояхъ его: Демонъ и Печоринъ. Посмотримъ, насколько это справедливо.

Я не говорю уже о томъ, что увлеченіе внѣшней, физической силой, о которомъ говоритъ самъ г. Дудышкинъ, уже исключаетъ возможность существованія у Лермонтова подобнаго мотива. Люди, которыхъ поэзія имѣетъ мотивы, подобные тѣмъ, которые г. Дудышкинъ приписываетъ Лермонтову, не могутъ увлекаться физической силой, потому что увлеченіе физической силой предполагаетъ неразвитость увлекающагося ума, а мотивы эти могутъ быть только выраженіемъ и слѣдствіемъ развитія. Покойный Добролюбовъ, писавшій подъ вліяніемъ этихъ мотивовъ, увлекался физической силой только подъ именемъ Якова Хама. Мнѣ, быть можетъ, укажутъ на Гейне, которому эти мотивы не мѣшали восторгаться Наполеономъ; но я отвѣчу, что въ этомъ случаѣ Гейне судилъ съ чисто германской точки зрѣнія, ошибочно думая, что наполеоновскій деспотизмъ все-таки легче для Германіи деспотизма германскаго. Но для Лермонтова такого объясненія не можетъ существовать. Онъ поклонялся физической силѣ отъ души, какъ поклонялись почти всѣ его современники, и какъ поклоняется и будетъ,

вѣроятно, долго поклоняться большинство людей. И какъ большинство поклоняется ей вслѣдствіе недостатка развитія, такъ и Лермонтовъ воспѣвалъ ее по той же причинѣ. И могъ-ли онъ быть другимъ, чѣмъ были всѣ при той обстановкѣ, которая его окружала, при тѣхъ условіяхъ, въ которыхъ онъ росъ и жилъ? Всякому извѣстна аксіома, что одинаковыя причины производятъ одинаковыя слѣдствія: поэтому, какъ же предполагать, что тѣ условія, въ которыхъ находился Лермонтовъ со дня рожденія до смерти, условія, исказившія цѣлое поколѣніе его современниковъ, могли развить въ немъ понятія, діаметрально противоположныя всему тогдашнему обществу? Какъ бы ни былъ высокъ умъ чело-вѣка, онъ тогда только можетъ разойтись съ понятіями общества, когда какія-нибудь обстоятельства способствуютъ его развитію. Если же этихъ обстоятельствъ нѣтъ, если среда, въ которой развивается мозгъ генія та же самая, отъ которой тупѣютъ умственные способности современниковъ генія, то что предохранить генія отъ ея пагубнаго вліянія?

Г. Дудышкинъ представилъ въ введеніи краткій очеркъ жизни Лермонтова. Изъ этого очерка видно, что отъ него и требовать нельзя тѣхъ мотивовъ, которые приписываетъ ему г. Дудышкинъ. Имъ рѣшительно неоткуда взяться. Но для большей убѣдительности посмотримъ на произведенія *нашего* Лермонтова, какъ называетъ его ласкательно г. Дудышкинъ. Мотивы, руководившіе перомъ поэта, г. Дудышкинъ видитъ въ особенности въ его герояхъ Демонѣ и Печоринѣ.

Но я разберу впослѣдствіи подробно эти произведенія, и тогда видно будетъ, какіе мотивы заключаются въ нихъ.

Судя по словамъ Бѣлинскаго, этихъ мотивовъ не было у Лермонтова. Бѣлинскій говоритъ, что онъ хотѣлъ написать трилогію, въ которой намѣревался изобразить вѣка: Екатерины II, Александра I и Николая I, по примѣру Купера, написавшаго „Послѣдняго изъ могикиановъ“, „Путеводителя въ пустынь“, „Піонеръ“ и „Степи“.

Теперь я обращаюсь къ довольно избитой темѣ, а именно



хочу рассмотреть всѣми признанное вліяніе, которое имѣлъ на Лермонтова Байронъ. Впрочемъ, дѣло, разумѣется, не въ томъ: признано-ли это вліяніе или нѣтъ, но оно существуетъ.

Байронъ имѣлъ огромное вліяніе особенно на Пушкина, который въ свою очередь перенесъ это вліяніе, вмѣстѣ съ своимъ собственнымъ, на Лермонтова. Такъ, напримѣръ, „Сцена изъ Фауста“ Пушкина, очевидно, написана не подъ вліяніемъ Фауста, а подъ впечатлѣніемъ сочиненій Байрона. Но изъ нея мы можемъ видѣть, какъ понималъ Байрона Пушкинъ, который во всякомъ случаѣ былъ умнѣ Лермонтова. Но и онъ не могъ, несмотря на свой умъ, выйти изъ оковъ, наложенныхъ на него средой, среди которой онъ выросъ, развился и дѣйствовалъ. Ему незнакомы были тѣ побужденія, подъ которыми создались творенія Байрона; ему въ голову не приходило то, что руководило англійскимъ поэтомъ въ созданіи его Люцифера. Точно также не могъ онъ создать ничего, что бы, хотя нѣсколько, напоминало гетевскихъ Фауста и Мефистофеля. Для того, чтобы не только приблизиться, но даже сумѣть подражать гетевскому Фаусту, нужно обладать хотя малой долей той громадной массы знанія, которой обладалъ Гете. Этого не могло быть у Пушкина. Кругомъ него и въ немъ самомъ не было ничего такого, что у Байрона и у Гете отразилось въ Каинѣ и Фаустѣ. За неимѣніемъ этихъ данныхъ, онъ бралъ то, что могъ, черпалъ свои мысли изъ того мутнаго источника, который одинъ былъ у него подъ рукою. Отъ этого его Фаустъ вышелъ плотнымъ русскимъ помѣщикомъ, не знающимъ, куда дѣваться отъ скуки, причиненной сытнымъ обѣдомъ и лѣтнимъ жаромъ.

— „Мнѣ скучно, бѣсъ“, говоритъ онъ, какъ Сидоръ Карповичъ батюшкину брату въ разсказѣ г. Щедрина. На это батюшкинъ братъ, т. е. Мефистофель, замѣчаетъ, что всѣ скучаютъ: таковъ вамъ положенъ предѣлъ! Фаустъ соглашается, что дѣйствительно ему было всегда скучно, и что онъ проклялъ знаній ложный свѣтъ. При этомъ невольно вспоминается Ничкина.

— „Ахъ, отстаньте отъ меня, безъ васъ тошно! Куда дѣться-то отъ жару? Батюшки!“

— Шли бы, сударыня, на погребницу.

— И то, на погребницу!

Но подъ конецъ Фаустъ дѣлается снова болѣе похожимъ на самодура-помѣщика, когда отъ скуки забавляется тѣмъ, что топить людей.

И это гетевскій Фаустъ! и это байроновскій Люциферъ! Но откуда-же и взяты имъ было въ обществѣ, гдѣ единственными идеалами были Ничкины да Сидоры Карпычи.

На нѣтъ и суда нѣтъ, говоритъ пословица, и я не думаю обвинять Пушкина въ томъ, что онъ не могъ создать того, что могли создать Гете и Байронъ. Удивительно непониманіе истинно высокаго тѣми, которые считаютъ себя наиболѣе компетентными судьями въ этомъ дѣлѣ; удивительна близорукость эстетическихъ критиковъ, считающихъ Пушкина и Лермонтова нашими Байронами.

Чтобы убѣдиться въ этомъ, взглянемъ на произведенія Байрона. Здѣсь мы увидимъ, во-первыхъ, удивительный образъ Манфреда съ его громадной, непонятной скорбью, образъ, такъ восхищавшій нашихъ поэтовъ и такъ мало понятый ими. Ни одно частное горе, какъ бы велико оно ни было, никакое исключительное личное огорченіе не были въ состояніи породить такую ужасающую бездонную грусть, такое полное отчаяніе, какое мы видимъ въ Манфредѣ. Наши подражатели напрасно насиловали свой мозгъ, стараясь выдумать какую-нибудь уважительную причину горя такого пошлаго лица, въ которомъ они воображали воспроизвести Манфреда. Они не могли достичь этого потому, что причину скорби искали чисто личную, исключительную. Чего ни выдумывали они, чтобы объяснить страданія разныхъ Арбениныхъ, Печориныхъ, Онѣгиныхъ! Дошли до того, что изобразили страданія раскаявшагося шулера (въ „Маскарадѣ“)! Но все было тщетно: герои выходили пошлы, и скорбь ихъ пуста и бессмысленна.

Горе Манфреда не есть частное горе его самого. Нѣтъ и не будетъ такого личного горя, которое бы могло поро-

дять такіа муки. Въ Манфредѣ, болѣе чѣмъ глѣ-либо, поэтъ изобразилъ самого себя, свою скорбь и свое отчаяніе. Поэтому-то причина горя Манфреда—темна и непонятна. Поэтъ не могъ найти достаточно великое несчастье, чтобы оправдать это великое отчаяніе; онъ понималъ, что найти его нельзя—и предпочелъ набросить занавѣсъ на причину страданій своего героя. Источникъ же горя настоящаго героя поэмы—ея автора скрывался не въ личномъ его капризѣ или несчастіи. Его горе было горе цѣлаго поколѣнія его современниковъ, его скорбью—была скорбь вѣка, его отчаяніе—было отчаяніемъ всѣхъ европейскихъ народовъ отъ Вислы до Дуэро. Это было время реакціи, время торжествующаго насилія, время обманутыхъ надеждъ, время мести и цѣпей. Вся Европа страдала,—торжествовали одни Меттернихи. И эта-то гражданская, всемірная скорбь проникла въ сердце поэта и вызвала то рыданіе, которое называется Манфредомъ. Только страданія цѣлой Европы могли вызвать такую жгучую боль, передъ которой ничто личное горе одного субъекта; только несчастья, поражающія сразу цѣлыя поколѣнія, цѣлые народы, могутъ причинить муки, которыя терпитъ Манфредъ. Этого, конечно, не могли понять наши поэты, не раздѣлявшіе дней радости прочихъ европейскихъ народовъ и не могшіе раздѣлить ихъ скорби. Они не знали лучшаго, а, напротивъ, видѣли позади себя еще худшія времена,—чего же было имъ скорбѣть и въ чемъ отчаиваться? Они ничего не потеряли; ихъ надежды, если они ихъ имѣли, цѣлыя и невредимыя, впереди ихъ.

Другая идея одушевляетъ другое твореніе Байрона — „Каинъ“. Самъ поэтъ называлъ эту поэму мистеріей. Но если по многимъ причинамъ, она дѣйствительно мистерія, за то, по ея смыслу, можно скорѣй ее назвать аллегоріей. Только близорукость можетъ видѣть въ Люциферѣ демона. Въ немъ нѣтъ ничего демоническаго, — нѣтъ ничего того, что есть, напримѣръ, въ Мефистофелѣ, который есть самое удачное выраженіе понятія о чортѣ. Въ Люциферѣ же, кромѣ имени, нѣтъ ничего демонскаго, и не соглашаться съ этимъ можетъ только тотъ, кто непре-

мѣнно желаетъ видѣть въ лицѣ, названномъ Люциферомъ, того самаго Люцифера съ когтями и хвостомъ, который сидитъ въ центрѣ дантовскаго ада. На такого господина, конечно, не подѣйствуютъ даже слова самого байроновскаго Люцифера, которому, кажется, лучше всѣхъ можно знать, кто онъ,—слова, въ которыхъ онъ прямо отрицаетъ свой демонизмъ: „Я, говоритъ онъ, не искушаю никого ничѣмъ, кромѣ истины,—а истина, по существу своему, не можетъ быть дурна“. Онъ отрицаетъ всякое тождество между собою и змѣемъ искушителемъ, и прямо говоритъ, что ему до людей нѣтъ никакого дѣла, что онъ не только губить ихъ, но и знать не хочетъ. Но эстетическіе критики, задавшись, подобно г. Дудышкину мыслью, что Люциферъ есть начало зла, не вѣрятъ ему даже тогда, когда онъ говоритъ имъ: что ни зла ни добра нѣтъ, что все это—понятія относительныя; они твердятъ свое, не обращая вниманія на слова Люцифера, вѣроятно, помня, что онъ—творецъ лжи, и что повѣрить ему нельзя.

Люциферъ не есть начало зла, потому что Байронъ въ этой мистеріи высказываетъ отрицаніе какъ зла, такъ и добра, слѣдовательно не можетъ изображать начало зла. По той же причинѣ „Каинъ“ вовсе не изображаетъ въ себѣ борьбы зла съ добромъ: приписывать величайшему творенію Байрона такую идею, значить не понимать этой аллегоріи. Она представляетъ не борьбу добра со зломъ, а борьбу знанія съ тупостью и невѣжествомъ; а Люциферъ, не будучи началомъ зла, служить олицетвореніемъ знанія. Чтобы доказать это, я отсылаю къ 1 сп. 1 акта читателя, желающаго ближе познакомиться съ характеромъ байроновскаго Люцифера, и приведу одно мѣсто изъ этой драмы, гдѣ наиболѣе рѣзко выступаетъ высказанная мною идея:

Люциферъ. Нѣтъ! У меня есть побѣдитель, правда; но нѣтъ высшаго надо мной. Ему поклоняются всѣ, но не я; я до сихъ поръ сражаюсь съ нимъ, какъ сражался въ небесахъ. Впродолженіе всей вѣчности, въ непроницаемыхъ безднахъ смерти, въ безграничныхъ царствахъ пространства, въ безконечности вѣковъ — все, все я буду оспаривать у него. Міръ за міромъ, звѣзда за звѣздой, вселенная за

вселенной будут колебаться въ своемъ равновѣсіи до тѣхъ поръ, пока эта борьба не прекратится; а прекратится она только тогда, когда одинъ изъ насъ погибнетъ. А кто можетъ уничтожить наше безсмертіе или нашу непримиримую ненависть? *Въ качествѣ побѣдителя онъ называетъ побѣжденнаго зломъ, но какого добра онъ виновникъ? Если бъ я былъ побѣдителемъ, за его дѣлами осталось бы названіе зла.* (Актъ II. Сцена 2).

Замѣчательно, что г. Дудышкинъ, цитируя это самое мѣсто, не замѣчаетъ подчеркнутыхъ мною словъ, прямо разрушающихъ понятія о злѣ и добрѣ.

Никто, конечно, не станетъ доказывать, что Лермонтовскій Демонъ сколько-нибудь можетъ олицетворить знаніе; слѣдовательно, мнѣ нечего и доказывать, что Лермонтовъ не понялъ Люцифера. Поэтому я не стану сравнивать „Демона“ съ этимъ смѣлымъ твореніемъ Байрона. Я буду сравнивать его съ тѣмъ, что видѣло гусарское воображеніе Лермонтова въ Люциферѣ,—а эстетическая критика устами г. Дудышкина говорить, что онъ видѣлъ въ немъ изображеніе зла. Ну вотъ и посмотримъ, насколько изображаетъ собою Демонъ начало зла. Кто же Демонъ Лермонтова?

Я тотъ, чей взоръ надежду губить,  
Едва надежда разцвѣтетъ;  
Я тотъ, кого никто не любить,  
И все живущее влечетъ.  
Ничто пространство мнѣ и годы,  
Я бить рабовъ моихъ земныхъ,  
Я царь познанья и свободы,  
Я врагъ небесъ, я зло природы.

Изъ этого заявленія о самомъ себѣ Демона мы можемъ узнать о немъ очень мало. Мы бы, пожалуй, обратили вниманіе на стихъ:

Я царь познанья и свободы,

если бъ не видѣли изъ всего прочаго, что познаніе здѣсь поставлено для размѣра. Такимъ образомъ, не будучи въ состояніи рѣшить заданный вопросъ изъ словъ Демона о его сущности, посмотримъ, не узнаемъ ли мы чего-нибудь объ этой сущности изъ его занятій и препровожденія времени. Здѣсь мы узнаемъ больше. Мы узнаемъ, что

Ничтожной властвуя землей,  
Онъ сѣялъ зло безъ наслажденья,  
Нигдѣ искусству своему  
Не находя сопротивленья—  
И зло наскучило ему.

. . . . .

Онъ правилъ людьми, училъ ихъ грѣху;

Все благородное безславилъ  
И все прекрасное хулилъ.

Но все это ему, какъ видите, надоѣло. Тогда онъ принялся вотъ что дѣлать:

И скрылся я въ ущельяхъ горъ  
И сталъ бродить какъ метеоръ  
Во мракѣ полночи глубокой.  
И мчался путникъ одинокій,  
Обмануть близкимъ огонькомъ,  
И въ бездну падая съ конемъ,  
Напрасно звалъ,—и слѣдъ кровавый  
За нимъ вился по крутизнамъ.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что онъ похвастался, сказавъ Тамарѣ, что онъ „зло природы“. Изъ описанія его дѣяній видно, что онъ—не начало, не источникъ, не творецъ зла, не царь и соперникъ добраго начала, вполне ему равный, а просто какой-то плутъ, который дѣлаетъ разныя низости, зная очень хорошо, что это низости, потому что самъ говорить, что

Все благородное безславилъ  
И все прекрасное хулилъ.

Если бъ онъ былъ началомъ зла, то онъ бы не могъ этого сказать, потому что для него благородное и прекрасно вовсе не благородно и прекрасно. Онъ относился бы къ нему, какъ къ злу, потому что для него добромъ было бы зло. Онъ бы не безславилъ его низкимъ образомъ, а боролся бы съ нимъ.

Но хотя это занятіе и не дѣлаетъ ему чести, оно все-таки лучше того, за которое онъ принялся, когда первое ему надоѣло. Прежде онъ хотя низкимъ и мелочнымъ образомъ, но все-таки нападалъ на добро; а теперь, какъ мы

видѣли, онъ принялся подставлять ногу черкесамъ, которые никогда союзниками добра не были, и слѣдовательно, назначъ ему было ихъ и трогать. А если даже и трогать, то трогать ихъ душу, а за что же брренное тѣло толкать съ горы? Вообще „гордый демонъ“, бывшій прежде негодяемъ, сдѣлался отъ скуки глупцомъ.

Но и это ему опротивѣло. Конечно, проживъ миллионы миллионовъ лѣтъ, не мудрено наскучить забавами, но только оказывается, что онъ опять прихвастнулъ, сказавъ:

Ничто пространство мнѣ и годы.

Оказывается, что годы свое взяли, и отъ долговременнаго школьничества оно ему надоѣло хуже горькой рѣдки. Тогда онъ, не зная, что бы такое надъ собою сдѣлать, принялся безъ всякой цѣли носиться въ облакахъ, „подымаемая прахъ“, по его же выраженію. Неизвѣстно, что бы такое придумалъ онъ еще, потому что, вѣдь, въ облакахъ должно быть еще скучнѣе, чѣмъ безобразничать на горахъ, если бъ не занесло его на Кавказъ, гдѣ впрочемъ, повидимому, онъ имѣлъ свою резиденцію. На красы природы онъ взглянулъ холодно:

Презрительнымъ окинулъ окомъ  
Творенья Бога *своего* (?),  
И на челѣ его высокою  
Не отразилось ничего.

Эти стихи, хотя ничего не доказываютъ и отзываются явной бессмыслицей,—такъ какъ сперва сказано, что онъ окинулъ творенье презрительнымъ окомъ, а потомъ, что на челѣ его ничего не отразилось,—что противорѣчитъ одно другому,—но я все-таки думаю, что нужно вѣрить второму двустипшію и принимать, что Казбекъ со всѣми прочими прелестями не произвелъ на него впечатлѣнія. Причину этого я полагаю въ томъ, что все это онъ уже тысячу разъ видѣлъ, и оно успѣло ему опротивѣть. Но если не произвелъ на него впечатлѣнія Казбекъ, то произвела Тамара. Какое это было впечатлѣніе, мы увидимъ сейчасъ:

.... На мгновенье  
Неизъяснимое волненье  
Въ себѣ почувствовалъ онъ вдругъ.

Нѣмой души его пустыню  
 Наполнилъ благодатный звукъ,  
 И вновь постигнулъ онъ святыню  
 Любви, добра и красоты.

. . . . .

Онъ съ новой грустью сталъ знакомъ,  
 Въ немъ чувство вдругъ заговорило  
 Роднымъ когда-то языкомъ.  
 То былъ-ли признакъ возрожденья?  
 Онъ словъ коварныхъ искушенья  
 Въ своемъ умѣ найти не могъ.

Такимъ-то образомъ влюбилось начало зла. И все зло подверглось серьезной опасности, такъ какъ его начало „постигнуло святыню любви, *добра* и красоты“. Я даже полагаю, что зло совсѣмъ сгибло, — потому, гдѣ же ему быть, когда его начало „постигнуло святыню добра“. Демонъ для спасенія зла хотѣлъ было ухитриться самого себя надуть, но

.... словъ коварныхъ искушенья  
 Найти въ умѣ своемъ не могъ,

и зло, по всей вѣроятности, сгибло.

Но съ другой стороны оно не сгибло, потому что, хотя Демонъ и постигъ святыню добра, — тѣмъ не менѣе это не помѣшало ему обратиться къ старымъ проказамъ. Онъ искусилъ жениха Тамары; помѣшалъ ему помолиться передъ часовней, и потомъ подослалъ осетиновъ, которые его и убили. Какъ же это такъ случилось, не знаю: я въ этомъ не виновать, и объяснять не берусь; нужно спросить у эстетической критики. Что касается до меня, то я думаю, что это доказываетъ справедливость извѣстной пословицы: какъ волка ни корми, а онъ все въ лѣсъ смотреть.

Дальше идутъ вещи еще болѣе изумительныя: такъ, Демонъ услышалъ пѣсню и испугался, хотѣлъ даже обратиться въ бѣгство, но крылья не поднялись, что его такъ поразило, что онъ даже расплакался. Подобныя штуки могли-бы заставить предполагать, что это былъ вовсе не Демонъ, а какой-нибудь пятигорскій франтъ, и что подъ *крыльями* нужно подразумѣвать просто ноги, если бы лицо,



о которомъ идетъ рѣчь, не доказывало своего адскаго происхожденія тѣмъ, что его слеза прожгла камень.

Потомъ дѣло опять принимаетъ, повидимому, оборотъ грозный для существованія зла, потому что начало его увѣряетъ Тамару, что

Тебѣ принесъ я въ умиленьи  
*Молитву тихую любви;*  
 Земное первое мученье,  
 И слезы первыя мои.  
 О, выслушай изъ сожалѣнья,—  
*Меня добру и небесамъ*  
*Ты возвратить могла бы словомъ.*

Далѣе онъ говоритъ:

Я все бывшее бросаю въ прахъ;  
 Мой рай, мой адъ въ твоихъ очахъ.

И, наконецъ, поклявшись кудрями дѣвы, объявляетъ, что

Отрекся я отъ старой мести,  
 Отрекся я отъ гордыхъ думъ;  
 Отнынѣ ядъ коварной лести  
 Ничей ужъ не встревожить умъ;  
 Хочу я съ небомъ примириться,  
 Хочу любить, хочу молиться, —  
 Хочу я вѣровать добру.

Такимъ образомъ, зло въ мірѣ кончилось бы pour les beaux yeux Тамары. Но тутъ вышло что-то странное; поэтъ отзывается довольно глухо о причинѣ того, что зло уцѣлѣло, вслѣдствіе чего можно разсуждать двояко: 1) или, что Демонъ надулъ и божился кудрями напрасно, никогда истиннаго раскаянія не чувствовалъ и молиться не хотѣлъ, а дѣлалъ это съ цѣлью соблазнить дѣвушку; 2) или что добро было разсудительнѣе его и, помня, что онъ подтвердилъ примѣромъ пословицу о волкѣ, не приняло его къ себѣ. Какъ бы то ни было, но подъ конецъ псэмы онъ снова смотрѣлъ злобнымъ взглядомъ и былъ полонъ смертельнымъ ядомъ

Вражды не знающей конца.

Но въ то же время снова и съ большею силою возникаетъ подозрѣніе, что это былъ пятигорскій франтъ, и

даже не изъ молодыхъ, а просто сластолюбивый старецъ. На это наводитъ то обстоятельство, что Демонъ, увѣщевая Тамару отдаться ему и говоря ей о тщетѣ всего земного ничего лучшаго не находитъ пообщать ей, какъ прислужницъ, чертоги и ароматы, и говорить:

Я дамъ тебѣ все, все земное;—

изъ чего ясно, что онъ не могъ ей дать ничего, кромѣ земного, а про тщету говорилъ краснорѣчія ради.

Но съ другой стороны, слеза и многое другое противорѣчатъ этому; но этимъ смущаться нельзя, потому что это можетъ быть поэтическая вольность.

Этотъ самый пятигорскій франтъ, уже безъ всякихъ претензій на демонизмъ, является въ „Героѣ нашего времени“. Я не буду подробно разбирать этого романа. Мы видѣли уже искаженіе „Люцифера“ въ „Демонъ“, который имѣетъ хоть какіе-нибудь внѣшніе атрибуты демонизма. Въ Печоринѣ же и этого нѣтъ, и я, право, не могу придумать, какъ можетъ эстетическая критика, видящая въ Демонѣ изображеніе начала зла, находить какое-бы то ни было сходство между нимъ и Печоринымъ. На самомъ дѣлѣ сходство это поразительно, ибо и тотъ и другой сильно смахиваютъ на самого Лермонтова. Но эстетическая критика видитъ въ Демонѣ начало зла; я не думаю, чтобы она могла договориться до того, чтобы видѣть это начало зла и въ Печоринѣ. Послѣ этого, такихъ началъ зла безконечное множество: во всякомъ полку ихъ нѣсколько, во всякой канцеляріи есть нѣсколько писарей, могущихъ съ такимъ же успѣхомъ изобразить его, какъ и Печоринъ, потому что вся разница между ними и Печориными состоитъ въ томъ, что послѣдніе говорятъ лучше ихъ по-французски и носятъ сюртуки моднаго покроя, какъ и они, но сшитые не изъ солдатскаго, а изъ тонкаго сукна.

Теперь, когда мы видѣли, что у Лермонтова Люциферъ является въ видѣ пятигорскаго франта, мы уже съ большимъ хладнокровіемъ посмотримъ на его изображеніе Манфреда въ видѣ раскаявагося шулера.

Но теперь рождается невольно вопросъ: какимъ образомъ человѣкъ, котораго главные произведенія обличаютъ такую непослѣдовательность идей и образовъ, такую мелочность содержанія, могъ заставить восхищаться собой не только возведенныхъ имъ въ перлъ созданія юнкеровъ и золотушныхъ помѣщичьихъ дочекъ, но даже нашу ученую и глубокомысленную эстетическую критику? Какимъ образомъ могъ онъ попасть въ число гениевъ? Отчего же никто не падалъ ницъ передъ г. Майковымъ, не благоговѣлъ передъ г. Полонскимъ; отчего осмѣяли и освистали г. Крестовскаго? Положимъ, что Лермонтовъ былъ умнѣй Майкова и Полонскаго и, нѣтъ сомнѣннй, лучше зналъ орографію, чѣмъ г. Крестовскій; но міросозерцаніе ихъ было одинаковаго калибра, потому что различіе было равно ничтожно. Но если слово *гений* идетъ къ гг. Майкову, Полонскому и Крестовскому такъ же, какъ къ коровѣ сѣдло, то откуда же пришла гениальность Лермонтова? Вѣдь, стоитъ только посмотреть не сквозь зеленые очки эстетической критики на „Демона“, „Героя нашего времени“, и на „Маскарадъ“, чтобы увидѣть въ нихъ множество нелѣпностей. Или, быть можетъ, у Лермонтова есть что-нибудь, кромѣ этихъ произведеній, что даетъ ему право на лавровый вѣнокъ? Но, не говоря уже о томъ, что „Демонъ“ и „Герой нашего времени“ признаны всѣми за лучшія его сочиненія, въ остальныхъ мы не находимъ ничего, кромѣ мелкихъ альбомныхъ стишковъ, мадригаловъ разнымъ графинямъ и рабскихъ подражаній Пушкину, такъ что нужно имѣть даже громадную память, чтобы запомнить, что именно принадлежитъ ему, и что Пушкину; на примѣръ, Пушкинъ написалъ „О чемъ шумите вы, народные витіи?“ а Лермонтовъ „Опять шумите вы, народные витіи“; или наоборотъ, — Лермонтовъ „О чемъ“, а Пушкинъ — „Опять шумите вы, народные витіи?“ Есть еще, правда, нѣсколько стихотвореній, какъ, на примѣръ, тѣ, которыя помѣщены въ первый разъ у г. Дудышкина, но они не годны даже для чтенія юнкеровъ. Наконецъ, большая часть, я полагаю, около  $\frac{2}{3}$  произведеній Лермонтова описываютъ черкесскія, лезгинскія и ка-

бардинскія страсти, которыя намъ кажутся довольно скучны. Возьмемъ, на примѣръ, „общее оглавленіе“. Здѣсь мы увидимъ, по заглавіямъ стихотвореній, что я правъ. Мы встречаемъ, на примѣръ, такія заглавія: „Атаманъ“, „Аулъ Бастунджи“, „Ашикъ Керибъ“, „Бѣглець“, „Видъ Горъ“, „Въ полдневный жаръ въ долину Дагестана“, „Грузинская Пѣсня“, „Грузинову“, „Дары Терека“, „Два Сокола“, „Измаиль-Бей“, „Кавказскій Плѣнникъ“, „Кавказъ“, „Кавбеку“, „Кинжалъ“ и т. д. Это снова наводитъ меня на мысль о томъ стихотвореніи, гдѣ Лермонтовъ сообщаетъ, что онъ не Байронъ, а другой, —

Какъ онъ, гонимый міромъ, странникъ,  
Но только съ русскою душой.

Изъ этого произведенія мы понимаемъ одно, что Лермонтовъ дѣйствительно не Байронъ, а былъ-ли онъ гонимый міромъ странникъ, объ этомъ надо справиться въ его формулярномъ спискѣ; что-же касается до его русской души, то эстетическая критика еще доселѣ не рѣшила, чѣмъ именно русская душа отличается отъ кабардинской или турецкой?

*Изъ „Русскаго Слова“ за 1863 г. (Статья В. Зайцева?).*

## Алфавитный указатель

именъ и предметовъ, относящихся къ литературѣ.

- «Абидосская Невѣста». 152.  
 Авдѣевъ. 152.  
 Александръ. I. 222.  
 Анакреонъ 3.  
 «Ангель». 106, 150, 163.  
 «Ангель Смерти». 60, 197.  
 Анненковъ, П. В. 162, 191.  
 «А. О. Смирновой». 199.  
 «Атаманъ». 234.  
 «Атеней». 200, 206.  
 «Аулъ Бастунджи». 234.  
 «Ахъ, нынѣ я не тотъ совсѣмъ». 217.  
 «Ашикъ-Керибъ». 234.  
 Баратынскій. 13, 144.  
 Байронъ. 52, 66, 68, 74, 77, 89, 90, 93, 136, 137, 144, 152, 154, 163, 165, 167, 170, 171, 188, 189, 209, 223 — 227, 234.  
 «Бахчисарайскій Фонтанъ», Пушкина. 77, 126.  
 Бенедиктовъ. 124, 181.  
 Беранже. 30, 172.  
 «Библиографическія Записки». 190 — 217.  
 «Библиотека для Чтенія». 92 — 99, 113, 114, 122, 124, 200.  
 «Благодарность». 64, 197.  
 Богдановичъ. 162.  
 Боденштедтъ. 166 — 169, 172, 173, 176, 180, 181, 184, 185, 187, 188, 190.  
 «Борисъ Годуновъ», Пушкина. 77.  
 «Бородино». 32, 33, 153, 161.  
 «Бояринъ Орша». 85, 86, 107, 111, 123, 129, 145, 152, 180, 192, 199, 202.  
 Брюловъ. 67.  
 Бульи. 60.  
 «Бѣглець». 165, 193, 234.  
 «Бѣдная Невѣста», Островскаго. 156.  
 Бѣлинскій, В. 1 — 75, 107 — 112, 115, 116, 222.  
 «Бѣлѣтъ парусъ одинокій». 190.  
 «Валерикъ». 107, 134, 153, 186, 193.  
 Валькенеръ. 94.  
 Вальтеръ-Скоттъ. 17, 18.  
 Веневитиновъ. 1.  
 «Весна». 111.  
 «Видъ Горы». 165, 234.  
 «Вмѣсто предисловія», статья Дудыкина. 163.  
 «Воздушный Корабль». 68.  
 «Выхожу одинъ я на дорогу». 110, 120, 149, 150.  
 Вяземскій, кн. 14.  
 «Въ Альбомѣ». 66.  
 «Въ альбомѣ автору». 106.  
 «Въ минуту жизни трудную». 60, 81, 150.  
 «Въ полдневный жаръ въ долиніѣ Дагестана». 234.  
 «Вѣтка Палестины». 66, 81, 183.  
 Галаховъ, А. 144 — 153.  
 «Галубъ», Пушкина. 71, 123.  
 Гегель. 56.  
 Гезіодъ. 3, 22, 49.  
 Гейне. 165, 172, 221.  
 Геродотъ. 108.  
 «Герой нашего времени». 58, 111, 113 — 120, 128, 141 — 143, 145, 151, 160, 165, 174, 220, 232, 233.  
 Гёте. 13, 52, 68, 69, 74, 169, 188, 223, 224.

- «Гимнъ Музамъ», Гезіода. 49.  
 Гоголь. 115, 124, 137, 138, 141, 144, 156, 162.  
 Годуновъ, Борисъ. 48.  
 Гомеръ. 3, 76, 93.  
 Горацій. 94.  
 «Горе отъ Ума», Грибоѣдова. 71, 72.  
 «Горныя Вершины». 69.  
 Графиня Растопчиной. 106.  
 Грибоѣдовъ. 71.  
 Григорьевъ, Ап. 153—157.  
 «Грузинову». 234.  
 «Грузинская Пѣсня». 234.  
 Гумбольдтъ, А. 183, 184.  
 «Дары Терекъ». 67, 68, 72 — 88, 234.  
 «Два Великана». 106, 220.  
 «Два Сокола». 234.  
 Дебе. 218.  
 Дельвигъ, бар. 82.  
 ✓ «Демонъ», Лермонтова. 72, 107, 111, 122, 145, 147, 163, 165, 170, 192, 193, 196, 227, 232, 233.  
 «Демонъ», Пушкина. 57, 123.  
 Демосеенъ. 108.  
 Державинъ. 122.  
 Дмитріевъ. 162.  
 Добролюбовъ. 221.  
 «Дубовый листокъ оторвался отъ вѣтки родимой». 110.  
 Дудышкинъ. 158, 161 — 165, 167, 173, 190, 192, 200, 202, 218, 220—222, 226, 227, 233.  
 «Дума». 53, 55, 128, 150, 151, 187, 193, 221.  
 «Евгеній Онѣгинъ», Пушкина. 135.  
 «Еврейская Мелодія». 66, 200.  
 Екатерина II. 222.  
 Ефремовъ, П. 190—217.  
 «Еще по поводу изданія сочиненій Лермонтова», статья П. Ефремова. 210—217.  
 Жанлисъ. 60.  
 «Желаніе». 94, 106, 197.  
 Жуковскій. 122, 123, 149.  
 «Журналистъ, читатель и писатель». 62, 166.  
 «Завѣщаніе». 65.  
 Зайцевъ, В. 218—234.  
 Зейдлицъ. 68.  
 «Избави Богъ». 201.  
 «Измаиль-Бей». 105, 106, 111, 132, 134, 141, 145, 152, 160, 169, 170, 181, 182, 192, 198, 202, 234.  
 «Иліада». 2.  
 «И скучно и грустно». 165.  
 «Исторія русской словесности», А. Галахова. 144.  
 «Изъ альбома С. Н. Карамзиной». 192, 199.  
 «Изъ Гёте». 162.  
 «Изъ-подъ таинственной холодной полумаски». 110.  
 Іоаннъ Грозный. 34, 44, 45, 48.  
 Іорданъ, проф. 158.  
 «Кавказскій Плѣнникъ», Лермонтова. 234.  
 «Кавказскій Плѣнникъ», Пушкина. 71, 77, 90, 123.  
 «Кавказъ». 234.  
 «Казачья колыбельная пѣсня». 68, 89.  
 «Казбеку». 234.  
 «Казначейша». 86, 106, 111, 135, 160, 185, 192, 199, 201.  
 «Казоттъ». 190, 193.  
 «Каинъ», Байрона. 52, 165, 223, 225, 226.  
 «Какъ мальчикъ кудрявый рѣзва». 165.  
 «Quand je te vois sourire». 199.  
 Кантемиръ. 162.  
 Карамзинъ. 34, 162.  
 «Кинжалъ». 164, 234.  
 Кирша Даниловъ. 48, 87.  
 «Когда волнуется желтѣющая нива». 64, 150.

- Кольцовъ. 188.  
 «Космосъ», А. Гумбольдта. 183.  
 Крыловъ. 122.  
 «Крымскіе Сонеты», Мицкевича. 165.  
 Кукольникъ. 124.  
 Кулишъ. 162.  
 Куперъ. 17, 222.  
 Курбскій, кн. 34.  
 «Курдюковой». 106.  
 «Къ кн. Л. Г-ой». 200.  
 «Къ сосѣду». 150.  
 «Лара», Байрона. 152, 154.  
 «Литературная Газета». 99 — 101, 112, 113, 117—119.  
 «Литературныя Прибавленія къ Русскому Инвалиду». 33.  
 Ломоносовъ. 162.  
 Лонгиновъ, М. И. 200, 206.  
 «Любовь Мертвеца». 87, 89, 148, 193.  
 Людовикъ XI. 34.  
 «Мазепа», Байрона. 209.  
 Майковъ. 233.  
 «Макбетъ», Шекспира. 2.  
 «Манфредъ», Байрона. 52, 154.  
 Марлинскій. 89, 90, 138.  
 «Маскарадъ». 89, 94 — 106, 111, 139, 141, 145, 150, 154, 160, 204, 224, 233.  
 Меринскій. 206.  
 «Мертвыя Души», Гоголя. 115, 137, 138.  
 Мицкевичъ. 165.  
 «Молитва». 61, 81, 217.  
 «Монго», 201, 218.  
 «Морская Царевна». 110.  
 Морьеръ. 14.  
 «Москвитянинъ». 119.  
 «Московскія Вѣдомости». 158 — 161.  
 Моцартъ. 5.  
 «М. П. Содомирской». 106.  
 «Мыши». 69, 70, 72, 86, 89, 91, 92, 107, 129 — 134, 145, 153, 170, 181.  
 «На буйномъ пиршествѣ». 190, 193.  
 «На смерть Пушкина». 165, 187, 192.  
 Наполеонъ. 172, 220, 221.  
 «Небо и звѣзды». 201.  
 «Не плачь, не плачь, мое дитя». 110.  
 «Не смѣйся надъ моею пророческой тоской». 165.  
 Николай I. 222.  
 «Нѣтъ, не тебя такъ пылко я люблю». 110.  
 Одоевскій, А. И. 216.  
 «Они любили другъ друга такъ долго и нѣжно». 165.  
 «Онъ былъ въ краю святомъ». 217.  
 Островскій. 156.  
 «Отечественныя Записки». 1, 103 — 107, 111, 112, 115, 116, 137, 163.  
 «Отчего». 64.  
 «Памяти А. И. Одоевскаго». 60, 82, 150, 192, 211, 216.  
 «Паризина», Байрона. 152.  
 «Парусъ». 106, 147, 148.  
 Пеллико, Сильвіо. 83.  
 «1-е Января». 61, 86.  
 «Петергофскій Праздникъ». 218.  
 Петръ Великій. 14, 17.  
 Пиндаръ. 3, 108.  
 «Пионеръ», Купера. 222.  
 Плаксинъ. 121—143.  
 Платонъ. 25, 28, 29, 108.  
 Полонскій. 233.  
 «По поводу послѣдняго изданія сочиненій Лермонтова», статья П. Ефремова. 190 — 201.  
 «Поправки и дополненія къ сочиненіямъ Лермонтова», статья П. Ефремова. 201—210.  
 «По произволу дикой власти». 199.  
 «Посвященіе». 147, 165.  
 «Послѣднее Новоселье». 134, 172.  
 «Послѣдній изъ могиканъ», Купера. 222.

- «Посреди небесныхъ тѣлъ». 199.  
 «Поэту», Пушкина. 30.  
 «Поэтъ», Лермонтова. 55, 72, 187.  
 «Поэтъ», Пушкина. 30.  
 «Поэтъ, читатель и журналистъ». 187.  
 «Поэтъ», Языкова. 30.  
 «Прелестницъ», 197.  
 «Пророкъ». 110, 116, 120, 187.  
 Прутцъ, Робертъ. 181.  
 «Путеводитель въ пустынь», Купера. 222.  
 Пушкинъ. 2, 3, 5, 21, 24, 30 — 32, 50, 56, 57, 61, 62, 68, 71, 73, 74, 76—80, 82, 85, 87—90, 110, 113, 122 — 127, 135, 137, 140, 144, 153, 162, 165, 173, 184 — 188, 191, 192, 201, 223, 224, 233.  
 «Пѣснь о Нибелунгахъ». 181.  
 «Пѣсня про паря Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 33 — 49, 53, 70, 87, 107, 134, 137, 153, 161, 170, 180, 181.  
 «Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ», Пушкина. 62.  
 «Растались мы, но твой портретъ»... 64, 111.  
 Растопчина, гр. 180.  
 «Ребенка милого рожденье»... 150.  
 «Ребенку». 62, 81, 150.  
 «Ревизоръ», Гоголя. 137, 138.  
 «Родина». 89, 153.  
 Розенгеймъ. 200.  
 Розенъ, бар. 76—92.  
 «Романъ къ \*\*\*». 148.  
 «Русалка». 67, 68, 134.  
 «Русланъ и Людмила», Пушкина. 31, 125.  
 «Русскій Вѣстникъ», 144, 197, 198, 200, 206.  
 «Русскій Инвалидъ». 33.  
 «Русское Слово». 153, 161—166, 218—234.  
 Сальери. 5.  
 «Свершилось». 197.  
 «Свиданіе». 110.  
 «Сильвію», Пушкина. 140.  
 «Сказка для дѣтей». 89, 145, 147, 161, 166, 192.  
 «Слово о Полку Игоревѣ». 137.  
 «Современникъ». 32, 166 — 190, 193.  
 Сократъ. 108.  
 «Сонъ». 110, 120.  
 «Сосна». 84, 106, 165.  
 Софоклъ. 3, 108.  
 «Сочиненія Лермонтова, приведенныя въ порядокъ С. С. Дудышкинымъ», статья В. Зайцева. 218—234.  
 «Сосѣдъ». 63.  
 «Споръ». 89, 153.  
 «Степи», Купера. 222.  
 «Странный Человѣкъ», 145, 189, 198, 202.  
 «Судъ въ подземельѣ», Жуковского. 123.  
 «Сцена изъ Фауста», Пушкина. 223.  
 «Сынъ Отечества». 76.  
 «Сѣверное Обозрѣніе». 121.  
 «Тамара». 110, 120.  
 «Тамаринъ», Авдѣева. 152.  
 Тамерланъ. 80, 82.  
 «Три Пальмы». 67, 68.  
 «Тучи». 66.  
 «1831 года, іюня 11». 208.  
 «Увы, какъ скученъ этотъ городъ!» 199.  
 «Уланша». 206, 218.  
 «Утѣсъ». 110.  
 «Утренняя Заря». 107.  
 «Фаустъ», Гёте. 52, 223.  
 Фидій. 108.  
 «Физиологія Брака», Дебе. 218.  
 «Финскій Вѣстникъ». 120.



- |   |  |
|---|--|
| <p>«Хаджи-Абрекъ». 85, 86, 111, 121<br/>— 123, 129, 141, 145, 160.<br/>«Хаджи-Баба», Морьера. 14.<br/>«Цыгане», Пушкина. 126, 152.<br/>«Черноокой». 197.<br/>Шевыревъ. 181.<br/>Шекспиръ. 3, 17, 30, 93.<br/>Шестаковъ. 198.<br/>Пиллеръ. 52, 56, 90.<br/>«Пильонскій Узникъ», Байрона. 70,<br/>91.</p> | <p>Щедринъ. 223.<br/>Эврипидъ. 108.<br/>«Экспромтъ М. И. Ц.». 200.<br/>«Элегія». 201.<br/>Эрстедъ, Христианъ. 183.<br/>Эсхилъ. 3, 108.<br/>Ювеналъ. 55.<br/>«Юношескія произведенія Лермонтова», статья Шестакова. 198.<br/>Языковъ. 30.<br/>«Я не люблю тебя». 111.</p> |
|---|--|

## ВЪ СКЛАДЪ ИЗДАНИЙ

### В. А. Зелинскаго.

(Москва, Патриаршіе пруды, д. Можухина)

**находятся слѣдующіе сборники критическихъ статей:**

**Собрание критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева.** Два выпуска. 1-й выпускъ, изд. 4-е. Цѣна 2 р. 2-ой выпускъ, изд. 4-е. Состоитъ изъ двухъ частей. Цѣна 4 р.

**Критическій комментарий къ сочиненіямъ Ф. М. Достоевскаго.** Сборникъ критическихъ статей. Три части и прибавленіе. Изд. 3-е. М. 1901 г. Ц. 3 р. 50 к. (Печатается 4-я часть).

**Сборникъ критическихъ статей о Некрасовѣ.** Три части М. Изд. 2-е. Цѣна 3 р.

**Русская критическая литература о произведеніяхъ А. С. Пушкина.** Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Семь частей. М. Цѣна 7 р. (1-я часть вышла 3-мъ изданіемъ, а 2-я, 3-я, 4-я, 5-я и 6 части вышли 2-мъ изданіемъ).

**Русская критическая литература о произведеніяхъ Н. В. Толстого.** Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Восемь частей. Цѣна 8 р. (1-я часть вышла 3-мъ изданіемъ, а 2-я, 3-я, 4-я и 5-я части вышли 2-мъ изданіемъ).

**Русская критическая литература о произведеніяхъ Л. Н. Гоголя.** Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Три части. Цѣна 3 р. (1-я и 2-я части вышли 3-мъ изданіемъ, а 3-я часть—2-мъ изданіемъ).

**Критическіе разборы романа Тургенева: „Отцы и Дѣти“.** Ц. 35 к.

**Критическіе разборы романа Достоевскаго: „Братья Карамазовы“.** Цѣна 50 к.

**Критическіе комментаріи къ сочиненіямъ А. Н. Островскаго.** Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Пять частей. Цѣна по 1 р. за часть. (Первая, вторая, третья и четвертая части вышли 2-мъ изданіемъ).

**Критическіе разборы „Дворянскаго Гнѣзда“ и „Наканунъ“—Тургенева.** Перепечатано безъ измѣненія изъ „Собранія критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева. М. 1903 г. Цѣна 70 к.

**Сборникъ критическихъ статей о сочиненіяхъ М. Ю. Лермонтова.** 2 части. Ц. 2 р. (Первая часть 2-ое изданіе).

**А. С. Пушкинъ въ разборѣ В. Г. Бѣлинскаго.** Отдѣльный оттискъ изъ „Русской критической литературы о произведеніяхъ А. С. Пушкина“. Ц. 2 р.

**Критическіе разборы „Записокъ Охотника“—Тургенева.** Ц. 40 к.

**8. Зрительный диктантъ.** Часть вторая. Знаки препинанія. Изданіе 7-е. М. 1902 г. Ц. 40 к.

**9. Справочный словарь буквы ѣ.** Полный списокъ коренныхъ и производныхъ словъ, пишущихся черезъ ѣ. Изд. 4-е. М. 1901 г. Ц. 25 к.

**10. Краткій алфавитный справочникъ по русскому правописанію.** Опытъ группировки орфографическихъ правилъ въ порядкѣ русскаго алфавита. Ц. 25 к.

**11. Хрестоматія для объяснительнаго чтенія.** Дополненіе къ книгѣ: «Методическія указанія и примѣрные уроки по объяснительному чтенію». М. 1892 г. Ц. 25 к.

**12. Объяснительный словарь болѣе употребительныхъ въ русской литературѣ и рѣчи иностранныхъ словъ.** Составленъ примѣнительно къ правописанію. М. 1901 г. Ц. 50 к. (Содержаніе этой книги то же, что и 4-го выпуска «Справочника по русскому правописанію»).

## **II. Руководства по преподаванію русскаго языка:**

(Методическая хрестоматія для обученія русскому языку).

**13. Обученіе грамотѣ по звуковому способу.** Сборникъ методическихъ разъясненій, указаній, пріемовъ и примѣрныхъ уроковъ по обученію грамотѣ, разработанныхъ извѣстными педагогами. Изд. 3-е. М. 1902 г. Ц. 1 р.

**14. Методическія указанія и примѣрные уроки по объяснительному чтенію,** разработанные извѣстными русскими педагогами. Изд. 4-е. М. 1904 г. Цѣна 1 р.

**15. Методическія указанія и образцовые уроки по преподаванію русской элементарной грамматики.** Сводъ методическихъ разъясненій и примѣрныхъ грамматическихъ уроковъ, разработанныхъ извѣстными русскими педагогами. Изд. 4-е. М. 1904 г.

## **III. Пособія по исторіи русской литературы:**

**16. Собраніе критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева.** Два выпуска. Изд. 4-е. Цѣна 6 р. (1-й выпускъ—2 р., а 2-й, состоящій изъ 2-хъ частей,—4 р.).

**17. Критическій комментарий къ сочиненіямъ Ф. М. Достоевскаго.** Сборникъ критическихъ статей. Три части и прибавленіе. Изд. 3-е. М. 1901 г. Ц. 3 р. 50 к.

**18. Сборникъ критическихъ статей о Н. А. Некрасовѣ.** Три части. Изд. 2-е. Москва. Ц. 3 р.

**19. Русская критическая литература о произведеніяхъ А. С. Пушкина.** Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Семь частей. М. Цѣна 7 р. (1-я и 2-я части вышли 3-мъ изданіемъ, а 3-я, 4-я, 5-я и 6-я части вышли 2-мъ изданіемъ).

20. Русская критическая литература о произведениях Л. Н. Толстого. Хронологический сборник критико-библиографических статей. Восемь частей. Цѣна 8 р. (1-я и 2-я части вышли 3-го изд., а 3-я, 4-я и 5-я части вышли 2-м изданием).

21. Русская критическая литература о произведениях Н. В. Гоголя. Хронологический сборник критико-библиографических статей. Три части. (1-я и 2-я части — 3-е изд., а 3-я часть — 2-е изд.).

22. Критическіе разборы романа Тургенева: «Отцы и дѣти». Ц., 35 к.

23. Критическіе разборы романа Достоевскаго: «Братья Карамазовы». Цѣна 50 к.

24. Критическіе комментаріи къ сочиненіямъ А. Н. Островскаго. Хронологический сборникъ критико-библиографическихъ статей. Пять частей. Изд. 2-е. Цѣна по 1 р. за часть.

25. Критическіе разборы «Дворянскаго Гнѣзда» и «Наканунѣ» — Тургенева. Отдѣльный оттискъ изъ «Сборникъ критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева». М. 1903 г. Ц. 70 к.

26. Сборникъ критическихъ статей о сочиненіяхъ М. Ю. Лермонтова. 2 части. Изд. 2-е. Ц. 2 р.

27. А. С. Пушкинъ въ разборѣ В. Г. Бѣлинскаго. Отдѣльный оттискъ изъ «Русской критической литературы о произведеніяхъ А. С. Пушкина». Ц. 2 р.

28. Критическіе разборы «Записокъ Охотника» — Тургенева Ц. 40 к.

#### IV. Серія разныхъ книжекъ:

29. Китайскія сказки. Переводъ съ французскаго, подъ редакціей В. Зелинскаго. Ц. 10 к.

30. Храмъ Христа Спасителя въ Москвѣ. Изд. 2-е. Ц. 10 к.

31. Bibliothèque d'enfants. Сборникъ историческихъ разсказовъ на французскомъ языкѣ, съ подстрочнымъ словаремъ, для низшаго класса упражненія дѣтей во французскомъ языкѣ. N° 1. Louis XVII, Prussowie, Jeanne D'Arc). Ц. 10 к.

32. Мурадъ Неудачникъ. Переводъ съ англійскаго. Повѣсть изъ Восточной жизни для дѣтей старшаго возраста. Ц. 10 к.

33. Леди Бетти и ея друзья. Переводъ съ англійскаго. Разсказъ для дѣтей. Цѣна 10 к.

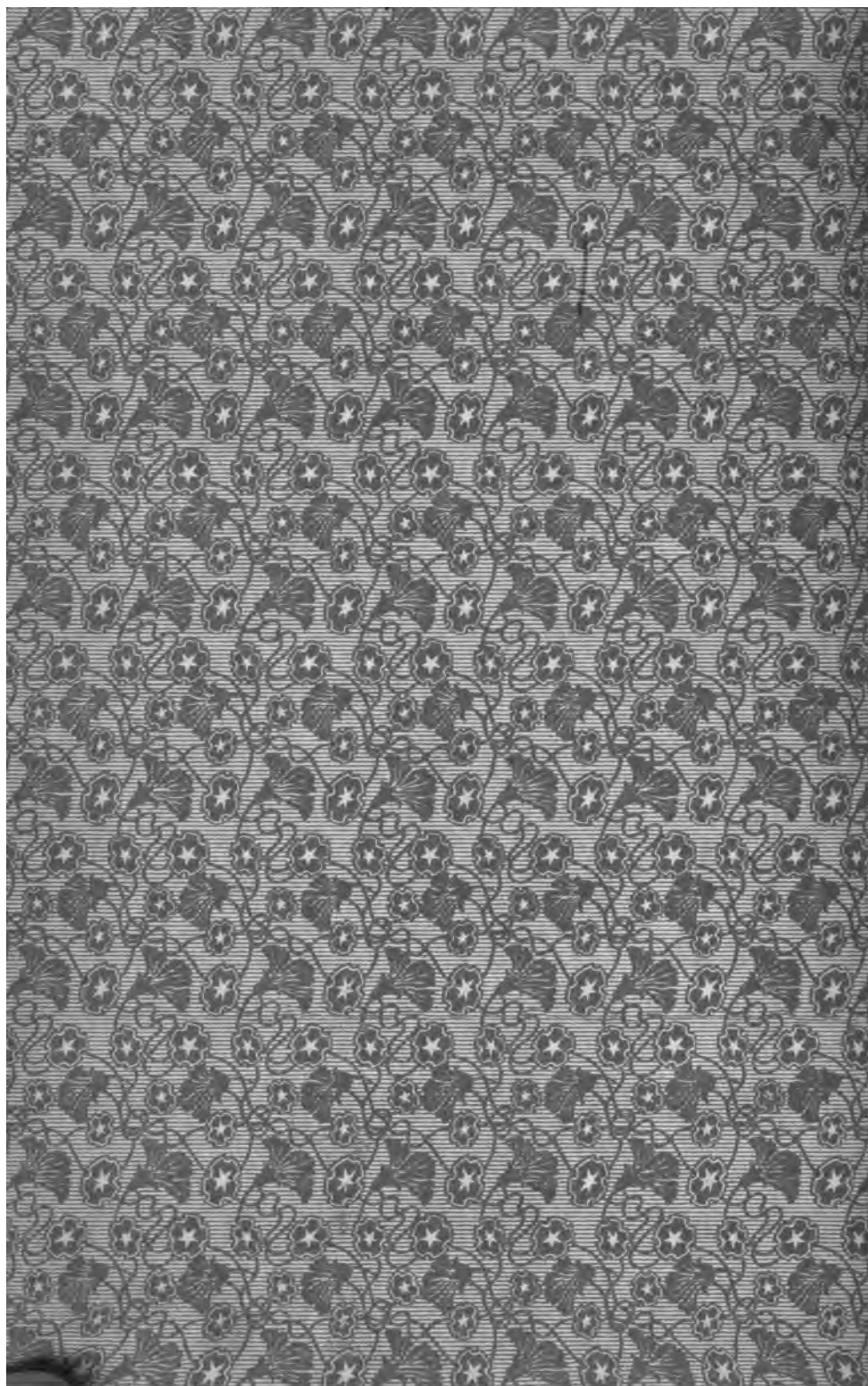
34. Генезисъ, анализъ и методъ естественнаго пѣнія. Сост. К. Михайловъ-Стоянъ. Цѣна 25 к.

Складъ изданій В. А. ЗЕЛИНСКАГО: Москва, Патріаршіе пруды, д. Мозжухина.

Вышеизложенныя изъ склада прилагаются за пересылку 15 к. на каждый рубль стоимости книгъ. За изложенный платежъ 10 к. Пособіемъ суммъ можно высылать почтовыми марками изъ заказныхъ писемъ.

Черезъ посредство склада издацій В. Зелинскаго можно выписывать всѣ книги.





Stanford University Libraries

3 6105 124 445 797



PG  
3337  
L46Z4  
1904  
v. 2

Stanford University Libraries  
Stanford, California

Return this book on or before date due.

JAN 10 1977



